



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 8/2010

- *Геннадий Русаков*
Стихи отречения
- *Юрий Серебрянский*
Destination
Дорожная пастораль
- *Михаил Румер-Зараев*
Девять российских дней
Теодора Герцля
- *Ольга Лебёдушкина*
Петросян, которую «не ждали»
«Дом, в котором...» как «итоговый текст»
десятилетия
- *Алла Марченков*
Postscriptum

8'2010

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

8'2010

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Геннадий РУСАКОВ. Стихи отречения. <i>Стихи</i>	3
Николай ВЕРЕВОЧКИН. Зуб мамонта. <i>Летопись мертвого города.</i>	
<i>Продолжение</i>	7
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Герман ВЛАСОВ. Разнотравье. <i>Стихи</i>	
ФАХРИЁР. Из цикла сонетов «Тень от слез». <i>С узбекского.</i>	
<i>Перевод Германа Власова</i>	56
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Destination. <i>Дорожная пастораль</i>	61
Ольга ДОБРИЦЫНА. Крестики-нолики. <i>Стихи</i>	94
Иева ТОЛЕЙКИТЕ. Горчичный дом. <i>Рассказ. С литовского.</i>	
<i>Перевод Георгия Ефремова</i>	97
Сергей КАЛЕНДА. Одетые истории. <i>Литературный проект.</i>	
<i>С белорусского. Перевод автора</i>	102
Таня МАЛЯРЧУК. Aurelia aurita. <i>Рассказ. С украинского.</i>	
<i>Перевод Елены Мариничевой</i>	113
Елена ОДИНОКОВА. Жених. <i>Рассказ</i>	129
Аксана СПРЫНЧАН. Птицы. <i>Стихи. С белорусского.</i>	
<i>Перевод Светланы Буниной и Натальи Бельченко</i>	139
Моше ШАНИН. Мои семнадцать. <i>Рассказ-айсберг</i>	143

Публицистика

Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ. Девять российских дней Теодора Герцля	149
СТРАНА РОССИЯ	
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Новая «Буколика», или Прелести сельской жизни	168

Нация и мир

Сейдахмет КУТТЫКАДАМ. Слово о заблудшей цивилизации **172**

Критика

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА. Петросян, которую «не ждали». **179**
«Дом, в котором...» как «итоговый текст» десятилетия
Алексей А. ШЕПЕЛЁВ. Повесть о грядущем настоящем человеке.
Образ положительного героя и образ будущего в русских романах
«кризисного» 2009 года **187**
Алла МАРЧЕНКО. Post scriptum **199**

Эхо

Суть трагедии. Рубрику ведет Лев Аннинский **215**

Summary **224**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2010

Геннадий Русаков

Стихи отречения

* * *

Я живу, я зову, я ложусь на траву.
Поднимите меня, мне летается!
Вот сейчас разбегусь, тяжело, словно гусь...
Ах, как солнце по горлу катается!
У меня вся родня гоношистей меня.
А какие, скажу вам, племянники!
Пляшут, песни поют и уют создают,
да жуют ставропольские пряники.
До того хорошо! Только будет лучшей —
будет синее и с позолотою.
Я совсем не спешу и на время грешу...

А куда мне спешить, косоротое?

* * *

Отрекаюсь от молодости и от старенья.
От себя — кем я не был и кем, по незнанию, стал.
От вчерашнего пакостного стихотворенья,
потому что на завтрашнем злей и прочнее металл.
Отрекаюсь от этой зарыданной электрички
(прямиком через поле, куда ты, остановись!).
От лукавых пророков и мелочной лжи по привычке.
От обломных дождей, над собой прорастающих ввысь.
Отрекаюсь от всех, кто не лучше, а просто счастливей.
От моих незабвенных, моих недолюбленных дур.
Пусть мне будет Уитмен, Бетховен в нечесаной гриве
или этот похабник, недокормыш, гений Артюс!
Да подите вы все! Я и так никому не подарок
и в четверг домотаю поденно расписанный срок.
Отрекаюсь: толстовский мужик-перестарок,
накануне ухода
харчи собирающий впрок...

* * *

Мне уже не до серьезных книг:
я пишу стихи, как ученик —
у меня в строке по три наклона.
Я себя за лацканы веду:
— Помоги, Владыка, пропаду!
И прими в отеческое лоно. —
Или я не ухарь-словодел,
дев не мял и в окна не глядел,
не играл на гуслях и цимбалах?
Было-сплыло: квасил-пировал,
молодое зелье проливал,
не жалел обиженных и малых.
Бес попутал, память подвела —
не упомянуть старые дела,
переврал судьбу в двенадцать строчек.
Было: жизнь, война, жена, страна.
Чьи-то годы, чьи-то имена...
Да вот песня «Синенький платочек»

* * *

Довольно мне про логику стиха:
я разбираюсь в ней не хуже прочих.
Была бы только музыка тиха
и на носках плясала между строчек.
А жизнь не ждет и чашками стучит
и пахнет рыбой ближнего базара.
То пустяковой дудочкой жалнит,
то колокольцем что-то рассказала.
Жални, звени, дуди в бараний рог,
бей колотушкой по телячьей коже!
И небольшой как будто в этом прок,
а все же, как подумаешь, а все же...
Покуда слышит мой дырявый слух —
я не один, с меня творенья хватит.
И ничего не кончено: а вдруг?
Вон как оно по коже колошматит!

СНИМОК

Молодой, умеренно-красивый,
тихий бабник, сумрачный пижон...
Но с какой невероятной силой
снова лезет время на рожон!
Я стою, со мною все понятно:
весь я тут, меня нигде не ждут.
Но вот эти солнечные пятна,
Герцен, Первомай, Литинститут!
Жора Елин сделал этот снимок
или, может, кто-то до него:
из числа ушедших невидимок,
из друзей, не рвавшихся в родство.
Из невест, не выбившихся в жены...

Я стою и в оптику смотрю —
молодой и странно напряженный:
будто вижу, а не говорю.
Боже мой, как страстно это время,
век двадцатый, бьющийся во мне!
Это солнце, греющее темя.
Этот я, с собой наедине...

* * *

Памяти Михаила Поздняева

Все сложилось и встало в строку,
спето, сказано, выбито в камне.
На полпоймы шатнуло Оку,
и судьба на размер велика мне.
Ах, просторное имя любви,
утешенье ни к спеху, ни к ладу!
Чтоб ни вспомнилось — только живи,
только траться,
делись доупаду!
Раздари себя в каждой строке,
детской нежностью к людям боля —
и плыви по небесной Оке,
слыша запах соснового клея.

* * *

Устало тело. Хочет отдохнуть.
Губу от напряженья раскатало.
Чего тебе? Положь ее на грудь —
и отдыхай себе на полквартиры.
Эй, люди, человеки, Божья рвань!
Давайте вместе ляжем на подушки:
три тыщи петей, десять тысяч вань
и много женщин в бигудях и сушке.
Пускай Творец огладит нам тела
прикосновеньем благодатных пальцев.
...Была бы музыка, пускай совсем тиха,
литература горьких и скитальцев!
И как горел четырехгранный свет,
висел на цепке посреди вокзала.
А из него, из этой тыщи лет,
судьба моя секлась и ускользала...

* * *

Далекий дождь дохнул из темноты.
Ночным цветам приснилось утешенье.
И молнии бесшумные кусты
возникли и погасли в копошенье.
Вот-вот польет. Вот-вот конец всему:
июлю, жизни, муравьиным кучам.
Все полетит, и поплывет во тьму,
и чайным паром вознесется к тучам.

Зачем у нас так медленны дожди,
протяжны зимы, долги расстоянья?
И вечно что-то мнится впереди —
какое-то ущербное сиянье.
Взглянул в окно — пространство и тоска.
И дождь прошел, не то забыл начаться.
И снова этот свет издалека,
чтоб тихим горем сердцу огорчаться.

* * *

Меня насильно в старость привели.
Я не хотел. Я упирался рогом.
Я был не тот. Меня не там нашли.
Неверно рассчитали по итогам:
мне причиталось целых двадцать лет —
зажали, рассовали по карманам.
Мне по ошибке выписан билет.
И вот я тут, затащенный обманом...
Какой я вам, к чертям, пенсионер!
Я толком не успел перебеситься —
как прежде, вижу мир на свой манер:
вон птицы машут крыльями из ситца.
Мне мир хорош. Я в нем принадлежу —
от первого младенческого вздоха.
А то, что я с усилием хожу,
совсем не означает,
что мне плохо...

Николай Веревочкин

Зуб мамонта

Летопись мертвого города

Прищурившись от вонючего дыма, склонив голову набок, Отшельник обухом топора выковывал из медали «За освоение целинных и залежных земель» зимнюю блесну. Наковальней служил камень, зажатый между колен. По старой привычке нелюдимый дед ругался сам с собой. А когда ударял по пальцам, ссора переходила в яростный скандал.

Вторжение мокрых людей его не обрадовало.

— Дверь, дверь, клык моржовый! — проворчал он, не отвлекаясь от занятия.

— Деда, ты зови меня просто: господин Енко, — оскорбился строптивый утопленник.

— Господин — Господь один, а ты клык моржовый, — упорствовал в своем заблуждении упрямый дед.

Ничто уже не могло удивить и напугать этого человека. Загляни в лачугу сам водяной, ему тоже бы досталось как молодому.

— Нам бы, деда, погреться, — смирившись со здешним этикетом, сказал Енко бодрым, хотя и слегка дрожащим голосом, сморщил нос и добавил: — Ап-чи!

Дед одарил его взглядом исподлобья и проворчал нечто невнятное.

Большую часть тесной хижины занимала печь. Источая блаженный жар, в ней полыхал топляк, твердый, как саксаул. Пламя с синим оттенком. Енко с Русланом сняли с себя подмороженные одежды и развесили по бокам печи. Пришедший позже Козлов в ожидании очереди на просушку бросил свою шубу в угол.

— Ты смотри, — удивился Енко, поправляя пуховик, — не разбилась.

И вытащил из кармана плоскую бутылку.

Отшельник восторженно вскрикнул. В тусклых глазах его блеснул интерес к жизни.

— Сел-присел, чтоб не висел, — обратился он к Енко.

— Деда, у тебя стаканы есть? — спросил голый Енко без особой надежды. Он стоял спиной к огню с грустно обвисшим пузом, оглядывая убогое жилище, где не было даже стола. Роль кресла выполняла коряга, но на ней восседал хозяин.

Дед забормотал нечто ироничное, его явно забавляла странная прихоть гостя.

— Ну нет, из горла я пить не буду, — с мрачной гордостью и долей разочарования протянул Енко. — Ап-чи!

— Зачем же из горла, когда яйца есть? — воспрянул духом Козлов.

Отшельник посмотрел на иностранную бутылку, на коробку яиц, как бы сравнивая их ценность, и забормотал нечто двусмысленное: «Ходят всякие, хрен бы им». Было ясно, что человеку хочется выпить, но выпить он предпочитает с дармовой закуской. Для человека, владевшего островом, дед был большим жмотом.

— Яйца, яйца... При чем здесь яйца? — грустно обиделся Енко.

И голая публика с гордым достоинством посмотрела на Козлова.

Он взял яйцо, осторожно расколупал с тупого конца и выпил содержимое. Получилась изящная рюмочка.

Все повеселели и принялись делать рюмочки из яиц. Дед Игната достал из темного угла жилища помятую алюминиевую кружку. Дунул в нее и протянул Енко.

— Одно плохо, — разлив по яйцам виски, вздохнул Енко, — чокаться нельзя.

Все, кроме Отшельника, заулыбались. А Енко, помрачнев, добавил:

— Давайте, помянем Хохла.

Скорлупка в руках Козлова лопнула, и он спросил с досадой:

— А что с Хохлом случилось?

— Что случилось, что случилось, — рассердился Енко, — а то и случилось — спал Хохол на заднем сиденье.

— Что же ты молчал? — нахмурился Козлов.

— А ты бы что — нырять стал? — ответил вопросом на вопрос Енко. — Там глубина — все тридцать метров. Как получилось: я успел дверку открыть, а с полводы меня пузырем воздуха вытолкнуло. Все перепонки полопались. А «Нива» так и ушла туда.

— Так за помощью надо бежать, — сказал Козлов в некотором недоуменье.

— ...голой задницей сверкая, — закончил за него мысль Енко. — Пока добежишь, пока машину найдешь... Как раз к вечеру и вернешься. Ну, приедет Тарара, и что? Его оттуда уже без водолазного костюма не достанешь. Или вместе с машиной. Дохлый номер. Лед сам видел какой. Любой кран провалится, да и где его возьмешь, кран? Хохла, конечно, жалко. Такого напарника мне не найти. Блин, «Ниву» только купил...

— Кто купил?

— Хохол.

— У кого?

— У меня. За полцены отдал.

В безнадежном молчании выпили по яйцу. Напиток в малых дозах пьянил качественнее, не давал впасть в уныние. Одежда, развешенная на печи, парила, увлажняя воздух в землянке. Погоревали, погоревали мужики о Хохле, вспомнили, каким лихим был он и безотказным человеком, пьяницей и охотником до чужих баб, и незаметно перешли от покойника, лежащего в километре от хижины на дне моря, к другим, более веселым темам.

— Не жалко медаль? — спросил Руслан Отшельника, и тот неожиданно внятно заговорил:

— А на хрен она теперь кому нужна? Люди никому не нужны. Не сегодня завтра сдохну. А так хоть какая польза.

Енко наполнил яйцо иноземным напитком и, икнув, покачал головой, не соглашаясь с этой точкой зрения:

— Если тебе медаль не нужна, можно продать, хоть что-то получишь.

— Хрен я чего ОТ НИХ получу, — не поверил ему Отшельник.

— Тут ты не прав, — возразил Козлов. — Как раз именно хрен ты от них и получишь.

Отшельник обнажил дыру рта с двумя желтыми клыками:

— Ты ИХ не слушай, ты меня послушай. Они наговорят. Все врут. Другой кроме своих очков ничего не видел, а врет. Целина... На хрен, мол. А ты мне не рассказывай, ты вон октябрятам рассказывай. Они ничего не знают, они поверят.

— Деда, какие октябрята? — ласково вразумил его Енко. — Не то что октябрят, пионеров давно нет.

— Молчи, болтун, — рассердился дед, потеряв нить мысли. — Чего я видел, ты не увидишь. Как трактора на левобережье загудели, как стали рвать лемехами землю, суслики так и побежали. Тьма. Ступить некуда.

— Куда же они побежали?

— К реке. Топиться. Так и прыгали с кручи в воду. — Старик ткнул крючьями коричневых пальцев в сторону скованного льдом водохранилища и сказал, обращаясь к Руслану: — Как пройдешь через школу, в заборе дыра. Иди прямо, не сворачивая, мимо продмага. За садом, где библиотека, налево в Овражный переулочок свернешь. Там на отшибе хата над старицей стоит. Огород без плетня.

— Тяжелый случай, — сказал с мрачной усмешкой Енко.

Случай действительно был тяжелый. Дед все еще жил в старой Ильинке, игнорируя воды, поглотившие ее.

— И что в той хате? — спросил Енко.

— Бездетная женщина ДО ПОТОПА жила. Марией звали. Билеты в клубе продавала. Жаловалась: поставит с вечера стулья к круглому столу, а утром смотрит — стоят как попало. Дверь проверит, ставни на окнах, выюшку закроет, котла на кухне запрет. Комар без билета не пролезет. А стулья по-другому стоят.

К ней Прохор ходил. Электриком у нас работал, баламут. Уговорила она его. Остался на ночь. Под кровать спрятался. Заснула Мария. Самое темное время пришло. Прохор лежит, усмехается: «Что я под кроватью зря лежу? Пойду разбужу Марию». Тут комната осветилась. Выглянул он из-под кровати, а лампочка-то не горит. Одно сияние без источника. Как бы воздух светится. Сидят за столом четыре старца. Беседуют. Один и говорит: «Что делать с ними будем? Как их нам погубить?». Другой отвечает: «Сами себя погубят жадностью да завистью». — «А как же быть с Ильинкой? Опять расплодятся». — «Утопим».

Тут один из старцев и говорит: «А ты чего под кроватью прячешься, подслушиваешь? Выходи. Садись на пятый стул. Давно тебя ждем». Выполз Прохор. Ни жив, ни мертв. Сел за стол и беседовал со старцами. Перед светом они ему наказали: «Никому про нас не рассказывай». И пропали вместе с сиянием. Вышел Прохор с утра на работу и до обеда молчал. А после обеда не вытерпел, все разболтал. Пять минут не прошло — его током убило. А через три года ПОТОП случился.

Отшельник сурово посмотрел на пустую бутылку, поставил кружку на пол, взгромоздил на колени камень и застучал, выковывая из награды блесну.

Руслан протер запотевшее оконце. Вид преунылый: кусты, кусты, а между ними — запорошенные снегом кресты. Землянка Отшельника, собственно, была одной из могил. Яма со стенами-плетнями, обмазанными глиной. С глиняным же полом. Крыша, крытая нарезанными из земли пластами, напоминала могильный холмик. Только вместо креста над ней торчала печная труба. Ильинка из этого окошка представлялась мифической страной, Атлантидой, которая затонула, не оставив после себя ничего, кроме странных людей, вроде его отца и Отшельника, тихо вымирающих ныне.

Все правильно. Все честно. Жить прошлым — жить на кладбище.

Странно: и Отшельник, и Енко, и отец, и он сам вроде бы находятся в одном месте, проживают одну и ту же секунду, а каждый в своей эпохе. Какое-то слоистое время — одно на всех, но у каждого свое. Старые люди знают то, чего мы никогда не узнаем. Они знают прошлое. По-настоящему узнать то, чего не пережил сам, невозможно. Даже когда мы видим одно и то же, они видят это по-своему, потому что у них глаза смотрят из прошлого. У каждого своя память и своя история.

— Плохим электриком был твой Прохор. Правила безопасности соблюдать надо, — сказал задумчиво Енко. — А что касается потопа, здесь старцы ни при чем. Потоп Козлов устроил. Это же он плотину сооружал.

Сумасшедший старик встрепенулся. Долго сверлил недоверчивым взглядом лохматого гостя и, погрозив ржавым топором, сказал зловеще:

— Недолго стоять твоей плотине. Ой, недолго. Не освятили запруду эковскую? С трещинкой плотина-то. Зазвонит еще по вашим душам золотой колокол. Раскаетесь, да поздно будет.

Нет пророка без порока.

Енко взглянул через плечо Руслана в окно и спросил:

— А что, дед, соседи по ночам не заглядывают?

— Бывает, — ответил тот.

— Не страшно?

— Страшно там, у вас. Все с мертвецами воюете? А в моей деревне народ порядочный. Жизнь прожили, что такое замок не знали. Мне из могилы видней ваш бардак. Грешат одни, а каются другие. Гуляйте, гуляйте. Все в старую Ильинку вернетесь.

— Ну, ладно, — сказал Козлов, — вы тут сушитесь, беседуйте, а я налегке сбегаю Тарару предупредить.

— А скажи, дед, где золотой колокол? — спросил Енко в нос, склонившись над ухом Отшельника.

— Бу-бу-бу, болтай, болтун, — рассердился, насупившись, старик.

Енко поднял с пола упавшую блесну, повертел, разглядывая.

— Да, дед, сейчас на эту медальку только окунь и клюнет. А звездочка у тебя осталась? Звездочку я у тебя бы купил.

— Щука оборвала, — хмуро сказал старик, вырывая из рук Енко блесну. — Жалко. Уловистая была.

Лемеха рвали ковыльную целину, а к обрывистым берегам реки лохматыми волнами катились стада мамонтов. Земля содрогалась под их ногами, и планета вот-вот готова была сойти с орбиты.

Последний мартовский снегопад всю ночь укрывал чистотой руины мертвого города, старое село, Оторвановку, кладбище и весь этот отживающий мир.

Утром Козлов выглянул в окно и, просветлев лицом, сказал:

— Пойдем откапывать тетю Надежду. У нее дверь наружу открывается.

Степноморск превратился в сверкающее райское облако. Из белых сугробов в чистое небо поднимались редкие столбы дыма. Белые деревья вылеплены из снега. Безработные степноморцы еще спали, и пушистый снег не был истоптан.

— Ишь как завалило, — сказал Козлов с уважительным одобрением, оглядывая сугроб, скрывший под собой дом Мамонтовых. — Надо бы снег с крыши сбросить да от стен откидать, не то поплывет баба Надя.

Всю жизнь из окна своей комнаты в просветах алма-атинских улиц Руслан видел горы. Он свыкся с ними, как с неперменной, необходимой деталью пейзажа. И сейчас, взобравшись на сугроб крыши, посмотрел на восток, ожидая увидеть знакомые пики. В унылой пустоте равнины, ущербной гладкости горизонта было что-то от увечья, ампутации. Чужая, плоская, как заснеженная льдина, планета плыла в густой синеве безбрежного пространства, одинокая и беззащитная.

Замечательная это работа — сбрасывать снег с крыши. Бросаешь комья в солнце. Золотится снежная пыль. Подрезал сверху, ударил ногой по снежной доске, и, шурша и убыстряя ход, сползает в палисадник лавина.

Баба Надя стоит у ограды, смотрит из-под руки. Переживает, как бы с крыши не упали. А чего переживать — снегу внизу по грудь. Подходит к ней красивая и вредная жена художника Гофера. Здоровается.

— А мой в Астану уехал, — говорит бабе Наде, но так, чтобы слышно было и на крыше. — Свояк заказ нашел — школу расписывать. Не знаю, как снег отбросать. Боюсь высоты.

— Отбросаем, — кричит ей Козлов и Руслану вполголоса: — Сходи, тут всего ничего. Один управлюсь.

Лишенная белой шапки шиферная крыша уныло торчала в окружении заснеженных берез. Своим убожеством она оскорбляла синеву неба, сводила на нет тщетные усилия природы сделать этот мир красивым.

Руслан обмел утиным крылышком валенки, вошел в дом и попал в вечнозеленую рощу. Сквозь стены, двери и даже шкафы прорастали березы. Из простенков между окнами продавливались стволы с настоящей берестой, и только ветви, расходящиеся от них, были нарисованы. Настенная живопись уводила в перспективу леса, раздвигая малое пространство комнат до бесконечности. Между светлых деревьев, дразня изобилием, просматривались заросли дикой вишни, костяника устилала землю, грузди, лисички и подберезовики манили в глубь чащи. Старик с лицом Леонардо да Винчи отдыхал на пеньке. У ног его стояло лукошко с грибами. Печь-голландка в зале была закамуфлирована под зеленый ствол старой осины с растрескавшейся корой, на которой сидела желтая бабочка. Плетеные абажуры свисали с белых облаков, пронзенных яркими радугами. Иллюзию полуденного июньского леса нарушал лишь старый персидский ковер над кроватью.

Жена художника, так не понравившаяся Руслану при первой встрече, оказалась милой гостеприимной женщиной. Пригласила попить чаю. Но сначала постригла.

— Ишь, какой одуванчик отрастил, — сказала она, запустив во влажные от пота волосы Руслана мягкие, теплые пальцы. — Да ты не бойся. Я пятнадцать лет в районной парикмахерской проработала. Пока не закрыли. Свадебные прически делала — и женихам, и невестам. Где они теперь стригутся? Поди, так лохматыми и женятся. Хотя кто сегодня свадьбы справляет? Одни старики да калеки остались...

Руслан застенялся, отказываясь. Но она усадила его в кресло перед трюмо. И трюмо, и кресло, и старый пульверизатор в металлической сетке, видимо, были из той закрытой парикмахерской.

Жена художника была местной Афродитой. Но обильная красота ее сотворена не из пены морской, а из белой северной вьюги. В восхитительно холодных глазах жило колющее презрение к миру, не оценившему ее очарование. С годами к этому презрению добавилось отчаяние стареющей женщины, оскорбленной неотвратимостью увядания. Она мечтала поделиться своей красотой со всем человечеством, стать актрисой, телеведущей. Но досталась невзрачному человеку, черт-те кому, и всю жизнь проработала парикмахершей в маленьком городе, который так же безвозвратно исчезает с лица земли, как и ее красота.

— Что будем делать? — спросила хозяйка, ероша стерню на его голове.

— Оставьте полсантиметра равномерно по всему шару.

На этом свете не много дел приятнее, чем сидеть укутанным по горло в простыню перед зеркалом, предаваясь профессиональным ласкам решительных женских рук. В раю стригутся, наверное, три раза в день. Руслан закрыл глаза и погрузился в волнующий аромат облака, исходящего от зрелой женщины. По веселому пощелкиванию ножниц в покойной тишине он чувствовал, что работа доставляет ей удовольствие. Такое же, какое испытывал он от прикосновений ее теплого тела.

— Ты еще не бреешься? — спросила она. Руслан устыдился своего возраста, но она не дала ему ответить. — Нет ничего хуже колючей щетины. Б-р-р-р. А девушка у тебя есть? Девушки не любят лохматых. Все лохматые неудачники. Ну, вот — другое дело.

Руслан открыл глаза и в оболваненном уроде не узнал себя.

— Спасибо, — пробормотал он.

— Не за что. Приходите еще, — сказала она, придирчиво разглядывая его отражение в зеркале.

Глаза их встретились, и они улыбнулись друг другу.

— Сейчас приберемся и будем пить чай.

Рыжий кот, возлежавший на кровати, с мрачной подозрительностью смотрел на Руслана. Взгляд этот смутил его. Кот спрыгнул на пол, с достоинством тигра прошелся по комнате и, встав на задние лапы, принялся яростно драть бересту на березе, вмонтированной в настенную роспись.

Смущали Руслана и портреты, частью готовые, частью не законченные, но все одинаково глазастые. Смотрели они на него пристально, сурово. Особенно один старик. В нем только и были выписаны глаза. И глядел он сквозь решетку клеточек, будто хотел сказать Руслану что-то очень важное и неприятное. Люди на портретах были покойниками. Это придавало лесной тишине дома настроение зловещей подозрительности. Неуютно под этими взглядами. Отвернешься, а чувствуешь: смотрят. В недописанном старике Руслан узнал деда Григория, которого они с отцом хоронили в первый день его приезда. Лежит он сейчас, засыпанный глиной, а глаза живут, наблюдают за живыми. Осуждают. Вот вы здесь чаи распиваете, а нам каково?

Хозяйка внесла поднос с чебуреками. Без зимней одежды была она не столь толстой и не такой уж старой. Женщины, пока они женщины, старыми не бывают. Помимо воли он представил ее без одежды и не мог избавиться от внезапного наваждения — неконтролируемого влечения к пышному, теплому телу без всякого интереса к душе, обитавшей в нем. Он не знал, как нужно вести себя с замужней женщиной, которая угощает водкой. Украдкой косил глазами на стареющую красавицу и думал: жизнь человека — секунда. И как нелепо, глупо делить эту секунду на детство, юность, зрелость, старость.

— Вы не стесняйтесь, ешьте, — голос у нее был глубокий, теплый, а глаза холодные, понимающие. — Выпейте водочки, согреетесь. Давайте и я с вами за компанию.

Руслан хмуро жевал сочный чебурек, пытаясь сдержать голод и испытывая неловкость от собственной скованности. Жена художника ела с большим аппетитом. Жевала она так энергично, что в ушах подрагивали и звенели серьги. Невежливо есть молча, надо о чем-то говорить. Но о чем, он не знал.

— А у вас дети есть? — наконец спросил он и смутился от собственной бестактности.

— Дочка. В институте учится. На первом курсе, — и добавила с печальной гордостью: — В Москве.

Она легко, импульсивно, как это могут делать только женщины, вспорхнула из-за стола и вернулась с фотографией. Руслан смотрел на девочку в джинсовом костюме и медленно краснел. Женщина, которую он мысленно раздел, была ровесницей его мамы. «Скот, — подумал он о себе, — а я ведь даже не сообщил ей: доехал ли, встретился ли с отцом».

Как и у любого наркомана, у него были сложные отношения с матерью. «Да лучше бы ты умер! Один раз бы отмучилась, чем мучиться всю жизнь». Ему казалось, что этих слов он ей никогда не простит. Обиделся. За что? За то, что довел ее до таких слов? Маленькую, хрупкую женщину, которую медленно и долго убивал изо дня в день, которой испортил жизнь. Накатило внезапно бессмысленное, неотвратимое колесо жизни, с хрустом ломало ее налаженный мирок. Но он не только не понимал ее и не сочувствовал ей, он презирал ее растерянность и боль. Он не хотел жить так, как живут мама и отчим. Но не знал, как надо жить, и глушил эту серость и тоску тяжелым роком. «Все твои музыканты — извращенцы и наркоманы, — кричала мама, — ты кончишь тем, что будешь брэнчать в переходах, а перед тобой будет лежать шляпа». Отчим молчал. Но молчал, сочувствуя маме. Выждав время, он обнимал его за плечи и задушевно толковал, что хотела сказать своей истерикой мама. «Пойми: она хочет лишь одного, чтобы у тебя была серьезная профессия. Кто знает, добьешься ли ты успеха как музыкант. В этой жизни нет ничего надежного. К тому же расплодилось их слишком много. А врач — во все времена востребован. Кто тебе мешает потом, когда у тебя будет диплом врача, заняться музыкой?» — «На пенсии?». Отчим обладал даром не слышать вопросов, которые ему не хотелось слышать. «Хотя, знаешь, мама в чем-то права, — говорил он, протирая очки рубашкой, — какие-то они все невзаврадашки. Взрослые ребята, а ведут себя как пятиклассники перед зеркалом». — «Это сценический образ», — бурчал Руслан, стыдясь за отчима, не понимающего элементарных вещей. «Ну да. Маски. Но когда маску носишь постоянно, она становится лицом. Так вот дурачишься, дурачишься, а потом вдруг понимаешь, что уже и дурачиться не надо». Отчим... Всю жизнь Руслан считал его отцом. Но однажды достал их. И они послали его к настоящему отцу...

Зазвонил телефон.

Хозяйка выбежала в соседнюю комнату.

— Да? — сказала она мило. — И это было единственное слово, произнесенное доброжелательным тоном. — А то ты не знаешь. Да что здесь может произойти? Ничего здесь не происходит. Снег выпал. Как у тебя? Сколько раз тебе говорить: требуй предоплаты. Сам виноват. Олух, ой, олух... Вот и будешь всю жизнь покойников за копейки рисовать. Ты бы слушал, что тебе говорят, если своей головой думать не умеешь. Когда возвращаешься? Ну, все, о чем еще с тобой говорить.

Она вернулась, мило улыбаясь, с румянцем негодования на красивом лице.

— Ешьте, ешьте, а то остынет.

— От вас можно в Алма-Ату позвонить? — спросил Руслан тихо.

Лучше бы он не звонил.

Руслан долго смотрел на свое отражение в окне. Морщился в досаде. Мерзко и стыдно вспоминать прошлое. В голове — звон, гул, шум, щелчки, в животе — урчание. Это и есть твой внутренний мир. Между стеклами на собственной паутине висел засохший паук. Оболочка мертвого насекомого под легким сквознячком едва замет-

но шевелила лапкой. Манила. Чужое повисшее в черноте лицо пристально рассматривало его из мрака. Он не знал и не хотел знать его. Он не хотел иметь с ним ничего общего. С улицы, зависнув бесплотным привидением на высоте третьего этажа, на него смотрел другой человек. Человек из прошлого. В этом не было мистики. Для того чтобы отразиться в стекле, излучению, исходящему от его плоти, требовалось какое-то время. Отражался не он, отражалось его прошлое. Не такое далекое. Но какая разница — разделяют ли их тысячелетия или невообразимо малая доля секунды, если тот, другой, смотрит из прошлого, избавленный от невыносимой боли вины, укрывшийся за необратимостью времени. Почему я должен отвечать за его глупость? У человека в темном стекле дрогнули губы в циничной ухмылке. Руслан размахнулся и ударил кулаком в омерзительную морду.

Брызнуло двойное стекло, и осколки полетели в темноту. В разбитое окно сквозняком затянуло редкие снежинки. Паук раскачивался на своей виселице.

Застучала весенняя капель.

Из правого рукава на пол капала кровь. Руслан поднял руку, вытащил из запястья стекло. Кровь потекла быстрее. Толчками. Руслан посмотрел под ноги на темную лужу, затекшую под правый валенок. Отступил. Пошаркал подошвой, избавляясь от липкой жидкости. Сходил за тряпкой, стал вытирать пол. Оставив тряпку в лужице, пододвинул табурет к стене. Сел.

Кровь стекла на штанину. Материя мерзко набухла и липла к ноге. Он встал, подошел к книжной полке. Снял энциклопедический словарь. Раскрыл, стараясь не забрызгать кровью. Взял левой рукой фотографию Светы в самодельной фанерной рамочке. Поставил словарь на место. Кровь потекла по руке к локтю. Осмотрел комнату. Не обнаружив гвоздя, поставил фотографию на подоконник. Взгляды пересеклись. Он увидел себя глазами совершенного существа и ужаснулся, как если бы темный мозг смертельно опасного насекомого на мгновение озарился вспышкой разума и несчастная ядовитая тварь впервые осознала свое уродство.

Он вернулся к полке. Снял зуб мамонта. Сел на табурет, чтобы не видеть в стекле своего отражения. Подставил под ноющее запястье зуб. Кровь заполняла дупло. Голова слегка кружилась.

Света улыбалась ему. У нее были роскошные зеленые усы. За ее спиной несколько лет подряд падал снег. Снежинки пролетали мимо лица, падали в красное пятно на полу и сразу исчезали, будто пронзая материю.

К лужице подкрался белый котенок. Понюхал. Звонко цокая языком, стал лаять. Беззвучные редкие снежинки, портрет и котенок делали комнату уютной. Правая рука мелко дрожала. Лево́й Руслан достал из пачки сигарету. Зажав коробок под правой мышкой, чиркнул спичкой. Прикурил. В голове зазвенело. Черная кровь ударила в глаза.

Пощечина

— Жив, стекольщик? — с грубоватым покровительством спросил бесполой голос. Сквозь толстые линзы на него смотрят огромные глаза. — Что же ты так неаккуратно? Скажи спасибо отцу. Кровь-то у вас редкая. Четвертая группа. Загадка эволюции. Если бы не отец, летел бы ты сейчас на белых крылышках по черному небу.

Руслан сфокусировал взгляд, пытаясь разглядеть, кто с ним говорит — женоподобный мужчина или мужеподобная женщина, но так и не понял. Некий близорукий ангел в белом. На фоне черного квадрата окна.

Ангел распрямился, обнаружив мощные женственные формы, заслонившие белизной черноту. Руслан повернул голову. Справа от него лохматым лешим сидел Козлов. Из его набухшей руки к онемевшему изгибу локтя Руслана тянулась прозрачная вена, наполненная кровью. В висках Руслана стучала тяжелая кровь Козлова.

Близорукая старая женщина с редкими черными усиками по краям губ нагнулась и вырвала вену из руки Козлова.

— Не рано? — спросил он.

— Хватит. Всю отдашь, а тебе где донора найду? Часик отдохните и вперед —

дальше стекла вставлять. — Женщина открыла дверь и, боком протиснувшись в узкий для нее проем, навсегда исчезла из жизни Руслана.

— Курить хочется, — зевая, сказал Козлов. — У тебя с собой сигареты?

— Ты ни о чем не хочешь меня спросить?

Стеклорез ровно хрустел, оставляя прямую борозду вдоль рейки, и лишь на конце стекла противно взвизгнул.

— Спросить? — удивился Козлов.

— Ну, как я стекло разбил.

Козлов поморщился. Он не любил мужиков, которые раскрывают душу.

— Разбил и разбил, велика беда. Вставим, — сказал он, аккуратно выравнивая белую царапину с краем стола и упреждая возможные откровения, постукивая стеклорезом по бороздке, и добавил: — Был у меня друг. Однофамилец, кстати. Так у него такие правила были: никогда не подставляй другого; никогда никого не грузи своими проблемами; никогда ни с кем не делись планами. Планы хороши, только когда выполнены. Никогда ни с кем не делись горем. Нет силы терпеть — ступай куда-нибудь в глушь и повой на луну. Никогда ни с кем не делись радостью. Радость нельзя из себя выплескивать. Ее надо медленно растворять в себе — в крови, в костях, в мясе. Запасать на черный день. Короче, если ты мужик, никогда не будь бабой. А когда тебе плохо, сделай назло себе кому-нибудь что-нибудь хорошее. — При этих словах стекло треснуло по царапине, намеченной стеклорезом, и лишь с краю остался небольшой выступ. Нахмурившись, он сосредоточенно принялся обламывать его. Стекло взрывалось пылью, приятно хрустело, и мелкие осколки шуршали, осыпаясь на газету.

— Понятно, — сказал Руслан, поглаживая забинтованное запястье. — Только зря ты со мной кровью поделился. Напрасная жертва.

Мрачно посмотрел Козлов через плечо и ничего не ответил.

— Я тебе про Машку не рассказывал? — Руслан посмотрел на подоконник, куда поставил портрет Светы. Его там не было. Он подошел к книжной полке. Снял словарь. Фотография лежала между его страницами. Девочка по-прежнему улыбалась. Краешек рамки был запачкан красным пятном. Руслан захлопнул книгу и поставил на место. Отчаянье захлестнуло его с новой силой. — В нашем классе все кололись. Кроме меня и Машки. А потом и я. Она мне говорит — брось, дурак. Не могу. Как «не могу»? Ты человек или существо с глазами?

— Не понимаю, как это взять и проткнуть себе железом вену. Для меня сестричка со шприцем страшнее, чем фашист с автоматом. Я этих уколов с детства боюсь. А тут самому. В вену, — с брезгливым омерзением фыркнул Козлов.

Руслан молчал, ероша жесткую щетину на голове. Козлов примерил стекло к раме. Чуть больше, чем надо.

— А потом и она укололась.

— Понятно, проходили, — сказал Козлов с мрачной печалью, — укололась, чтобы доказать тебе, что можно бросить.

— Это я ее на иглу посадил.

Руслан так плотно зажмурился, что, казалось, еще чуть-чуть — и веки вдавят глазные яблоки в мозг. Нет ничего страшнее, ничего самоубийственнее чувства вины. С ним не сравнятся ни ревность, ни стыд, ни физическая боль. С ним невозможно жить. Может быть, поэтому люди научились так быстро избавляться от этого чувства.

Козлов, взглянув на эту жуткую, отвратительную маску, едва не выронил стекло.

— Ну, — пробормотал он, смутившись, — ты же бросил. И она бросит.

— Уже бросила, — подтвердил Руслан, отвернувшись, — навсегда. Три ступени до лестничной площадки не дошла. Утром мама выходит, а она сидит. Голова на коленях. Плечом к перилам прижалась. Маленькая такая.

Руслан замычал. Это был неприятный звук — то ли брошенный щенок скулил, то ли провода гудели в безлюдной степи. Слышать его было невыносимо.

— Перестань, — поморщился Козлов и стал зло обламывать край стекла. Крошки летели на пол.

Все так же стоя к нему спиной, Руслан сказал чужим голосом:

— Два дня назад умерла. У наших дверей.

— Два дня назад?

— Я домой звонил.

— Она что — рядом с вами жила?

— Нет.

— Дружили?

— Одной иглой кололись, — сказал он зло. — Зря ты свою кровь в меня перекачивал. Наркоман — это как олимпийский чемпион, звание дается раз и навсегда. Я человек конченный. Таких, как я, надо каблуком давить. С отвращением. Если бы не ты со своей кровью, я бы уже все проблемы решил. Запомни на будущее: никогда не верь наркоману. Особенно, когда он с тобой по душам говорит.

Козлов снова примерил стекло. Чуть доломал низ. Вставил в раму. Елозя молотком по стеклу, вколотил в пазы треугольнички жести.

— Ну, извини. Только резать вены стеклом — пижонство. Не знаю, как на твой вкус, но и вешаться как-то не по-мужски. Топиться? Нет, топиться, травиться — бабское дело. Мужчина должен стреляться. Я бы на твоём месте застрелился.

— Из чего? — удивился Руслан странному повороту разговора.

— Из пистолета. Могу дать напрокат, — Козлов сложил газету с осколками стекла, скомкал и бросил в буржуйку.

— Очень смешно, — обиделся Руслан.

— Да какой смех. Человек не хочет жить. Человеку нужно помочь.

С этими словами он ушел в дровяную комнату, возбудив у пеликана Петьки сначала напрасные надежды, а затем глубокое разочарование. Погремев некоторое время поленьями, вышел с тряпицей в руках. Развернул — действительно пистолет.

— Откуда он у тебя? — не поверил своим глазам Руслан.

— От верблюда, — охотно объяснил Козлов.

Он вынул обойму, выщелкал на ладонь патроны. Подставил табурет к шкафу. Высыпал патроны в коробку и спросил сверху:

— Одного хватит? Не промахнешься? — Спрыгнул, протянул было пистолет, держа его за ствол, но передумал. Спрятал под ремень за спину. — Потом квартиру не отмоешь, — объяснил он, — знаешь, как это бывает — кровь, мозги на стене до потолка. Стреляться лучше на природе. Там и кровь, и мозги как-то к месту. Куда пойдем? Я бы посоветовал на Камни. Но сначала давай пообедаем.

Руслан посмотрел на него с мрачным подозрением и пожал плечами.

Обедали, как всегда, впятером — Петька со Снежком сырой рыбой, Руслан с Козловым — жареной, мышка Машка довольствовалась хлебными крошками.

— Интересно, — сказал Козлов, посмотрев на Снежку, — он вообще теперь мышей не будет жрать или только для Машки исключение? Как думаешь?

С угрюмым недоумением посмотрел Руслан на Снежку, на Козлова и отстраненно пожал плечами.

— Я думаю — жизнь заставит, — продолжал размышлять Козлов. — Коты — народ особый. Как только на чердак потянуло, хвост трубой — и пропал навсегда. Очень они свободу любят, анархисты. А свобода всем хороша, только кормить там тебя никто не будет. Не до хороших манер, придется мышей жрать.

Иней, шурша, опадал с деревьев и проводов. С тех пор как, ударив человека в стекло, Руслан порезал вену на запястье, он жил в нездешнем, слегка звенящем, покачивающемся и кружащемся мире. Самому себе казался невесомым и прозрачным. Как отражение в ночном окне. Они прошли по-над обрывом Ковыльной сопки, мимо первого брода и спустились к каменному пляжу.

— Ну, вот здесь будет хорошо, — придирчиво осмотрев причудливые нагромождения древней потрескавшейся лавы, указал Козлов на камень, похожий на кресло, и ногой расчистил его от снега.

Руслан сел, прислонившись спиной к рыжему от лишайника валуну. Этому лишайнику было, возможно, несколько тысяч лет. Козлов взмахнул рукой, словно раздвинул штору, и рекомендовал со сдержанной гордостью:

— Просторный вид. Здесь и застрелиться приятно. Держи.

Руслан взял в левую руку пистолет и, держа его между колен, огляделся. На вершине заснеженной сопки вырастала из снега, как из облака, береза — небесное дерево. Прозрачная и невесомая, растворялась в синеве. Белая волна берега нависла над матовым льдом. Остров посередине. Журчит и переливается хрусталем незамерзающий пережат. Протока дымится паром. Кажется, горят камни среди тихо бормочущей воды. Река замерзала в ветреную ночь, и лед схватился волнами. Развалины старой мельницы на другом берегу врезаны в обрыв. Скол сопки. Тишина.

Над всем этим ослепительным хрупким миром возвышалась серая громада плотины. Холодная плоть ее была иссечена ледяными молниями трещин. Сугробы под мостом слегка дымились, будто флаги над горными вершинами. В темной протоке плавали дикие утки, патриоты здешних мест. Берег со стороны старого села топорщился щетиной вырубленного краснотала, был неприятно гол, словно побрит перед операцией по поводу аппендицита.

Стреляться не хотелось. Но застрелиться было надо. Руслан поднял приятно тяжелую машину убийства к груди, оттопырил локоть. Сердце под стволом загудело тяжелым колоколом. Коктейль из его и козловской крови зашумел в голове. Палец лежал на спусковом крючке, но нажать на него не было сил. Палец заостенел. Не успев выдохнуть старый воздух, Руслан набирал новую порцию, и легкие, как два воздушных шарика, все раздувались, раздувались, готовые вот-вот взлететь в синеву вместе с человеком, пока тот еще не продырявил себя. Мизинец заледенел. И начиная с мизинца медленно превращались в лед рука и все тело, чуть слышно потрескивая и ноя. Печально и страшно было исключать себя из родственного мира живых.

— А ты взвел пистолет? Ну, кто же так стреляется?

Козлов освободил его руку от тяжести. Но взводить не спешил.

— Я что думаю, — размышлял он вслух, сдвинув стволом шапку на затылок и почесывая косматый висок дулом, — зачем стреляться здесь, если можно застрелиться на кладбище? На чем я тебя через весь город повезу? На салазках? Я бабушке Рубцовой могилу вырыл. Рядом с дядей Гришей, под дикой яблоней. Под древом познания. Знаешь, почему — древо познания? Потому что никто яблоки с него не срывает. Там тебя и прикопаю, а сверху бабушку положу. Компания хорошая. Бабка славная. Самоубийц за оградой хоронят, а я уж тебя по блату, возьму грех на душу.

Заснеженная планета под ногами Руслана поскрипывала и слегка дрожала. У линии горизонта за синими полосками лесов угадывались другие земли, другие миры. Он думал об отверстии, которое продырявит в нем пуля, и той части тела, что вылетит вместе с расплюснутым о кости свинцом. Конечно, какая разница мертвому? Но он не мог думать об этом с точки зрения мертвеца. Не мог решить, куда стрелять — в сердце или в голову. И то, и другое было неприятно. Ему хотелось умереть без увечья.

Козлов шел рядом, заложив руки за спину, и что-то тихо бормотал. Руслан перестал думать, что лучше — дыра в груди или дыра в черепе. Козлов говорил странные вещи. В каждом поколении есть свой Христос, но его распинают задолго до тридцати трех лет вместе с другими неизвестными. И он приходит неузнанным и уходит неузнанным. Потому что Бог чурается рекламы. Говорят, в каждом человеке есть частица Бога, и, убивая себя, человек убивает Бога. Вздор, наверное. Неужели и в убийцах скрывается Бог? Возможно, Он в генах? Да, если Бог есть, Он — в генах. Правильно ли самому себя распинать на кресте? С одной стороны, кто другой лучше тебя знает твои грехи? Но одно дело судить себя, а совсем другое быть палачом.

Слова захолустного философа шелестели умиротворяющей метелью.

Они подошли к свежей могиле, раскрытой, как нежное рыжее лоно на белом теле земли. Козлов закурил и сдержанно попрощался.

— Ну, до встречи, — сказал он сухо, опустил уши шапки Руслана и подвязал их под подбородком на петельку, пояснив: — Будешь в висок стрелять, не так изуродует.

Немного подумал и решил, что рациональнее всего Руслану лечь на дно могилы и там застрелиться. Во-первых, сам устроится, как ему удобнее, а во-вторых, выстрел из-под земли не так слышен. А он уж его забросает глиной и слегка приотпчет, чтобы родственники бабушки Рубцовой ничего не заподозрили.

Руслан прыгнул в могилу, и Козлов передал пистолет. На этот раз, чтобы не вышло недоразумения, он сам взвел его.

Небо, увиденное из нелегальной могилы, было прекрасно. Голубой прозрачный колокол раскачивался над ним, тихий звон оседал на землю.

Умирать не хотелось. Умирать было мерзко. стыдно. Убивать себя — гнусное извращение. Он подумал, что на самоубийство решаются крайние жизнелюбы. Ему хотелось жить. Ему ничего не надо было от этой жизни. Ему достаточно было просто жить среди милых развалин мертвого города, куда по ночам приходят выть волки, а чья-то призрачная душа играет на пианино. Медленно читать по вечерам трудные книги. А днем размышлять о жизни, копая могилы. Но он виновен. И вину эту уже не исправить. Ее можно лишь заглушить, выстрелив себе в голову. Он сам вынес приговор и сам должен привести его в исполнение. Его еще теплое, дрожащее от холода тело протестовало. В чем я виноват? Разве я создал коноплю, разве я придумал героин, разве я наживался на этом пороке? Это зло, как заразная болезнь, передавалось из поколения в поколение, когда меня еще не было на свете. Да, я тоже жертва. Это была спасительная мысль. Но он не смог ухватиться за эту соломинку. Жертва, жертва... Лишь до тех пор, пока был просто носителем заразы. Но ты стал ее разносчиком. У тебя нет другого выхода. Убить себя — значит убить зло, которое в тебе, обезопасить от него других. И если есть Бог, он должен понять и простить. Минуту назад его не волновало, есть ли Бог. Ему было все равно. Но сейчас, чувствуя пальцем холод спускового крючка, он хотел, чтобы Бог был, понял и простил ему его выбор. Страх наполнял тело холодом и ознобом. Это был многоплановый, безысходный страх. Он страшился нажать спусковой крючок и боялся не найти в себе сил сделать это. Ужасно было умереть, но еще ужаснее — остаться жить. Если нет смысла жить, есть ли смысл умирать? Самое справедливое было бы вот так всю оставшуюся жизнь держать пистолет у виска, мучая себя непереносимым чувством вины. Дело не в том, хорошо или плохо убивать себя. Дело в том, что он не имеет права жить, если его существование несет смерть. Его жизнь сама по себе — зло.

Человеку нужно прививать чувство вины до того, как он наделает глупости, чтобы потом не терзать себя бесполезным раскаянием всю жизнь. Если бы можно было раскаяться до греха...

Руслан приставил дуло пистолета к виску, но локоть уперся в стену. Он подумал, что под таким углом нанесет себе рану, от которой не скоро умрет, и отодвинулся к противоположной стене могилы. Желание жить было столь мучительным, столь невыносимым, что он, жалобно замычав, судорожно нажал курок.

Мертвая тишина наступила после грохота. словно сама природа содрогнулась в испуге. Полная тишина. Все было вроде то же — зев могилы, уходящей в небо, окаймленный белым квадратом снега, — лишь слегка изменился цвет. Как же так, вот я умер, а все вижу. Он видит все это глазами души. Глазами мертвого человека. Его тело скоро станет глиной, а душа поднимется над землей и сольется с ноосферой, чистой сферой разума. И будет смотреть с высоты на его брошенное тело. Жалкий, глупый кусочек мертвой плоти, которому был дан редкий шанс двигаться, думать, жить, любить и страдать наравне с другими теплыми существами — птицами, собаками...

— Ну, что — застрелился? — услышал он Голос. — Тогда вставай. Простудишься.

С неба к нему протянулась рука. Еще не понимая в чем дело, он сел, понюхал ствол пистолета. Пахло приятно.

— Левую, левую давай.

Что левую? Ах, да! Левую руку. Потому что правая порезана стеклом.

— Как там, на том свете? Хреново? Хреново. Но тут такое дело: пока сам не побываешь ТАМ, ничего не поймешь. Пойдем домой?

Сначала мелко завибрировало горло, потом затряслись колени, плечи, челюсть. Его заколотило всего. Эту дрожь нельзя было подавить. А между тем Руслана переполняла дикая радость. Она сотрясала душу и тело, переполняла. Внутри бушевал пожар. Я живу, я живу, я живу! Но, стиснув зубы и закрыв глаза, он не позволил и

искорке этого огня обнаружить себя. Сжавшись, он ждал, пока в этом огне прогорит мерзкое, злое, противное, что мешало ему жить, — человек из прошлого.

— Себя убить — не покаяться. Это легко. Нажал на курок и избавился от раскаяния. Спрятался. Пуля грехи не отпускает. Раскаиваются по-другому. Всю жизнь. Посадил человека на иглу — снимай с иглы других. Что толку сопли пузырями пускать? У тебя теперь один вариант — закончить медицинский и лечить наркоманов. Срубил дерево — сажай лес в пустыне. Загубил девочку — спаси тысячу. Вот это раскаяние.

Скажи Козлов эти слова час, минуту назад, они бы остались просто словами. Мертвой листвой, без пользы опадающей с дерева. У каждой секунды свой смысл и свои слова. Молитва не ко времени может погубить, а мат к месту спасти. Это было то, что Руслан хотел услышать. За это можно было ухватиться. С этим было можно жить.

— А его мы давай похороним.

Козлов взял из руки Руслана пистолет и бросил на дно могилы бабушки Рубцовой, обрушив вслед комья рыжей глины.

Пусть покоится с миром на тихом кладбище оружие, вернувшее человека к жизни.

На Земле все оставалось по-прежнему, и все неузнаваемо изменилось. Человека, только что вернувшегося с того света и все еще смотрящего на мир глазами мертвеца, поразили теплый, печальный цвет крестов, железных звезд и деревьев на холодном и чистом, рериховском закате. Никогда он не видел такого многоцветного, такого сиротского неба. Это был не закат, а палитра с красной дырой солнца. Неужели до этого он видел мир практически серым, каким его видят волки и собаки?

В окно ударился грязный снежок. Козлов открыл форточку.

Внизу стоял Яшка Грач и кричал на весь мертвый город:

— Козлов, идем к плотине. Пелядь водопадом бьет. Кум вчера мешок сачком насобирал. С лодки. Промок. Хворает теперь. Я сачок у него взял, а лодку, жмот, не дает. Да мы по бережку пойдем. Битую рыбу к бережку прибывает.

— Чего орешь? Заходи.

— Птеродактиля своего не выпустил?

— Недельку еще поживет.

— Я вас здесь подожду.

— Понятно: болотные сапоги пропил. Откажешься — бродни попросит, — сказал Козлов Руслану. — Прогуляйся, может быть, что-нибудь для Петьки и принесешь.

Прогноз обещал большой паводок. Опережая его, спустили воду. Плотина ревели, как вселенская стиральная машина. Страшно было стоять на дрожащем мосту. Ветер задувал с реки водяную пыль. В лесах лежал снег. На море матово блестел голубой ноздреватый лед, торосы сотрясали быки, а река была чиста. Облака пены плыли по ней, верхушки притопленной талы гнуло течением.

— Пойдем к камням, — стараясь перекричать водопад, орал Грач, — там река поворачивает. Вся глушенная рыба там.

Серебряная пелядь лежала на боку в грязной пене между прутьев талы. Руслан, подняв забинтованную руку вверх, спустился к ней по скользкому берегу с сачком.

— Вычерпывай, что смотришь?

— Дохлая.

— Какая разница? Птеродактиль сожрет.

Не без брезгливости взял задеревеневшую рыбу Руслан и обмыл ее в мутной и холодной воде. Грач подставил мешок, держа его руками и зубами.

— Хорошо, что не поленились пойти через плотину, — кивнул Грач в сторону противоположного берега, — рыбы поменьше, зато и народа нет.

Казалось, весь Степноморск высыпал на реку. Люди подбирали пелядь сачками, «пауками», петлями на конце палок. Дрожащие от холода мальчишки бросались за проплывающими на боку подранками в ледяную воду и тут же бежали с добычей отогреваться к кострам.

— И судороги не боятся, стручки, — сказал Грач с одобрением. — Мы тоже после ледохода воду грели. У кого дури больше, кто первым прыгнул, тот и герой.

Они прошли километра три, но подобрали всего три рыбины: течение сносило мусор к левому берегу. Грач, пошарив за пазухой, вытащил початую бутылку, сказав:

— Грех не выпить за удачную рыбалку.

У каждого порока свой пророк.

— Не хочу, — поморщился Руслан.

— Брезгуешь из горла? — Грач извлек из бездонного кармана пластмассовую воронку с делениями: — Учись, студент.

Он зажал большим пальцем носик и, держа воронку перед глазами против солнца, налил до нужной отметки. Запрокинул голову, поднес носик к открытому рту и убрал палец. Закрыв глаза и поднял вверх палец, прислушиваясь к ощущениям.

— Б-р-р-р! Гигиена! — зарывав, похвалил он себя. — Я из этого сосуда с прокаженным пил — и хоть бы хны. — Запустил руку в карман штанов, достал несколько семечек, пощелкал. — В чем смысл выпивки? — спросил он, отсыпая Руслану три семечки, и сам же ответил: — В хорошей закуске.

Руслан снял черную шапочку, и ветер, насыщенный запахом подтаявшей земли, половодья, полный простуды и надежды, расчесал волосы и выдул из головы нудные мысли.

— Яков Сергеевич, а ты помнишь, когда первый раз напился?

Глаза Грача налились есенинской синью, и приятно зашелестели страницы его беспутной жизни в обратном порядке. У каждого уважающего себя пьяницы есть своя легенда, оправдывающая сладкий порок.

— Можешь мне не верить, но пять лет тому назад я был трезвенником. — Сказано было сильно. Грач умел подсекать. — Представь: сентябрь, осенние грибы, листопад. Иду с полным лукошком белых через рощу. Тогда там еще дорожка была и мостик через овраг. Дорожка растрескалась, мостик сгнил. Да... Иду, загребая кирпичными сапогами листья. Думаю: может быть, кто-нибудь кошелек потерял. В тот год развал только начинался. И вообще, и в личной жизни. Ждали праздника, а вышли похороны. С женой развелся. На экономической почве. Ты, говорит ласково, вообще не мужик, если семью содержать не можешь. Таких судить надо. Посмотри на других. Посмотрел. Действительно, есть люди, которые достойным делом занимаются: грабят и разваливают родное государство. Дай, думаю, попробую. Как ни старался вывернуться наизнанку, не получается. Передовые люди живут под лозунгом: обдери ближнего, ибо дальний приблизится и обдерет тебя. А у меня в башке всякая ерунда: человек человеку — брат, миру — мир, раньше думай о родине, хлеба горбушку и ту на двоих... Попробуй с таким воспитанием стать бизнесменом. Все равно что пол сменить. Хорошо тем, кому выворачиваться не надо было. Они давно вывернутыми жили. Играешь, допустим, в футбол. Вдруг выбегает на поле мужик, хватается мяч руками и бросает его в ворота. Гол. Ты ему: это не по правилам. А он: правила изменились. Кто изменил? Я. Короче, если ты не умеешь воровать, какое ты имеешь право заводить семью? В НИИ сокращение штатов. Кто в первых рядах? Грач, птица весенняя. А было время, не поверишь, хотя бы год безработным мечтал побыть. Работы было, как сейчас перхоти в рекламе. Сбылась мечта. Вот я и прилетел в Степноморск к старикам на родное гнездовье — тогда еще живы были — крылья почистить и хрен к носу в тишине прикинуть: что делать и кому морду бить.

Иду, шуршу листьями. Тогда еще развалин не было. Народ не шуганный. Правда, самые мудрые уже смотались — кто куда. Поднимаю глаза и вижу: через мостик идет она, Эмка из 10-го «Б». А рядом — пацан в бейсболке, клетчатых шортах, гетрах. Ну, у меня и пацан, и весь мир — в области слепого пятна. Я одно вижу: глаза ее, печальные, откровенные. Коровьи, с поволокой. А ты не смейся. Знаешь, какие глаза у коров бывают? Не глаза — два омуты. Увидел — и утонул. Это мы их коровами обозвали. На самом-то деле — антилопы. А волосы, знаешь, седые. И так ясно стало, что жизнь прожита. И прожита не так, не там и не с теми. И сделано-то — хрен с мелочью, а ошибок — на десятерых. Вот идет навстречу она, с кем нельзя было разлучаться, а прожили мы врозь, и ничего, кроме трех поцелуев, у нас не было.

Не дай бог тебе, студент, такое сожаление испытать.

Грач отвернулся, прикуривая. Как у каждого стареющего человека, скудные факты собственной биографии со временем наполнялись для него особым, почти библейским значением. Он замолчал, переживая нахлынувшие воспоминания. Душа его, изъеденная многолетней коррозией скепсиса, заныла от наивных чувств. Какие молодые, НЕЗДЕШНИЕ метели кружились в те годы в строящемся городе. Они выходили из школы и погружались в это белое, подвижное марево всем классом. Лохматый в ту пору Грач, как паровоз, тащил за собой в воющее снежное пространство состав одноклассников. Пацаны и девчонки держат друг друга за хлястики, прикрывают лица портфелями, стараются перекричать метель и смеются без особой причины. И только Грач, щурясь, всматривается в колючую белизну. По долгому маршруту, сквозь пустыри и строительные площадки, хаос бетонных плит и березовые рощи разводит он по домам одноклассников, пока не остается один. Мир полон ветра, смеха и мечты. Когда это было? В другой стране, в другое время. В следующем году исполнится тридцать лет после выпускного бала. Собраться бы всем, посмотреть друг на друга. Откопать шампанское, что зарыли на углу школы. Прокисло, поди. Только фиг соберешь всех. Кто за полярным кругом, кто в Якутии, кто вообще в Германии, а кого и нет уже. Остались в родном захолустье лишь Сашка Шумный, Пашка Козлов да он, Грач. Три мушкетера. Ничего, он от этих огрызков десятого «Б» не отстанет. Прокисло — нет шампанское, дело не в этом. Возьмем чего-нибудь посуше. Посидим у спаленной молнией березы в старой роще. Вспомним утренние кроссы к дуплу, где, может быть, до сих пор спрятаны их шпаги. У него была ивовая. У Шумного — из боярышника. У Козлова — черемуховая. Перестук деревянных шпаг в тумане осеннего леса. Один за всех, и все за одного. Впереди вечность... Прикурив, Грач продолжил рассказ, стоя спиной к Руслану и глядя на реку, несущую облака пены:

— Сердце колотится — вот-вот оглохну. Лукошко — шмяк на землю. Побежал я и на середине мостика обнял ее. Держу в руках и думаю: «Ни хрена, Грач, Бог есть, жизнь не кончилась. Нет у нее мужа — хорошо, есть — отобью». Понимаешь, смысл появился. А пацаненок ее за руку трясет и что-то ревниво по-немецки лопочет. «Что он говорит?» — «Спрашивает: что этому старичку надо?». Старичку? Положил я афганку на перила, три волосинки на лысине пригладил. Сделал стойку на руках и в таком положении пять раз отжался. Отряхнул руки и говорю: «Переведи сынку: если отожмешься хотя бы один раз, можешь называть меня старой развалиной». — «Это не сынок, — говорит Эмма, — это внук». Представляешь? Но малыш крутой оказался. Вызов принял. Поднатужился, поднатужился, но только и сумел что пукнуть. Засмутился.

«Где ты? Как ты? Надолго здесь?» — спрашиваю и глаза от ее глаз не могу оторвать. А сам думаю: жаль, конечно, что такое чудо проворонил, но ничего — жить не так мало осталось. Осенние грибы — самые крепкие. А она смотрит на меня издали-издали и так печально отвечает: экскурсия бывших советских немцев, ностальгический тур по местам молодости, своим ходом из Германии...

В это время и позвала ее труба. Смотрю: сквозь желтые деревья краснеет двухэтажный автобус, а вокруг пестрый народ толпится. Наши иностранцы. Руками машут и на часы показывают. Ну, проводил я ее до автобуса...

Ты боксом занимался? Знаешь, когда хорошо зацепят, ты вроде и в сознании, и на ногах, а плывешь, ничего не соображая. Она что-то говорила, а я уже и с русского без перевода ничего не понимал. Жизнь одновариантна. Что тут поделаешь. Помню только, что-то она про нашу дику северную вишню говорила. Да тут еще меня иностранец по плечу хлопает, отвлекает: «Здорово, Яшка». Смотрю на него с досадой. Ну, знаешь, как туристы одеваются — будто на взрослого дядю костюмчик пятилетнего пацаненка натянули. Морда в штаны не влазит. Все яркое, в глазах рябит. И приятно так одеколоном пахнет. Не мужик, а клумба. Довольный, как после бани. «Федор?». Морщится и поправляет свысока: «Теодор». Да хрен с тобой, какая разница. Кличка у него раньше была Райбугай. Пунктом осеменения крупного рогатого скота заведовал. «Ты уже познакомился с моим внуком?» — спрашивает. Причем, рожа славянская, с акцентом. Выпендривается. На комплимент напрашивается. Ох, в детстве я его лупил! Мало, видно.

Но тут их с посадкой поторопили. А я, как дурак, все пытался ей корзину с грибами всучить. И покати́л автобус по бывшей улице Ленина, по кленовой аллее в параллельный мир, в другую вселенную. А в темном стекле — одна ладошка белеет. Вывернул автобус за березовую рощу, куда тридцать лет назад мы бегали с Эммой целоваться на большой перемене, и пропал навсегда. Стою посредине лужи, один на этой облезлой планете, а вокруг маленькими желтыми лебедями плавают кленовые листья. Вот в тот день я и нажрался до упора. Планета — креном. Сел в эту лужу и все пытался вспугнуть желтых лебедей, чтобы на юг летели.

Ну да, конечно, можно было бы придумать что-нибудь и получше. Скажем, стать нобелевским лауреатом или, мечтать так мечтать, новым русским и однажды прика- тить в Германию... А что? Алкоголь тогда еще мозги не сожрал, профессию не забыл. У меня в свое время даже статейка в журнале «Геодезия и картография» была тисну- та. С портретом лица. С шевелюрой. Это было недавно, это было давно. Мне, безра- ботному, уже было за сорок, как выглядит планета с птичьего полета, никого не интересовало, плешь — в полшара. И я подумал: может быть, и хорошо, что так вышло? Себе жизнь испортил, так хоть ей не навредил. Пошел и нажрался.

— Вспугнул? — спросил Руслан.

— Кого? — не понял Грач.

— Желтых лебедей.

— А, это, — серьезно ответил Грач, — не помню.

Грач дунул в порожнюю бутылку и, быстро завинтив пробку, бросил ее в реку.

— Ты что сделал? — спросил Руслан.

— Что? — испугался Грач, оглядываясь.

— Зачем в бутылку дунул?

— А, это... Желание загадал.

— Какое желание?

Грач смутился.

— Желание не положено говорить. Не сбудется. Или ты думаешь, что у меня уже и желаний нет? — Он посмотрел с подозрением в глаза Руслана, но, не увидев в них ничего подозрительного, затосковал по водке. — Жизнь, студент, нужно прожить секунду за секундой. И каждую секунду смаковать, обсасывать, как рыбью косточку к пиву. А мы все светлое будущее строили. Здравствуй, будущее, здравствуй... Ничего там, кроме старческого маразма, тебя не ждет.

Прямо Омар Хайям.

Бутылку с запечатанным желанием вынесло на середину реки и закружило в пенном водовороте.

— Ничего! — пригрозил кому-то Грач с мрачной решимостью. — Мы еще услы- шим звон золотого колокола.

Ветер с реки задувал на мост водяную пыль. Руслан попытался дотронуться рукой до радуги, сочно горящей в холодной взвеси. Но не достал. Тогда он взобрался на перила, сделал шаг — радуга отодвинулась. Он пошел вслед за ней над белой ревущей пропастью, балансируя руками. Идиотизм прозябания в мертвом городе иногда подталкивал живых людей к подобного рода поступкам.

— Слезь, дурак! — заорал на него Грач, — Разобьешься — Бивень меня убьет.

— Слезу, — заверил его Руслан, — вот дойду до конца — и слезу.

— Здесь триста метров по длине и тридцать по высоте, чтоб ты знал. Внизу — всякий хлам, арматура, бетонные плиты, — пугал его Грач, — перила мокрые.

— Не мешай: я загадал.

— Что загадал?

— Дойду до конца — все будет хорошо.

— Не дури! Дойдешь не дойдешь, а все будет, как будет.

Руслан дошел до фонаря и, обхватив его дрожащими руками, посмотрел вниз, в ревущую бездну. Это было место первой смерти в Степноморске. Именно здесь, не выдержав мук неразделенного чувства, десятиклассница перелезла через перила и бросилась с тридцатиметровой высоты, оставив туфельку с вложенной в нее запис- кой. Девчонки много лет назначали свидания «у Наташкиной туфельки», веря, что это

место уберезет их от измен. Грач попытался стащить Руслана с перил, но пальцы соскользнули с мокрой резины бродней.

— Отойди — прыгну, — пригрозил Руслан.

Посмотрел ему в глаза Грач и отступил.

Оторвался Руслан от влажного железа и пошел по дрожащим перилам вслед за то исчезающей, то вновь вспыхивающей радугой к следующему фонарю. Что он загадал, Руслан и сам не знал. Но был уверен: если дойдет по скользким перилам до того берега, все изменится. Изменится он, изменится Козлов, Грач, весь мир, а бессмысленная серая жизнь мертвого города наполнится смыслом.

Грач шел рядом, то яростно матерясь, то обращаясь к Богу, в которого не верил, но рев заглушал слова и лишь отдельные фрагменты его речи долетали до слуха Руслана. Стайка пацанов забежала вперед и, пятясь задом, щебетала в восторге, предвкушая скорое падение Руслана. Чайка села на перила и побежала впереди, переваливаясь и помогая себе крыльями. Может быть, его собственная душа семенила впереди на тонких ножках, то ли ободряя, то ли прощаясь.

Холодно и отчаянно весело.

В тени электростанции после десятого фонаря радуга исчезла. Когда он соскочил с перил, из будочки, разглаживая усы, вышел незнакомый дед и молча залепил ему подзатыльник, после чего повернулся и снова ушел в свой скворечник, так ничего и не сказав. Ноги дрожали. Стучали зубы, и тело гудело, как высоковольтные провода. Бессмысленный поступок не казался ему бессмысленным. Он чувствовал себя совсем другим человеком, не тем, каким был на том берегу.

— Идем кормить птеродактиля, — сказал Грач, — пусть нажрется от пуза пеляди перед свободой.

— Ну вот, — сказал Козлов, открывая окно, — кажется, настоящая весна пришла. Пора прощаться с Петькой. — Пеликан, услышав свое имя, вышел из спальни. Остановился возле Козлова и раскрыл клюв. — Лопай, лопай, дармоед, — ворчал Козлов, бросая в розовый мешок рыбу, — поди, и летать за зиму разучился.

Пеликан не терпел фамильярности и был очень недоволен, когда Козлов взял его на руки, но отпущенный на землю улетать не торопился. Козлов показал рукой на пустующее здание, бывшее некогда районной типографией, и сказал:

— Балхаш в той стороне.

Посмотрел на него Петька одним глазом и раскрыл клюв.

— Все, брат, лафа кончилась. Теперь сам будешь корм добывать. Лети.

Пеликан осмотрелся и, расставив огромные крылья, побежал к луже, оставляя на грязи четкие отпечатки лап. Лужа была мелкой и грязной. Пробороздив ее из конца в конец, Петька успокоился и попытался изловить рыбу.

— Лети, лети. Здесь ловить нечего, — крикнул ему Козлов.

У этой большой, тяжелой, некрасивой птицы был удивительно красивый полет. Словно белый ангел парил над мертвым городом. Весело и грустно было на душе.

— Вот дурак, — расстроился Козлов, — он же на север полетел. Совсем неправильная птица.

— Они в стаях живут, — сказал Руслан. — Всю жизнь, наверное, со стаяй за вожаком летел. Откуда ему знать, куда лететь?

Петька исчез за развалинами дома.

Пусто стало в небе и на душе.

Золотой колокол

По ровному снежному полю шел рыжий мамонт. За ним семенил мамонтенок. Безбрежная белизна перетекала в мглистое небесное поле с белесым кругом холодного солнца. Мамонтенок ковылял из последних сил. Порой он останавливался и капризно гудел, прося подождать его. Старый мамонт угрюмо скрипел снегом, не

обращая внимания на жалобы малыша. Мертвое поле, где под настом не было жухлой травы, тревожило его, и он спешил пересечь до темноты опасную равнину.

Голодный мамонтенок, помахивая маленьким, как хвостик, хоботком, догонял мамонта, некоторое время шел рядом, но снова отставал и снова жаловался на усталость.

Поле исторгло звенящий стон и вздыбилось под ногами старого мамонта острыми голубыми льдинами. Провалившийся в темную воду зверь затрубил последнюю песнь смерти, прося помощи. В отчаянии пытался он ухватиться за белесый круг солнца. Силы покинули его, и воды сомкнулись над головой.

Мамонтенок, семена маленькими ножками, кружил вокруг черной дыры. Он звал старого мамонта и жаловался. Но жаловаться было некому. Ему было одиноко и страшно. Он лег на снег и стал ждать, когда вернется большой мамонт.

Обломки льда состыковались и успокоились. Черные трещины между ними затягивало холодом. Небесное поле стало серым и поглотило безмолвное солнце. Падая снег, укрывая мамонтенка.

Молодая часть Степноморска образом жизни напоминала диких гусей. С той лишь разницей, что на лето гуси летели на север, в тундру, а степноморцы, наоборот, с севера на юг, к родному гнездовью. Хотя и не покидая севера.

Молодые прилетали счастливыми стаями, превращая руины в курортный город. Правда, с каждым годом их возвращалось все меньше и меньше. Вот уже третье лето из четырех братьев Мамонтовых приезжал только один.

Баба Надя давно ждала своих, но нагрянули они, как всегда, неожиданно. Вдруг ночью дом залил свет фар, глухой переулочек наполнился шумом мотора, смехом, а на занавеске запрыгали знакомые тени. Грозно затявкали пес.

— Бимка! Своих не узнаешь? — И лай сменился счастливым визгом.

Выскочила баба Надя во двор в домашних тапочках, накинув на ночнушку кофту.

— Ой, Витя!.. Люба!.. Света!.. Антон!... — от счастья другие слова позабыла.

— Баба Надя, ты так не радуйся. Тебе радоваться нельзя. Опять давление поднимется.

Ввалились шумной оравой в избу, наполнив ее беззаботной атмосферой старого Степноморска, и тут же принялись распаковывать сумки с подарками — теплые тапочки, кофты, чудо-печь, болотная ягода клюква в полиэтиленовых бутылках, рулоны обоев для ремонта.

Оставив в коридоре баулы, Антон ринулся в спальню, нырнул под кровать, извлек пыльные велосипедные колеса и направился на веранду.

— Куда ты на ночь глядя? До утра не дотерпишь?

— Мы же с утра хотели на Линевое, — изумился странному вопросу Антон.

— Ма, па! Баба Надя пианино перевезла, — хлопнула крышка, и радостно полились в ночь печальные звуки полонеза Огинского.

Сладко засыпать в старом доме, пропитанном янтарной смолой, в мягких, как облака, перинах, подложив под голову маленькие подушечки, набитые хмелем. Эти подушечки из цветастого ситца, на которых белыми нитками баба Надя вышила инициалы родных людей, были полны заветных снов. Запахом хмеля струились они в ночной тишине, клубились и перемешивались пряным туманом. Случалась, что Света смотрела сон из маминой подушки, и наоборот.

Виктору Николаевичу снилась Ильинка, какой она была до затопления. Снились ее белостенные избы, акации и жители, большинства из которых уже давно не было в живых. Сон был простой и ясный. Едет он на старом велосипеде вдоль плетней, из-за которых свисают в переулочек золотые головы подсолнухов, на Барашево. Концы березовых удилиц елозят по теплой пыли, звенит на руле алюминиевый бидон.

Антону снилось... Впрочем, прилично ли заглядывать в чужие сны? Пусть отсыплются с дороги.

Эти кладовые сновидений каждый год Мамонтовы увозили с собой на север. Но там, в районе вечной мерзлоты, они теряли свою чудесную особенность.

Утром их разбудил Сергей Васильевич Тучка. Трудовик.

— Вы еще на учет не встали, засони? — спросил он басом.

— На какой учет?

— В паспортном столе, темнота! Теперь это называется миграционной полицией.

— Еще чего не хватало, чтобы я дома на учет вставала. Нашли иностранку, — возмутилась мама Люба. — Опять ты со своими шуточками?

— Напрасно так думаешь, — осудил такое настроение Тучка, — оштрафуют тебя через три дня. Какие могут быть шутки? Бегом с повинной в паспортный стол.

— Это ты, Серега, тоску наводишь? — послышался со двора голос Виктора.

— А ты откуда такой веселый, с бородой и гитарой?

Из бани, разумеется. С первого дня каникул Мамонтов не брился, и вскоре, если бы не очки, пролысинка и рыжие волосы, его нельзя было бы отличить от легендарного бунтаря Че Гевары. Именно в старой бане жила мамонтовская муза. В полумраке предбанника вдыхал он березовый аромат веников и сочинял песни. Корявые, но душевные. Закрыв глаза, он долго перебирал струны, пока не проникся настроением:

Мы с тобою плывем налегке:
Заблудиться нельзя на реке.
Нас с пути водяной не собьет,
А течение домой принесет.
Мы поем, мы беспечны с тобой,
Не разлить нашу дружбу рекой.
Крепок киль и надежно весло —
Скоро дом и родное село.
Но куда завели берега?
Заливные чужие луга,
Не знакомы ни омут, ни брод.
И другой обитает народ.
Камыши и туманы густы,
Шей гнем под чужие мосты.
Здесь враждебны слова и глаза,
Вязок ил и горька рогоза.
Вот наш дом, вот родное крыльцо,
Но в окошке чужое лицо.
Говорят на другом языке:
«Вы чужие на этой реке».
Мы обиду снесем — уплывем
По течению с тобою вдвоем.
Уплывем, повторяя в тоске:
«Заблудиться нельзя на реке».

Прошло пять лет, как они покинули умирающий город, но печаль исхода все еще жила в их душах. Это были домашние гуси, обреченные на ежегодную тоску перелетов.

Виктора Николаевича Мамонтова, преподавателя физики Степноморской довольно средней школы № 2, коллеги считали чудаком: он отказался от старой оценки знаний и разработал свою систему. Ученик мог получить 0,29, а мог и 4,56. Низшим баллом был ноль. Двойку еще надо было заслужить. Но дело даже не в этих странных баллах. Он имел серьезные намерения вообще отказаться от оценок. Мамонтов помнил себя школьником и знал: среди нормальных детей не может быть отстающих. Для него оставалось обидной загадкой, отчего неутолимая любознательность ребенка исчезает сразу, как только его усаживают за парту? Задачу преподавателя он видел не в том, чтобы под страхом двойки, а следовательно, родительских подзатыльников, насильно, карательными мерами навязывать знания детям, но исключительно в том, чтобы поддерживать в них природную любознательность. Из человека, не умеющего разжигать сырые дрова в печи, никогда не получится учителя. Когда первый из бывших безнадежных второгодников поступил в «бауманку», школа долго не могла прийти в себя от изумления. Через пять лет класс, где он был руководите-

лем, поступил весь, без единого исключения, и большинство — в технические и физико-математические институты. Виктор Николаевич был убежден: есть одна наука — физика, все остальное — фантики. Но, несмотря на такое заблуждение, его признали лучшим учителем области. Если разобраться, он был тем самым всесторонне и гармонически развитым человеком, скорое появление которого, мало в это веря, предрекали ученые-обществоведы. В Степноморске и на просторах, к нему прилегающих, подобный человек изредка встречался. В основном среди молодых учителей — морозоустойчивой, головастой, выведенной в рискованной зоне породы целинных интеллигентов с телами атлетов и мозолистыми лапами пахарей. Эти парни не только профессионально исполняли свои обязанности, что-то изобретали и сочиняли по ночам, но могли правильно вбить гвоздь, накосить сено, а между делом занять первое место на районных соревнованиях по десятиборью. Каникулы они проводили в традициях студенческих отрядов, зарабатывая деньги на свои задумки. Впрочем, за отпуск успевали с севера на юг пересечь на велосипедах республику или сплавиться по родной реке, чтобы детально изучить ее экологическое состояние, а потом надоедать властям и газетам.

У кого-то часы всегда спешат, у кого-то всегда отстают. У Мамонтова часов вообще не было. Он никуда не боялся опоздать. Степноморск совпадал с его характером: не вполне город и не совсем деревня. Золотая середина удерживала Виктора Николаевича, страстного любителя природы и ненавистника суеты, искушаемого соблазнительными предложениями, от переезда. Его приглашали на преподавательскую работу в пединститут, настоятельно рекомендовали изложить педагогический опыт в брошюре. Все это очень смущало Виктора Николаевича. Не мог же он сказать: ребята, нет никакого опыта, просто я живу в свое удовольствие. Как объяснить людям, которым давно осточертела ежедневная долбежка, что вести урок — это так же интересно, как собирать грибы, ловить рыбу, играть на гитаре, плавать на байдарке, скользить на лыжах, жонглировать мячом, писать маслом космические пейзажи, конструировать велосомобиль, плести кресло-качалку, просто смотреть на ночное небо. Кроме этих занятий, сблизивших его с детьми, Мамонтов втайне баловался бардовской песней. Не признаваясь в авторстве. Само сочинительство он, человек рационально мыслящий, считал неприличным. Метафора для него была ложью. «А вы слышали такого Морковкина? — предварял он очередную премьеру вопросом. — Не слышали? А вот послушайте». И кисти рук скользили по струнам, как два проворных тарантула. Пальцы на левой руке заметно длиннее, чем на правой.

Вокруг этого мрачноватого и слегка рассеянного человека, вызывая ревность у физруков и учителей пения, всегда роились пацаны с гитарами, велосипедами, нотами, копьями, бутсами, лыжами, сумасшедшими идеями и книгами. Для него же внеурочная возня с мальчишками была лишь спасительным прикрытием собственных увлечений. Строго говоря, он никого не пытался воспитывать, напротив, жил довольно замкнуто, сам по себе. Василий Кузьмич, работавший в ту пору директором школы, определял его метод как явление природы, вроде смерча, который помимо воли тягивает в свою круговерть всех, кто оказывается рядом.

Когда подоспели времена перемен, на августовской конференции случился учительский бунт. Его выбрали представителем — спросить у начальства, с чего это вдруг вот уже полгода учителя работают бесплатно? Начальство удивилось: и не совестно приставать с глупостями в исторический момент перехода от тоталитаризма к демократии? А что изменилось? Дважды два уже не четыре? Отменили закон сохранения энергии? Вы, дармоеды, вспыхнуло начальство, вообще помолчали бы — вас кормят доярки и скотники. Как они кормят, если сами ничего не получают, да и ферм почти не осталось? Начальство не смутилось и заговорило о временных трудностях, чувстве долга и родине с очень большой буквы. Мамонтов согласен был потерпеть во имя независимости и неизбежного процветания отчизны. Но у патриота, такая беда, тоже есть чувство собственного достоинства. Все решил маленький эпизод, последняя капля. В драной телогрейке лучший учитель области вез с поля на раме велосипеда мешок картошки, а навстречу на сверкающем, как рояль, джипе ехал сын начальника, обвинившего учителей в дармоедстве. Семиклассник. Свернул с правой стороны дороги и обрызгал своего учителя грязью из лужи.

«Здесь ловить нечего, — авторитетно говорил сосед, работавший вахтовым методом на нефтепромыслах. — От тепла и воды вас уже отключили. Вчера иду от свояка, смотрю — роят прямо во дворах, на волейбольных и хоккейных площадках. Чего, спрашиваю, роете? Уборные, отвечают, роем и колодцы. Одна радость — зарплату не выдают, так что особенно часто бегать на двор не придется. Свояк бизнес наладил — буржуйки из бочек делает. Ты, кстати, буржуйку не заказал?».

Этот город всегда казался учителю Мамонтову надежным, прочно сколоченным ковчегом. Но вот случился потоп, и во все щели хлынула вода. Ковчег тонул. Нужно было спасаться вплавь. А времени учиться плавать уже не было.

Степноморск жужжал растревоженным ульем. Произошло нечто невероятное, чего нельзя было даже вообразить: исчезла работа. Одно за другим закрывались предприятия. Уезжали люди. И отъезд был похож на паническое бегство. Люди, еще вчера кричавшие: время, вперед! — с тем же энтузиазмом скомандовали: «Время, стой! Кругом! Шагом марш!». Знаменитая степноморская передвижная механизированная колонна сорвалась цыганским табором и своим ходом всем составом укатила в сопредельную республику. Внезапно нарушилось хрупкое равновесие золотой середины. Молодое поселение, едва став городом, в одночасье было отброшено в девятнадцатый век, стремительно деградировало в деревню. В школах занятия шли в одну смену, и было ясно, что две из четырех школ придется закрыть. Исчез книжный магазин, а затем — районная библиотека. В центральную котельную не завезли уголь — и стали исчезать ближайшие березовые колки, грибные леса. По всему городу звенели пилы и стучали топоры. Забытые деревенские звуки. Народ заготавливал на зиму топливо для буржеек. Мамонтовы тоже пилили дрова. Лиственницу, заготовленную для строительства мастерской-обсерватории. Была у них с Антоном такая давнишняя мечта. Телескоп был готов. Полгода шлифовали линзы. Но какая там обсерватория? У всех знакомых перелетная тоска в глазах. Эти бревна когда-то давным-давно были церковью в Ильинке. Крест на ней в год рождения бабы Нади срубили, и обезглавленный храм стал клубом. Перед затоплением села сруб раскатали и перевезли в строящийся Степноморск. Собрали музыкальную школу. И вот за ненадобностью разломали, а бревна раздали учителям. Тем, разумеется, кто согласился получить зарплату бревнами и при этом раскатать здание. Пилит Мамонтовы лиственницу, восхищаются старыми мастерами. Виртуозно владели мужики топором. Жалко бревна. Ценнейшая порода. Сколько дождей, снегопадов, капелей, сколько холодов и зноя вынесли, а древесина стала лишь плотнее, тверже. Грех сжигать лиственницу в печи. А что делать? Рубить деревья в заповедном бору?

Пилит Мамонтов старую церковь, клуб, музыкальную школу и недостроенную обсерваторию. Рвет душу железом. Не нужен он здесь. Полгода не видел зарплаты. Рыбачил, собирал грибы и ягоды не для удовольствия. Для пропитания. Надо выживать, уезжать на север. Приходят молодые учителя. Приносят в ученических тетрадках свои данные. Год рождения. Стаж. Предмет. Виктор Николаевич, напишите: есть ли потребность в химиках. Разор. Запустение. Предполетная тоска. Все рушится, крошится, гниет, покрывается плесенью, ржавчиной, патиной. Что их ждет там, за полярным кругом? Ничего, кроме неизвестности. Надо перевезти семью с самым необходимым скарбом к матери, наколоть дрова на зиму и готовиться к отъезду. Вчера ходили с Антоном в свою квартиру за стиральной машинкой. В подъезде встретили заслуженного тренера республики Сатуняна. Некогда интеллигентное лицо — просто очень старое лицо больного человека. Изможденное нуждой и обидой, затравленное беспросветной тоской. Приватизировали его эллинг, разворовали байдарки, каноэ и лодки. Лестничные пролеты без перил. Со стен обвалилась штукатурка. Разбитые двери. Плохой запах. Плешивая персидская кошка с выбитым глазом. Подняться на четвертый этаж и не подумать об отъезде невозможно.

«И думать нечего, — сказал хмуро старший брат, безработный инженер Валера, — остаться — себя не уважать». «А ты?» — «У меня жена немка. Если ехать, то в Германию. Не одно и то же. Я же, если раз в год не попробую нашей северной вишни, с тоски помру. Впрочем, надо решаться». Сели перед дорогой. «Самое главное забыл — кошелек», — вспомнил Виктор. «Да у тебя его никогда и не было», — усмехнулась Люба. Действительно, Мамонтов все эти годы как-то обходился без

кошелька. Отношение к деньгам у него было советское: оскорбительно презрительное. Донесет, сколько дадут, в кармане и бросит в вазу, стоящую на телевизоре. Валерий достал свой издававший виды кошелек, вытряхнул содержимое на стол и очень удивился, обнаружив в нем дыру. «Антон, принеси-ка цыганскую иглу и леску ноль-один». Старший брат штопал прореху в кошельке, а все молча наблюдали за ним.

Промозглым осенним вечером к дому подъехали старенькие «Жигули», и Мамонтов с заштопанным кошельком, оставив после себя неуютную пустоту, уехал в ночь, полную нехороших предчувствий и сомнений, туда, откуда наплывали тяжелые предзимние облака, царапая свинцовые брюхи о колючую стерню на полях.

В той, доперелетной жизни у Мамонтовых был один повод для раздоров — велосипед. Для Виктора Николаевича он был не просто средством передвижения, а образом жизни. Характером. Ведь что такое велосипед? Металлический скелет, абстрактный зародыш первомашины. В нем все на виду, нет тайны, а есть лишь простота, крайний аскетизм, сочетающийся с совершенством идеи. Единственная из машин, которая не противоречит природе, вписывается в нее, словно создана ею. Ни у одного из механизмов нет такой степени свободы. Для велосипеда не нужно топлива, гаража, даже дорог. Пока он тебя везет, едешь на нем, если дороги нет, несешь его ты. Эта машина — само равноправие, сама справедливость. На ней невозможно застрять. Ею трудно нанести вред. Велосипед как бы вне времени. Сквозь его простоту просвечивается вечность, бессмертие. С этим средством передвижения Виктор Николаевич практически никогда не расставался. Велосипед и он срослись в одно существо — велокентавра. Велосипед использовался в самых невероятных целях. На нем возили сено, мешки картофеля с поля, дрова и детей, пока они не подрастали до своего первого велосипеда.

Непозволительная любовь к велосипеду вызывала раздражение у жены Мамонтова, учительницы химии Любви Тарасовны. И когда на зиму он прятал колеса под супружеское ложе, чтобы шины не потрескались от морозов, она непременно спрашивала: «А почему не в кровать?».

Я или велосипед — вот как поставила вопрос Любовь Тарасовна и объявила закат велосипедной эры, решив, что в самом ближайшем времени они купят машину. Виктор Николаевич был не только лучшим учителем области. Каждую осень он работал две-три недели на комбайне «Нива», помогая Ильинскому совхозу убирать урожай зерновых, и работал до такой степени неплохо, что очередь на машину ему была положена по условиям соревнования. (В сентябре вся школа, начиная с семиклассников, привлекалась к работе на току. Городок был пропитан запахом хлеба. Общая забота о хлебе сплачивала население в народ.) Хорошо иметь машину, кто спорит, но то ли дело велосипед. Нет, серьезно. Для поездок в радиусе двадцати километров машина вообще не нужна. На рыбалку, за грибами, ягодами — лучше велосипеда ничего и не придумать. В такую глушь, в такую чащобу можно забраться, куда ни один вездеход не пройдет. Плечо под раму — и хоть по пшеничному полю, хоть вброд через реку. Да и в хозяйстве — незаменимая вещь. «Витя, люди же смеются. Ну, что это такое: учитель везет мешок картошки на велосипеде? Штанина прищепкой прищиплена». — «Пусть смеются. Смех полезен».

Но в разгар этих споров их настигла ужасная весть: у Антона, первенца, обнаружили порок сердца. Повезли его в Алма-Ату, к знаменитому хирургу. И по дороге между отцом и сыном состоялся разговор. Виктор Николаевич никогда не сюсюкал с детьми, своими и чужими. Сколько бы лет ни было человеку, он всегда говорил с ним как с человеком. Мамонтов вообще полагал, что учитель не имеет права на вранье. Может быть, поэтому он не стал ни историком, ни литератором, но избрал именно математику и физику, предметы, исключаяющие ложь.

Ехали они по бескрайним степям в скором поезде, пили чай, смотрели в окно и разговаривали о разного рода кораблях, преимущественно парусных. Антон впервые так далеко и так надолго уезжал из Степногорска. Степное море, не отпуская его, растекалось параллельно поезду, слившись с небом. А по нему, накренившись под ветром, скользили под парусами облаков корабли. Беседа постепенно перетекла в

мечту. Мечтали на всю катушку. Виктор Николаевич пообещал сыну построить парусный корабль, когда они после операции вернутся домой.

Операция прошла успешно. Отец и сын обложились литературой по кораблестроению. Когда значительная часть денег, отложенная на машину, пошла на покупку брусьев и досок, у Виктора Николаевича состоялся разговор с женой.

«Не смеши людей, очередь на машину подошла, а ты выбрасываешь деньги на разные глупости». — «С машиной придется повременить». — «Ну, зачем тебе корабль?». — «Я обещал». — «Постройте лодку». — «Я обещал корабль». — «Построй корабль. Маленький». — «Я дал слово построить настоящий корабль». — «Ничего не случится, если один раз нарушишь». — «Ничего? Я обману Антона». — «А мое мнение тебя уже не интересует?» — «Я думаю, ты меня поймешь». — «Ты просто ненормальный, Мамонтов».

Попробовала Любовь Тарасовна разрушить союз кораблестроителей и однажды завела разговор с Антоном. Зачем нам корабль, жили же без корабля, да и зимы у нас долгие, а денег не так чтобы много. На что Антон, насупившись, ответил, что он и один построит корабль. «На какие шиши?» — не удержалась мать. «Ну, знаешь, не задавай глупых вопросов». «И в кого вы, Мамонтовы, такие упрямые?» — удивилась Любовь Тарасовна и больше не приставала к мужикам.

Чем дольше живешь на свете, тем больше убеждаешься: смысл жизни знают только мальчишки.

Кажется: ну, глупейший поступок, а станешь вспоминать — ничего, кроме этого, и не вспомнишь. Ничего лучше и важнее не было.

Корабль строили три года во дворе у бабы Нади. Так случилось, что к этому легкомысленному делу стихийно подключилось много серьезных земляков. Кто-то, как мастеровой Тучка, принимал непосредственное участие: пилил, стругал и конопатил. Кто-то, вроде прораба Козлова, добывал особо дефицитный стройматериал. Многочисленные братья Мамонтовы посвящали строительству флагмана Степного флота отпуска. Путались под ногами друзья Антона и ученики Виктора Николаевича. В райбыткомбинате за божескую цену сшили брезентовые паруса. Большинство же помогали, естественно, советами. Вскоре корабль занял весь бабушкин двор и напоминал библейский ковчег. Окрестные коты устраивали здесь свадьбы. Он очень понравился петуху, любившему по утрам поорать с бушприта. Куры, голуби и воробьи добровольно занялись малярными работами. Хотя директор пригородного совхоза Иоганн Садыкович Беккер подарил флягу бордовой, влагозащитной и морозоустойчивой краски, какой покрывают комбайны, птицы настаивали на белом цвете. Наконец законопатили и просмолили последнюю щелочку. Блоха без билета не пролезет. Покрасили и стали придумывать имя кораблю. Обсуждали долго. В конце концов все сошлись во мнении, что лучше всего назвать его попросту — «Мамонт». Во-первых, красиво, во-вторых, зверь был действительно могучий, а в-третьих, название прозрачно намекало на строителей корабля.

Для того чтобы вывезти корабль к заливу Крестовому, директор АТП Рассоленко выделил трейлер и кран. Пришлось разгородить плетень, срубить один тополь и на время снять провода со столба.

Корабль был провезен по главной, закрытой для автотранспорта улице-аллее. Сам Тарара на трехколесном «Урале» сопровождал его к заливу у плотины. Время от времени посредством мегафона он громоподобно призывал горожан к осторожности, что придавало событию особую торжественность. При большом стечении народа с небольшой, ядреный корень, пробоиной в правом борту, слава богу, выше ватерлинии, «Мамонт» был спущен на воду. Залатали дыру. Подняли брезентовые паруса. И Степное водохранилище действительно стало морем. Этот момент, запечатленный фотокором районной газеты, до сих пор волнует Мамонтовых. Снимок висит в самодельной, вырезанной лобзиком из фанеры рамочке над кроватью Антона.

«Мамонту» была суждена яркая, но недолгая жизнь. Степноморцы до сих пор с теплотой вспоминают этот корабль, весомое доказательство несерьезного подхода к жизни учителя Мамонтова.

Честно сказать, корабль был неказист, пузат, слегка кривобок, и вряд ли кто из профессиональных моряков смог бы определить его тип. Корабль, между нами,

вообще был уродом. Но, тем не менее, вызывал у степноморцев небывалое восхищение. Если вы когда-нибудь что-нибудь делали своими руками, то должны понять Мамонтовых и их добровольных помощников, которым он казался красавцем. В особенном восторге были те, кто испытал его беззвучное скольжение по водам Степного моря.

Прославился «Мамонт» борьбой с браконьерами. Это его и сгубило.

Рыбинспектор Асылхан Мурзасов, прозванный в народе за крутой нрав и небывалые амбиции Сухопутным Адмиралом, к несчастью, был школьным другом старшего Мамонтова. Однажды он привел на борт «Мамонта» отряд юных друзей рыбнадзора, сформированный исключительно из трудных подростков. Нарекли их, естественно, мурзилками. И, как-то так получилось, Адмирал со своими пиратами захватил на судне власть. Отныне команда «Мамонта» была призвана наводить ужас на браконьеров.

В первое же свое плавание с командой мурзил «Мамонт» выловил из морских вод более километра браконьерских сетей. Конфискованный улов шел на прокорм юных, но прожорливых друзей рыбнадзора Мурзасова. С триумфом вернувшись к родным берегам, мурзилки выгрузили добычу на пляже пионерского лагеря «Аютас» и вечером устроили показательное аутодафе, бросивши в костер под аккомпанемент грозной речи Адмирала запрещенные орудия лова. В последующие рейды улов был не столь велик. Завидев издали паруса «Мамонта», напуганные инквизиторским костром браконьеры в спешке вытаскивали сети и скрывались в неизвестном направлении. Коварный Мурзасов, используя страх, производимый «Мамонтом» на браконьерские массы, проводил параллельно морским налетам сухопутные операции. В момент, когда, спасая сети, браконьеры обнаруживали себя и устремлялись к своим машинам, Адмирал выходил из прибрежных кустов и, застав перепуганных нелегалов врасплох, брал их голыми руками, конфискуя не только сети, но и плавсредства. Браконьерам на Степном море приходила полная хана. Особенный урон флот браконьеров потерпел на нерестилище у острова Ильинского. Это была славная виктория. В камышовых протоках были взяты на abordаж сразу полтора десятка криминальных рыбаков.

Вскоре после этого «Мамонт» сгорел. Ярко и быстро. Снопы пламени рвались в черное небо и отражались в черной воде. «Мамонт» напоминал метафорическую свечу, подожженную с двух концов. Паруса шьются долго, а сгорают они быстро...

Со Степного моря уплыл «Мамонт» в небесный океан и вечно дрейфует теперь белым облаком в его просторах без мелей и рифов. С каждым годом он все красивее, все белее и выше его паруса. Вместе с «Мамонтом» уплыло время бескорыстных людей, время старого Степноморска. Раз в год проплывает «Мамонт» над мертвым городом, над зацветающей лужей водохранилища, сдерживаемой треснувшей плотинной, но редко кто видит его: люди все реже смотрят на небо.

Сквозь звон и душный аромат июньского полдня по просеке через вишарник, шурша и сотрясаясь на мягких неровностях почвы, от Пушкина удалялись две копны. На верхушке одной из них подрагивал букет полевых цветов. Над ним порхали большие бабочки нездешней расцветки. Из другой копны антенной торчал хлыстик спиннинга. Догнать стожки было трудно: Пушкин, хромая, вел велосипед со спущенной камерой за рога, а они катились под уклон на туго накачанных шинах.

— Антон! Виктор Николаевич! — отмахиваясь от комаров, закричал Пушкин во весь голос, как уже не кричал целый год, и добровольное эхо зычно подхватило зов, дробясь о стволы по обе стороны дороги.

Копны колыхнулись и медленно остановились. Накренились друг к другу. Из-за одной из них выглянула потная физиономия Антона со следами укусов и окровавленными трупами комаров, размазанных по лбу и щекам. Встреча с Мамонтовыми страшно обрадовала Пушкина. Еще бы не обрадоваться: раз они здесь, значит, Света приехала.

— Хорошо, что я вас встретил, — пыхтя и утирая пот, с воодушевлением сказал он. — У вас насос есть? Забудешь насос — обязательно камера спустит.

— Чего хромаешь? — спросил Антон.

— На створку ракушки наступил, — пожаловался Пушкин. — Нарывает. Такое впечатление, что сердце в пятке стучит.

Виктор Николаевич и Антон подошли к пушкинскому велосипеду, а копны, прислонившись друг к другу, чудесным образом остались стоять. Недостаток волос на голове учителя покрывался зелеными стеблями трав. Запутавшись в бороде, жужжало крылатое насекомое. Это было лицо лесного божества, и даже очки не портили это впечатление. Такой интеллигентный леший.

Камера не просто спустила. Она была пробита. А клея не было.

— Набьем шину травой, — принял решение Виктор Николаевич.

Разбортировали заднее колесо. Антон вытащил из копны серп. Пушкин скручивал траву в жгуты, а Виктор Николаевич набивал ею шину, втискивал под обод отверткой и семейным ключом.

Почему Сашку звали Пушкиным? Во-первых, Александр Сергеевич, во-вторых, Пышкин, в-третьих, был он смугл, кучеряв, худ и мал ростом. Между прочим, к поэзии Александр Сергеевич Пышкин не имел ни малейшего отношения. Пушкин был серьезным человеком и мечтал стать милиционером.

Девчонки после долгой разлуки визжат, прыгают и целуются. Парни выражают радость сурово: задирают друг друга, а от особого прилива восторга и счастья тузят кулаками. Но, поскольку Санька был практически инвалидом, Антон сдерживал чувства.

— Под плотиной судака ловят. Ночью, на светящуюся рыбку, — сообщил самую главную новость Пушкин, последний из друзей Антона, оставшийся в Степноморске.

— Судака? Ври. Откуда он здесь взялся? Сроду его здесь не было. А разве пускают в запретную зону?

— Забудь! Хоть динамитом рыбу глуши — никто ничего не скажет. Один дед Перятин в будке спит с перерывами на чай с малиной.

— И большой судак?

— Чугун на двенадцать килограммов вытянул. На базаре продал — неделю гуляет. Приходит каждый вечер под плотину без спиннинга и всем рассказывает, как дело было. В славе купается.

— Ну вот, — сказал Виктор Николаевич с удовлетворением, — хоть сейчас на Тур-де-Франс.

И покатили они по лесной дороге дальше — две копны и Пушкин на травяном колесе. Велосипед скрипит печально, словно курлычет отставший от стаи журавль. Ветер пахнет сенокосом. Конечно, ехать на травяном колесе — удовольствие ниже среднего. Каждую кочку чувствуешь. И так жалко и пожеванную шину, и обод, и спицы, и весь этот много претерпевший на своем веку велосипед. Не на колесе, а на собственном сердце подпрыгиваешь на колдобинах.

Остановились посоветоваться — подняться на грейдер или ехать короткой полевой дорогой? Место было мрачноватым и одновременно красивым. Мрачность ему придавало забытое кладбище, заросшее волчьей ягодой, дикой вишней и черемухой. Сквозь заросли просматривались каменные надгробья. Жутковато: человеческие жилища исчезли без следа, а могилы остались. Отсюда открывался такой простор, что, казалось, планета внезапно увеличивалась в размерах. Земля прогнулась гигантским провалом старого русла, стены которого поросли ярусами: наверху вековые березы, затем осины, а внизу черемуха и тала. В сквозной дыре каньона виднелось небо на обратной стороне планеты. Это было озеро Линевое, защищенное от всех ветров высокими берегами. Сюда, в комариную столицу, Мамонтовы ездили за родниковой водой. И на этот раз пластмассовые емкости с холодной влагой были прижаты резиновыми жгутами к багажникам над передними колесами. На рулях — берестяные коробка с дикой земляникой, из сумки, набитой влажной травой, торчит щучий хвост.

Пушкин простер руку над пойменными зарослями и сказал торжественно:

— Вон, за рекой, у озера Кривого, дорога просматривается, видите? Месяц назад Тарара там милицейскую фуражку потерял. Ехал себе, ехал на мотоцикле, вдруг кто-то как даст по башке — фуражка и улетела. Оглядывается, а за ним гонится

снежный человек. Рост — три метра, косматый, зубы желтые. Без штанов. Тарара газанул, а он не отстает. Да там особенно и не разгонишься, видите, как петляет.

— А чего ж он из табельного оружия огонь не открыл? — не поверил Антон.

— По-твоему надо сразу палить во все, что на тебя не похоже? — удивился кровожадности однокашника Пушкин. — Да к тому же Тарара никогда пистолета в кобуре и не носит. Потерять боится. Он у него за иконой всегда лежит. А в кобуре у него морковка. Очень морковку Тарара любит.

— По-моему, не морковку, а чекушку возит в кобуре твой Тарара.

Вместо пшеничного поля, которое некогда пересекала дорога, они въехали в странный лес. Это была голубая полынь выше человеческого роста, такая густая и душная, что Антон не сдержал восхищения: вот где партизанить — фиг кто найдет. И как бы подтверждая его слова, заросли бурьяна зашевелились, затрещали, и на дорогу вышла черная вислоухая свинья. В мрачном изумлении застыла она на мгновение, рассматривая странные существа, хрюкнула и снова исчезла в зарослях.

— Что это было? — удивился подслеповатый Пушкин.

— Снежная свинья, — предположил Виктор Николаевич.

— Вот вы не верите, а об этом даже в газетах писали. Да вы сами у Тарары спросите.

Бурьян кончился, и открылась опушка леса с домиком, огороженным от дороги колесами поливальных установок. Трубы были использованы для сооружения громадного сарая-шалаша. Мрачно проводил их взглядом небритый мужик с вилами, не ответивший на приветствие.

— Невозможное пекло. Хоть бы дождик прошел. Так и пышет, так и пышет. В огороде все горит. Вон как помидоры уши-то опустили, — пожаловалась баба Надя.

У женщин, особенно пожилых, сложные отношения с погодой. Они, как и мужьями, никогда вполне не бывают довольны климатом. Еще день назад та же баба Надя сердито выговаривала неизвестно кому: «Собрались тучки в кучку — быть грозе. Ну, сколько можно лить? В огороде все плавает, картошка гниет на корню. Хоть бы солнышко выглянуло, землю подсушило».

Стоя возле плиты, баба Надя бдительно следила за тем, чтобы все было съедено, но при этом ругала приготовленные блюда: тесто у нее не вышло, мясо пересолено, и вообще — все пригорело. Баба Надя себя оговаривала, напрашиваясь на комплименты. Не было в мире повара, которому бы она уступила пальму первенства в приготовлении любимых Антоном чебуреков, пельменей и беляшей. Не всякому доверяла она скалку. А если и доверяла, то поминутно советовала: «Раскатывай тоньше. Чтобы сквозь сочень узор на клеенке было видно». Худенькая баба Надя была убеждена, что здоровый человек непременно должен быть толстым. А чтобы хорошо отдохнуть, необходимо много спать. Будь ее воля, ребята бы спали и ели, спали и ели и лишь изредка ходили на реку — подышать свежим воздухом, нагнать аппетит.

— Что это за отдых? — расстраивалась она. — Встали ни свет ни заря, ничего не съели и сразу дрова колоть. Прямо беда.

В этот раз завтрак был испорчен маленьким, но неприятным происшествием.

Взвизгнув, Света выскочила из-за стола:

— Тимка мышь принес, — сказала она, побледнев от ужаса.

Антон заглянул под стол, отобрал у кровожадно заурчавшего кота добычу и продемонстрировал обществу:

— Это не мышь, это воробей.

— Вот мерзавец! — возмутилась мама Люба. — Мыши пешком по дому ходят, а он воробьев ловит.

На женщин не угодишь. Антон, держа умерщвленного воробья за крылышко, вынес его во двор. Мерзавец Тимка, задрав голову и хвост, выбежал следом. Только все успокоилось, как Антон поднял тревогу:

— Тарантул! Тарантул! В Светкин тапок заполз!

Света снова взвизгнула, но на этот раз в два раза громче и, опрокинув табурет, выскочила из-за стола.

— Антон! Сколько можно? Что за глупые шутки! — рассердилась мама. — Оставь ребенка в покое.

— Мне правда показалось — тарантул, — оправдывался Антон, но по глазам было видно: врет, подлец, ничего ему не показалось.

— Да какие же сейчас тарантулы? — удивилась баба Надя. — Садись, Света, не бойся. Тарантулы в дом осенью, по холоду ползут. Нашел о чем за столом говорить.

— Знаешь, Антон, — сказала Светлана в сердцах, — иди в малину!

Она знала и более ужасное ругательство: иди в крыжовник. Воцарился мир, и баба Надя, бросив последний чебурек в большую, как таз, чашку, сказала задумчиво:

— Перед вашим приездом приключилось со мной... не знаю, что и подумать. Полезла я на баню. Курица повадилась на чердак. Вот я и подумала: должно быть, яйца кладет. Смотрю — что-то блестит в соломе, а со свету не пойму что. И что вы думаете? Банка трехлитровая. А на ней бумажка приклеена: «Не трогать. Не открывать». Открыть я не посмела, а только пыль протерла и на свет посмотрела. Даже не придумую, как сказать, что в ней. Паутина не паутина. Как бы тень. А вдоль банки, от крышки до дна, ленточка приклеена, а на ней черточки — по годам. Забоялась я: колдовство какое-то, уж не домовый ли шалит?

— Кроме домового, у нас некому шалить, — сказал Мамонтов-старший.

Света подняла голову и выразительно посмотрела на бабушку. Антон посмотрел на Свету и оскалился.

— Дурак! — сказала она ему, вспыхнув румянцем, и выскочила из-за стола.

— Что это она? — строго посмотрела мама на Антона. — Опять?

— Что опять? — удивился Антон.

— Только не делай вид оскорбленной невинности. Почему она убежала?

— Банку перепрыгивать, — прыснул Антон и расхохотался. Он хохотал долго — до слез в глазах, до боли в животе. Но, встретившись глазами с отцом, мгновенно стал серьезным.

— Помните — тетя Аня раком заболела? Я тогда в пятом классе учился. Светка у всех допытывалась: есть лекарство от рака? Я ей и говорю, чтобы отстала: «Есть. Надо килограмм комариных ножек собрать, высушить, растолочь и смешать»... за-был, с чем. Кажется, с рыбьим жиром. Вот она комариные ножки до сих пор и собирает. — Он снова было вознамерился повеселиться, но посмотрел на отца и нечеловеческим усилием воли сдержался.

— Ты еще кому-нибудь расскажи об этом, — мрачно посоветовал ему отец.

— Так она, значит, столько лет собирала комариные ножки, чтобы приготовить лекарство от рака? — до слез умилилась баба Надя. — Золотое сердце. Опять чужого котенка слепошарого принесла. У нее в беседке целая поликлиника. Вороненка у кота отняла. Крылышко лечит. — И поделилась сомнениями: — Уж больно она тихая для своих лет. До сих пор со Зверевой Наташкой в куклы играет. А уж скоро школу кончит. Поступить-то куда решила, в медицинский? Время сейчас какое. Как одну в город отпускать?

— За ней Антон присмотрит, — с некоторой долей сарказма успокоил ее сын.

Затявкали Бимка. Откинув тюлевую занавеску от мух, вошел Козлов и постучался в косяк.

— Спасибо, тетя Надя, я уже позавтракал, — отказался он от приглашения, но к столу все-таки сел. — С приездом.

— Да ты подстригся! — изумилась Люба. — А я смотрю и не пойму, с чего он так изменился?

— Руслан обкорнал. Тетя Надя, наверное, рассказала: сын ко мне приехал. Взяли бы вы его в свою компанию.

— Посмотрите на него: довольный такой, так и светится, — прокомментировала выражение козловского лица Люба.

Любимое женское занятие — заглядывать без спросу человеку в душу.

Козлов кашлянул в кулак, нахмурился, но не смог сдержать улыбку. Чем мрачнее человек, тем приятнее он улыбается.

— Велосипед есть? А бардачок? Как зачем? А рыбу куда складывать? — спросил

Виктор. — Ну, если есть, о чем речь. Мы сегодня к вечеру на Карасевое едем. Антон, ты дяди Валерину черную лодку заклеил?

Когда Козлов ушел, Любовь Тарасовна, сморщив носик, сказала:

— Фу! От него пахнет покойниками. Витя, открой окно.

— Ну, что ты выдумываешь? Ничем от него не пахнет, — возразил Виктор Николаевич.

Но окно открыл.

Настежь распахнулась дверь, и во двор выбежала Света, на ходу надевая шлепанцы.

— Па, посмотри, — сказала она и замотала головой.

Зазвенели в ушах рыбацкие колокольчики.

— Теперь не потеряешься, — оценил новые сережки отец, но тут же перевел внимание на более важные вещи. — Антон, ты подтянул спицы?

На секунду встретились глаза Руслана и Светы. В ее взгляде не было ни смущения, ни тайны, ни глупого девчоночьего кокетства. Это был простой, ясный взгляд счастливого существа, не озабоченного тем, что о нем подумают другие. Руслан кивнул ей, поздоровавшись. И она кивнула ему в ответ, отчего снова зазвенели колокольчики. Все краски, вся музыка мира сосредоточились в одном человеке, а все вокруг стало серым и беззвучным, как в черно-белом немом кино. Но как странно преобразился старый двор, когда он отвел взгляд. И береза с боксерской грушей, и поленицы дров, и пес, взобравшийся на будку, чтобы лучше видеть, что происходит за оградой огуречника, и Антон, выправляющий «восьмерку» в переднем колесе, и даже развалины мертвого города, выглядывающие из-за диких яблонь, — все излучало золотое сияние смысла. Этот двор с внезапным появлением рыжеволосой девочки-колокольчика стал центром мироздания, оазисом в пустыне, единственным в мире местом, пригодным для жизни.

— В заднем колесе пять спиц лопнуло, — печально сказал Антон, приставил лестницу к недостроенной обсерватории и полез на чердак за старым колесом в надежде найти запчасти.

Сверху открывался потрясающий вид на государство бабы Нади. Государство было большим. Оно насчитывало пятнадцать соток. В его пределах, не скучая, можно было провести каникулы. Все вещи здесь пропитаны ностальгией, кисло-сладким вкусом северной вишни, предчувствием последнего лета. Со стороны огуречника бабушкин дом оплетен до самой трубы хмелем, в сплошной зелени которого прорубями темнеют окна. В летнем тепле старого двора Мамонтовы отогревают промерзшие за полярным кругом кости.

В лабиринте березовых полениц пряталась круглая беседка, где по ночам сочинял песни неизвестный миру бард Морковкин, пощипывая струны и освещая налобным фонариком пюпитр, сколоченный из кленовых жердей. Днем в беседке проходят курс интенсивного лечения цыплята, котята и щенята вдовьей улицы.

Над дверью сидит пациент Светы — вороненок Взятчик. Крылышко склеено скотчем. Лапка перебинтована. Входящих в дом Взятчик приветствует горловым пением. Не получив съестного, пикирует и клюет по темечку. Даже для бабы Нади не делает исключения. Вот она и ходит весь день в соломенной ковбойской шляпе.

У окна — колодец, в который невозможно упасть. Вместо сруба из земли торчит накрытая крышкой от кастрюли труба, некогда бывшая составной частью поливного агрегата. Диаметр не более тридцати сантиметров. Соответствует ей и совершенно авангардистское ведро — узкое и длинное. Когда, накручивая на ворот тонкий трос, его извлекают из земных недр, жутковато прекрасный космический гул наполняет двор. Давным-давно на улице перед домом был вырыт настоящий колодец — с деревянным срубом, под навесом. Но вскоре подвели водопровод, и его поспешили завалить глиной. От того колодца осталась лишь песня Мамонтова: «На дне колодца плавают звезда...».

За беседкой, укрывая ее подолом листьев, растет старая береза, полная птичьего свиста и ветра. Кряжистый ствол служит одной из стоек турника. По мере того как подрастали дети, подрастала и она, все выше поднимая перекладину. Приходилось

менять лишь одну стойку. На этом турнике Антоном установлен рекорд двора — шестьдесят подъемов с переворотом. На десять больше, чем у отца. С ветвей свисают качели, кольца, самодельная боксерская груша. К стволу приколот баскетбольный щит с корзиной из обода детского велосипеда и сетки-авоськи. В кроне скрывается гнездо, в котором в знойные дни прячутся от домашних хлопот Антон и кот Тимка.

В глубине двора — баня. К ней примыкают мастерская и недостроенная обсерватория. Оббитые жестью, они расписаны картинами в стиле Пиротомани. Здесь и коты с рыбами в зубах, и пышные девы под зонтиками, и псы с костью, и рыбаки, запутавшиеся в сетях, и яблоки величиной с собачью конуру, а также кентавры, кентаврицы и кентаврята.

В дальнем лабиринте-поленице — стол, магнит для мух, кошек и котов из соседних дворов. На нем чистят и разделяют рыбу. Время от времени Пушкин распространяет по городу жуткий слух: «Во дворе у Мамонтовых отрезанную голову под газетой нашли». И спустя некоторое время уточняет: «Щучью».

Здесь у каждого предмета своя история, своя тайна. Но самое интересное — чердак над баней. В нем не сушат грибы и ягоды, не развешивают веники и вентери. Там хранятся идеи и мечты. Их так много, что самовольная рябая курица с трудом смогла найти место, где можно снести яичко. Для постороннего это лишь куча хлама, покрытого тенетами и пылью. Но у посвященного щемит сердце от нахлынувших воспоминаний. Вот эта конструкция — недоделанный велосомобиль. Его бы, конечно, доделали следующим летом, если бы не увлеклись дельтапланом. Вот видите — трапеция, составные алюминиевые трубы. Обязательно бы полетели в следующем году, но загорелись соорудить подводную лодку. Замечательная идея, замечательная, хотя водные лыжи — лучше. Не те, на которых скользят, буксиромые катером, а те, на которых бегут по воде, как по снегу. У всех этих конструкций один автор. Но порой ему кажется, что у каждой недоделанной мечты, у каждого лета был свой Антон. Мальчишки, каким он был когда-то, прячутся привидениями в закоулках двора и, обиженные, с укормизной шепчут ему: что же ты, пацан, забыл о нас? Отчего забросил такие интересные дела? Разве не жалко тебе, что уже никогда не взлетит с Полынной сопки дельтаплан и не погрузится в Степное море подводная лодка?

Антон, погреем металлом, извлек из свалки подводное ружье. От всех прочих подводных ружей оно отличалось тем, что имело два ствола, а два фала наматывались на маленькие барабанчики. Вытянув руку, Антон прицелился. Двор погрузился в сумрачные воды Степного моря. Из-за печной обвитой хмелем трубы выглянула пудовая щука. Проплыла над крышей и спряталась в густую прохладу старой березы.

Двор твякает, мяукает, орет ревнивым петухом. Кудахчет, воркует, чирикает. Шумит листвою, рябит солнечными пятнами, звенит гитарой, перекликается знакомыми голосами. Старый двор, увитый хмелем, укрытый тенью берез, диких яблонь, тополей и кленов, родовое, разоряемое временем, но упрямо сопротивляющееся этому разорению гнездо. Как рыбный стол притягивает соседских котов, так двор зовет каждое лето всех Мамонтовых, разбредшихся по лицу земли. Зовет, да не всех дозывается.

Нет, лето это не время года. Лето — это совсем другая планета.

Антон еще не расставшийся с беззаботными затеями детства, не ведая о том, пребывал в самом счастливом периоде своей жизни. Его сердце, помеченное скальпелем хирурга, к счастью, еще не было обожжено первой любовью, первым предательством, его не коснулся цинизм, свойственный людям его возраста. Это было последнее лето его долгого, полного приключений детства. Да, он все еще был ребенком, но лишь в том смысле, что жил по законам бессмертия — без забот о завтрашнем дне, без зависти и унылых комплексов. Быть бессмертным — беззаботно скакать в потоке времени в азартной погоне за мечтой, оседлав единственную, вечную секунду, которая дана тебе с рождения. Настоящее — уже прошлое. Чужой, непонятный мир отживающих людей. Бессмертный живет в будущем. Каждый взрослый разочаровавшийся человек переживал это время бессмертия. Было это давно и совпадало, как правило, с летними каникулами. Если бы они могли длиться вечно, долгие дни полного, абсолютного счастья с досадными, но редкими минутами огор-

чения. Рыба сорвалась, на ржавый гвоздь наступил. Пустяки, короче. Проходит время, и месяцы бессмертия сменяются днями, дни — часами, часы — минутами. И вот ты начинаешь забывать, как чувствуют себя боги. Начинаешь пить, чтобы снова пережить хотя бы секунды абсолютного счастья. Но тщетно.

На самом деле неважно, бессмертный ты или нет. Важно жить как бессмертный. Все достойное человека на земле создано людьми в краткие часы их бессмертия.

— Нашел спицы? — доносится в заоблачную высь с далекой земли.

Что? Какие спицы? Ах, да...

На то, как Мамонтовы собирались на первую рыбалку, по давней традиции приходила посмотреть вся вдовья улица. Бабушки рассаживались на скамье под березой, а разномастные коты со всего околотка — на заборах. Антон с Русланом укладывали на багажники велосипедов мешки с резиновыми лодками, весла, удилица, садки и перетягивали все это резиновыми жгутами. Виктор Николаевич сосредоточенно набивал старый рюкзак банками с червями, пакетами с прикормкой, коробками с запасными лесками, крючками и грузилами. Но самое деятельное участие в сборах принимала баба Надя. Она вынесла из дома охапку свитеров, лыжных шапочек и шерстяных носков. Развешала весь этот гардероб по велосипедам и сурово приказала: наденьте!

— Ба, я не понял, а где шубы? — возмутился Антон.

— Мама! — нахмурился старший Мамонтов. — Ты бы еще валенки вынесла.

Но баба Надя такие глупости даже слушать не хотела.

— Одевайтесь, — сердито настаивала она. — Ишь, чего выдумали! Посиди-ка в маечках над водой. К вечеру прохладно будет.

— Ты сама подумай, — сопротивлялся Виктор Николаевич, — напаялим мы все это на себя и десять километров будем крутить педали по жаре. Вспотеем. Приедем, разденемся и простынем...

— ...тяжело заболеем и скоропостижно умрем, — закончил мысль Антон, но послушно натянул на себя все три свитера, а зеленую шапочку с красным помпоном нахлобучил по самые глаза, упрятав под нее уши.

— Витя, надень свитер! — непреклонно твердила баба Надя, не обращая внимания на глупые насмешки. — А плащи вы взяли?

Старший Мамонтов извлек из рюкзака три пакетика с полиэтиленовыми накидками и молча продемонстрировал их.

— Ну, придумали! Что это за плащи? Смех один, — заволновалась баба Надя и побежала в дом.

— Одевайтесь. Все равно не отстанет, — тихо посоветовала, сочувствуя, Любовь Тарасовна. — У нее материнский инстинкт проснулся. Терпите теперь до отъезда.

— Антон, смотри — снег не ешь, — наказала Света и прыснула в ладошку, зазвенев сережками колокольчиков. Грозно посмотрел на нее Антон и с мудростью, редко встречающейся в его возрасте, сказал отцу:

— Надень, пап. Свернем за угол, разденемся.

— Поехали, — отдал команду старший Мамонтов, закидывая за спину рюкзак.

Ох и расстроилась баба Надя, выбежав во двор с новой охапкой плащей и курток. Вот неслухи какие. Теперь жди да переживай. А вдруг дождь пойдет?

— Не размокнут, — успокоила ее Любовь Тарасовна и вздохнула печально. — Началось. Привезут рыбу, чисти ее всю ночь.

— Поможем, — хором успокоили ее старушки, а коты разом облизнулись.

Станным показалось Руслану, что поехали Мамонтовы к плотине не короткой дорогой через мертвый город, а окольной, в объезд. Лишь изредка посматривали они в сторону развалин, как смотрят дети на дом покойника. Они жили своей маленькой перелетной стайкой и не хотели тревожить себя воспоминаниями. Антон не любил тоскливое прозрение, которое приходило к нему в мертвом городе. Все, что казалось важным, неотложным, без чего нельзя было прожить, что волновало, радовало, вызывало обиду или стыд, вдруг оказывалось никому не нужным, забытым. Вроде бы

ничего и не было. Все — плохое и хорошее, что вызывало смех и слезы, что казалось вечным, незбылемым было даже не сном. Пустотой. Вакуумом. Просто был ветер, прошелестел — и ветра нет. Но избежать встречи было нельзя. Они проезжали мимо дома, выходящего на главную улицу. Пролом. Свисающие плиты перекрытия. Груды битого кирпича, завалившие первый этаж. Три комнаты, одна над другой, зияющие пустотой. И груды кирпича, и пустые комнаты, и крыша поросли травой. Бетонные балки свисали на арматуре, как серьги в ушах. Антон увидел плюшевого мишку, прибитого пылью и дождями. Из распоротого живота забытой игрушки пророс татарник, хулиган растительного мира. Это квартира Лены Кнюкшты. Ее отец носил галстук-бабочку. Где они теперь? А над ними жили Леонгарды. Уехали в Германию.

В этих развалинах жили когда-то одноклассники и одноклассницы. Это было давно. В другой жизни. Когда человек уезжает навсегда, и ты никогда не узнаешь, где он и что с ним, это все равно, как если бы он умер.

По старой растрескавшейся бетонке выкатили на плотину и затормозили разом: в летнюю жару тревожным сновидением вклинилась зима. Вдоль бордюров по всей протяженности моста белели сугробы снега. Не зря волновалась баба Надя. А между тем на щербатом валу верхнего бьефа загорали потерявшие страх и совесть пацаны. Мокрый песик, задрал лохматую морду, сердито лаял на велосипедистов.

Летний снег смутил Руслана, а Антона привел в уныние.

— Все, — расстроился он, — клева не будет.

Плотина была завалена трупами мотыльков, слетевшихся прошлой ночью на свет фонарей. Жизнь этих невесомых существ длилась всего несколько часов. Они только и успели что родиться, позаботиться о следующем поколении. И умереть.

— Набери пакет, — старший Мамонтов придержал велосипед Антона, — попробуем с прикормкой смешать.

По извилистому проходу в камышах, шурша, продирались три резиновые лодки. У каждой на носу — велосипед. Камышинки хлестали по звонкам, и над озером, перебивая плеск, плыл мелодичный перезвон.

— Долго еще до чистой воды? — спросил Руслан, высвобождая веслом из-под крыла велосипеда набившийся камыш.

— Километра полтора. Прошлой осенью в этих камышах заблудился один. Всю ночь кричал. А к утру замерз. Только на чистой воде делать нечего, — сказал Антон, первым пробиваясь сквозь камышовые джунгли. — На чистой воде карась не клюет.

— Надо было велосипеды на берегу оставить, — сказал Руслан, снова запутавшись в камыше.

— Оставляли. Потом пешком по темноте топали, — неутомимо вспенивая веслами воду, ответил Руслан. — Знаешь, какой народ в Больших Малышках живет вороватый? Хуже, чем в Малых Козлах. Моргнул — шнурков нет. Вот хорошее оконце.

Старший Мамонтов снял рубашку, достал из рюкзака ножницы и, погрузив руку в воду, принялся выстригать камыш, отгребая отрезанные стебли в сторону. Спину его облепили рыжие комары, постепенно делаясь красными.

— Ну, вот здесь и рыбачь, — сказал старший Мамонтов, — только с кормы. Через велосипед неудобно. Карась будет часто срываться. Дай-ка удочку.

Он настроил ее, проверил глубину, насадил червя и показал, как надо забрасывать, чтобы не цепляться за камыш. Передав Руслану удилице, Виктор Николаевич достал из рюкзака пакет с прикормкой. Смешал с мотыльками. Набрал пригоршню и бросил, целясь в поплавок. Пареная пшеница прошуршала дождем.

— Возьми, — передал он пакет, — вначале хорошо прикорми, а потом, если вдруг клевать будет плохо, подбрасывай понемножку. Щепотку — и хватит.

Мамонтовы, взбурлив воду, исчезли в камышах, тихо переговариваясь. И растворились в шуршании.

В уютную камышовую комнату, крытую небом, заглянула черная птица — вроде утка. Плыла она порывистыми движениями, кивая головой, будто здороваясь. Увидела Руслана и спряталась в тростнике. Но недалеко. На камышитовый плотик взобралась ондатра и, держа в лапках корень рогозы, принялась поедать его.

Хорошо. Тихий, солнечный рай в комарином аду. Нирвана. Не хотелось ни

думать, ни шевелиться. Просто смотреть и слушать, как трещат прозрачными крыльями стрекозы, бормочут и плещутся в камышах птицы. Хорошо и печально. Словно после долгих скитаний по мрачным безднам вселенной вернулся человек на маленькую теплую планету, где когда-то был зачат, но увидел впервые. Он растворился в ее уютной малости, сам стал этой беззащитной, грустной планетой.

Поплавок лег набок и поплыл в сторону. На конце золотой паутинки в темной озерной воде билось тяжелое, испуганное сердце. Медным самоваром мутно замирчала чешуя и снова растворилась в придонном сумраке.

— Антон? Руслан? — забеспокоился справа невидимый среди камышей Виктор Николаевич.

— Рыба сорвалась, — объяснился голосом, полным страдания, Руслан. — С крючком.

— Большая? — невидимый из камышей слева спросил Антон.

— Большая.

— Наверное, рукой за леску взялся? Не надо было рукой за леску брать, — мудро, а самое главное вовремя посетовал Антон. — Здорово плеснулась.

— Да это я велосипед утопил, — повинулся Руслан.

— Пусть лежит, — утешил его унылый голос справа, — выплывать будем — поднимем.

Руки у Руслана так тряслись, что пять минут он не мог вставить леску в дужку крючка. Прошло еще немного времени, и сидящие в камышах справа и слева от Руслана крайне взволновались плеском, треском и странными криками.

— Руслан? — спросили с двух сторон.

— Черную птицу поймал, — объяснил случившуюся панику Руслан.

— На червя? — спросил ехидный голос слева. — Теперь час ее распутывать будешь. Всего исключает и спасибо не скажет. Везет тебе сегодня.

— Хорошая рыбалка — не тогда, когда много рыбы поймаешь. Хорошая рыбалка, когда есть что вспомнить, — философски заметил старший Мамонтов.

Катит Шлычиха на старом велосипеде к бучилу за мельницей у старого моста. На руле подвойник колоколом звенит, на багажнике табурет гремит, конец привязанного к раме удилища по дороге шлепает. Фартук в горошек, болотные сапоги, солдатская панاما, в зубах беломорина. Бабуся — пых-пых, велосипед — скрип-скрип. Картина! Мельницу давно наводнением разрушило, мост с появлением плотины никто не ремонтировал, и он давно сгнил. Одни названия. На месте запруды, на шумном перекате остались три камня-острова. Водоросли колышутся в темной воде, как бороды водяных. Сидишь посредине реки. Перекат шумит, камни воду на пенные усы разрезают. По бокам — водовороты, а между ними тихий, глубокий омут. Такие язи по утрам берутся — удилища ломают. А окуни! Кулак в пасть входит. Чайки кричат. Ветерок. Поплавок из гусяного перышка над темным омутом. Рай.

Но в тот день на законном бабкином месте сидел Шумный, директор Ильинской средней школы. Впрочем, давно нет Ильинки, да и Шумный который уж год на пенсии. Такой большой, такой грузный человек, с таким смуглым, непроницаемым лицом, что сравнить его можно только с камнем, на котором он сидел. Даже седина на его громадной башке не портит впечатления. Вроде бы как чайки хорошо посидели. А в руках у него вместо серьезного удилища — тоненький хлыстик.

Досадно бабке. Она, видишь ли, прикармливает, мосток выкладывает, а он, поглядите на него, ловит. Да что делать: место хозяина не ждет, собака не караулит. Стоит Шлычиха посреди переката, опершись о велосипед, думает, куда бы податься. На соседнем камне Сухостой — чтоб тебя ерш замучил! — расставил свои березовые удилища на полреки, как паук, злорадствует:

— Весь клев проспала, бабуся. Что же вы заходите, мимо не проходите? Проходите, проходите.

Придется с берега, с плиты удить. Место тоже неплохое, рыбное. Березки прямо из камня растут. Одна беда: водопой рядом. Весь берег в коровьих лепешках.

А утро занималось благодатное. Перекат шумит. Сухостой самокрутку курит, дым до неба. На соседнем камне Шумный сидит памятником, без движения. Должно

быть, рыбы червя обглодали. На дальнем камне — тихий безбородый человек по кличке Полтора Ивана. Нет-нет да и взлетает удилище, выдергивая из светлой утренней воды серебро. А над всем этим висится голубая плотина. Дрожит маревом. Бесшумно проплывает по ней крошечная машина.

Да вдруг посреди покоя — гром с ясного неба. Земля содрогнулась во внезапном припадке. Река покрылась всплесками перепуганной рыбы. А над плотиной вырос дымный груздь.

— Опять все окна на Береговой потрескаются, — схватилась Шлычиха за сердце.

— Какие окна! У меня вон очки и те потрескались, — заскрипел Сухостой.

— Да разве это взрыв, — крикнул со своего камня, перекрывая шум переката, Полтора Ивана и сплюнул с презрением, — вот когда я на Семипалатинском полигоне служил, там взрыв так взрыв. Будто ломом по пяткам вдарит.

— И что за манера камень рвать в самый клев! — не мог успокоиться Сухостой. — Унял бы ты, Васильич, сына. Уж и плотина раскололась.

Василий Васильевич Шумный сидел, не шелохнувшись, только уши от стыда горят — вот-вот вспыхнет соломенная шляпа. Человек он суровый, но чрезвычайно тихий. Обладая громоподобным басом, говорит редко, кратко, вполголоса. Комплексией и невозмутимостью нрава напоминает борца сумо. Земляки, мало знакомые с японскими традициями, сравнивают его обычно с бугаем. С войны он вернулся полковником, с пудом орденов, медалей, звездой Героя и женой немкой. Была она золотовласа и ослепительно красива. Особенно рядом с Василием Васильевичем, не отличавшимся божественными пропорциями. Истории этой любви мы не будем касаться: по причине скрытного и мрачного характера полковника запаса Шумного нам о ней ничего не известно. Кроме того, что Василию Васильевичу она стоила воинской карьеры. Звал он Маргариту Генриховну без посторонних ласково — Трофейчиком. Василий Васильевич Шумный не любил бряцать наградами. Лишь по большим праздникам прикалывал звездочку, а на День Победы — еще и колодку орденовских планок. Но когда раскололся Союз, стал надевать ордена значительно чаще. Никто не слышал от него мнения о развале страны, но награды звенели с вызывающей печалью. Однажды он назвал это событие Большим Взрывом по аналогии с теорией расширяющейся вселенной. Возможно, это определение было преувеличением. Но вскоре взрывная волна докатилась до тихого Степноморска и разметала его жителей по дальним и ближним зарубежьям.

Александр Васильевич Шумный, золотоглавый, высокий человек с манерами аристократа и характером прораба, в отличие от замкнутого отца громко переживал похмелье беловежской попойки, но, зная по опыту, что против лома нет приема, вовремя смирился с новыми обстоятельствами. Пока ровесники, теряя работу и почву под ногами, пребывали в растерянности, он бросился в новую жизнь, как в прорубь после парной. И этот контрастный душ ему понравился. Начал он с того, что приватизировал станцию технического обслуживания, работой которой руководил до перелома. Затем стал хозяином автозаправочной станции, стоящей по соседству. Открыл первый в Степноморске коммерческий магазин. Прибрал к рукам разграбленный пивзавод и открыл в компании с веселым кавказцем цех по розливу водки — источник основного преуспевания. Но любимым детищем его стал участок сопки у плотины, где он добился права разработать карьер. Участок этот лежал в водоохранной зоне, и при других обстоятельствах к нему бы его не подпустили. Но все возможно во времена перемен. К тому же Александр Васильевич обладал броневой обаянием. С первой встречи нужный человек делался его другом. Женщины, увидев его впервые, непременно спотыкались.

Александру Шумному часто перебивали косточки. Но лишь Шлычиха из старого села знала то, чего не знали другие: истинную правду. Не на бензине, водке, китайском барахле и щебне разбогател Саня. Колокол он нашел золотой. Это же его дед крест с Ильинской церкви спилил. Ну? Крест-то сбросил, а колокол припрятал до других времен. Вот они и пришли. Ну! Не все разделяли версию первоначального накопления. Но с некоторых пор этот колокол сильно тревожил воображение земляков. Не один местный Шлиман тронулся рассудком от его золотого звона.

Большая часть участка, выделенного под карьер, представляла собой пологий склон сопки, поросшей реликтовой сосной. Деревья росли между мшистыми валунами. Узловатые корни змеями оплетали бурые камни. Роща была красива и необычна сама по себе, но особенно неожиданно она смотрелась в этом степном краю, где старожилы делили деревья на две породы — березу и не-березу.

Первым, кому Шумный предложил руководить работой карьера, был Козлов.

Но повел он себя неправильно. Вместо того чтобы спросить, когда начинать, или, на крайний случай, поинтересоваться зарплатой, сказал: «Подумаю».

— Он подумает, — удивился, обидевшись, Шумный. — Ты знаешь, Паша, сколько в городе безработных? О чем здесь думать? Да я только свистну — весь город прибежит.

— Ну, свистни, свистни, — угрюмо согласился Козлов, — прибегут. Куда им деваться?

Вначале Шумный подумал, что Козлов набивает себе цену, и дал ему ночь на размышления. Но наутро Козлов не пришел. Встретил его Шумный через неделю. Проезжал мимо кладбища, смотрит — дорогу переходит. Сапоги в глине, на плече — лом и лопата. Тоскливое зрелище: человек вроде бы еще живет, а жизнь его уже прошла. И неприятнее всего, что этот человек твой ровесник. Словно из прошлого в свое будущее заглянул. Шумный посмотрел на себя в зеркало заднего вида и успокоился. Таким он станет еще не скоро.

— Ну, что? Надумал? — спросил, притормозив, не выходя из машины.

Окинул его Козлов нездешним взглядом и сказал:

— Не по мне работа. Тут, Саша, такое дело: или жить по-человечески — или остаться человеком.

— Не понял, — насторожился Шумный.

— Нельзя сопку взрывать. Плотина рядом. Да и рощу жалко, — объяснил Козлов.

— Хорошо устроился: баклуши бьешь — и честный? А я кручусь, как бобик на проволоке, людей работой обеспечиваю — и подлец, да? Ну, и хрен с тобой, — оскорбился Шумный, — копай могилы дальше.

— Да уж лучше могилы копать, — согласился с ним Козлов.

— Ты, Козлов, как карась зимой: зарылся в ил и ждешь половодья. Не дождешься. Шестнадцать лет нам уже не исполнится: время назад не повернет. Плыви по течению. Река во что-то да впадает, а стоячие воды до дна промерзают.

Хлопнул дверцей и рванул с места. В зеркале дрожал и уменьшался Козлов. Жалко дурака. Сам себя закапывает. И с пронзительной грустью вспомнил Шумный, как Козлов, он и Грач в восьмом классе основали партию. Партию ломовиков. Теория ломизма как всепобеждающего учения была разработана ими во время утренних кроссов, завершавшихся поединками на деревянных шпагах. Грач обобщил дискуссии в общей тетради. Получился фундаментальный труд «Теория лома», в котором неопровержимо доказывалось, что центральное место в истории человечества занимает лом. Обезьяна стала человеком, когда взяла в руки палку. А что такое палка? Деревянный лом! С лома начинается любой процесс. Историю делают ломовики. Если просверлить в ломе дырочку, что получится? Правильно, ружье. А вы знаете, какую роль в истории человечества играет ружье? А что такое авторучка, как не лом, заряженный чернилами? И т.п., и т.д. Учение заканчивалось фразой, брызжущей энергией и оптимизмом: «Победа ломизма неизбежна, поскольку против лома нет приема!» Они бы могли стать массовой партией, но росту рядов препятствовал параграф первый Устава: «Членом партии может стать любой, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания, вида и подвида, способный в знак верности делу ломизма проглотить лом». Естественно, на отцов-основателей этот параграф не распространялся. Несмотря на монолитность рядов, партию ждало тяжелое испытание: Грач и Шумный влюбились в Наташку из параллельного класса. И каждый на правах друга потребовал от Козлова, чтобы тот как человек справедливый рассудил по совести и повелел сопернику уйти с дороги. Школьный вечер. Сидят они на гимнастической скамье под шведской стенкой, хмуро смотрят в одну точку — вот-вот задыхаются и вспыхнет пол. Ждут соломона решения. Козлов все думает, думает: тяжело бремя справедливого человека. И вот заговорил: «А чего вы ко мне-то приста-

ли, уроды? Пусть Наташка сама и выбирает». Белый вальс. Идет к ним Наташка. И выбирает Козлова. Жизнь — только танец. Только танец.

Шумный усмехнулся, притормозил и сдал назад.

— Слушай, Паша, на следующий год тридцать лет как школу закончили. Собраться бы надо, бутылку шампанского откопать. Сколько ей там еще лежать?

— Можно и откопать, — без особого энтузиазма поддержал его Козлов, — только собирать-то некого. Остались три караса в этой старичке: ты, я да Грач.

Печально закивал головой Шумный и сказал почти задумчиво:

— А насчет работы ты все-таки подумай.

Но Козлов промолчал.

Шумный поехал на иномарке по неотложным делам, Козлов побрел в мертвый город. Но вспоминали они одно и то же. Весенний лес. Березовый сок бродит в крови. Травы на болотных кочках, как зеленые ежики. На каждой травинке нанизано по росинке. Мальчишеские забавы. Шумный вскарабкивается на тонкую березу и, ухватившись за вершину, спускается вниз, как на парашюте. Треск и падение. Пять километров, сменяя друг друга, несут одноклассники на своих спинах сломавшего ногу Шумного в больницу. Дружный был класс. А сейчас и фамилии не вспомнишь. Где они все? Помнят ли клятву, что давали над бутылкой шампанского, зарытой после выпускного бала у фундамента школы? Юные, влюбленные. Впереди — вечность... Много ли радости встретить их сейчас — лысых дядек и толстых теток?

В самой середине обреченной рощи коричневой шевелящейся пирамидой высился муравейник выше человеческого роста. Это был даже не город, а настоящая муравьиная страна. Миллионы крошечных неумолимых существ содержали рощу в комнатной чистоте. Гостей города непременно водили к этому чуду. Особо важных персон сопровождал Кузьмич и рассказывал преданья старины глубокой. По легендам муравейнику исполнилась тысяча лет, а в его основании лежали кости медведя, некогда обитавшего в этих краях. Не зря же местность называлась Аютас. Были и другие легенды. Но об одной из них Кузьмич не говорил никому. По этой легенде под муравьиной пирамидой был спрятан золотой колокол с ильинской церкви.

И правильно делал, что не говорил. Всегда найдется человек, который захочет проверить достоверность мифа. Зная нехороший обычай местных рыбаков ловить белую рыбу на муравьиные яйца, директор краеведческого музея Кузьмич вместе с юннатами обнес муравейник изгородью из жердей, а на столбиках прибил таблички, обращенные к четырем сторонам света: «Памятник природы. Охраняется государством». Чтобы даже до самых тупых дошло, о чем речь, эти сухие слова дополнялись красочным плакатом: «Берегите РОДНУЮ природу!» Слова в общем-то правильные, но было неясно, что делать с неродной природой. Впрочем, даже у самого заядлого рыбака и без этих шаманских заговоров не поднялась бы рука на муравьиное чудо. Правда, порой страждущие приходили сюда и, раздевшись донага, ложились на муравейник, да мальчишки лакомились муравьиной кислотой, слизывая ее с ошкуренных веточек ракиты. Но это не наносило большого урона родной природе.

Чтобы избежать козней Кузьмича и бунта подстрекаемых им народных мстителей — пенсионеров, Александр Шумный быстренько вырубил реликтовую рощу, а ценную древесину продал то ли японцам, то ли корейцам. Короче, увезли степноморскую сосну в страну, где бережно относились к родной природе. Муравейник облили бензином и подожгли. Потом заложили под него с четырех сторон заряды и взорвали. Разлетелась муравьиная страна на все стороны света, но уцелевшие муравьи еще долго досаждали «карьеристам». Ни медвежьих костей, ни золотого колокола под ней не оказалось. Вся ценность муравейника заключалась в самом муравейнике. Но разве поймешь, пока не взорвешь?

Карьер обнесли двойным рядом колючей проволоки. Денно и ночью его сторожили свирепого вида охранники и цепные псы. Охранялась, конечно, постоянно грохочущая и дробящая камень техника. Но богатые воображением земляки не верили, что в карьере добывается щебень. Большинство сходилось на полудрагоценных камнях, а самые отчаянные вруны намекали даже на алмазы. Во всяком случае, Степноморск и плотину сотрясали взрывы, а младший Шумный построил на отшибе

трехэтажный особняк под черепичной крышей, прозванный Спасской башней. Из-за забора, отдаленно напоминавшего кремлевскую стену. Жили Шумные до такой степени богато, неприлично богато, что Василий Васильевич стеснялся получать пенсию.

Семью, однако, раздирал изнутри классовый конфликт.

Была еще одна причина для переживаний. Младший сын Александра Шумного с рождения был калекой. Болезнь сделала его замкнутым, хрупким существом, мир которого был ограничен каменным забором, напоминающим крепостную стену. Мир этот был не так уж плох, особенно летом. Большую часть его занимал сад с бассейном, в котором плавали речные рыбы. В саду росли яблони с необычно крупными для северных мест плодами, колючие кусты крыжовника, малины, смородины. С самого рождения бабушка общалась с Костей по-немецки, мама — по-казахски. И говорить он начал сразу на трех языках. Он был любимцем в семье, но никогда не имел опыта общения со сверстниками. В холода и слякоть проводил время в библиотеке, читая книги на трех языках, и с нетерпением ждал лета, когда можно было, уединившись в укромных уголках сада, рассматривать через увеличительное стекло фантастически красивую и жестокую жизнь маленьких существ и маленьких растений. Он видел, как оса пожирает личинку колорадского жука, страшно двигая жвалом. Как изящное крылатое насекомое откладывает яйца в гусеницу, парализованную ядом. Он мог часами караулить появление мохнатого тарантула, жившего в норе под крыжовником. Однажды он увидел то, во что невозможно поверить, — крылатого муравья.

Но неутолимое любопытство, свойственное людям его возраста, манило за ворота дома. В шуме далекой плотины, доносимом попутным ветром с моря, слышались голоса сирен. За сиренами следовали взрывы. В дни, когда карьер не работал, дед Вася по старой бетонной дороге отвозил внука в инвалидной коляске на мост, под которым ревел водопад, разделяющий море и реку на две планеты.

В пасхальный день со дна водохранилища, сквозь толщу вод поднимался звон золотого колокола. Отражение играющего солнца слегка раскачивалось в глубине, словно золотой литье шевелил плавниками, источая золотой гул.

— Вот по этому отражению и можно определить, где спрятали колокол, — говорил, опираясь о ржавые перила плотины, дед Вася и щурился от подводного сияния, — если знать, откуда смотреть и в какое время.

— А ты знаешь? — спрашивал Костя, и сердце колоколом гудело в ушах.

— Конечно. Кто этого не знает? — скучно отвечал дед Вася. — Видишь белый камень на Полынной сопке? Вот с него и надо смотреть в Пасху на море.

Рыжие прибрежные сопки, как мамонты на водопое. По затененному шляпой лицу деда плыли золотые волны.

— Только не каждый человек его услышит.

— А кто его услышит?

— Тот, кто никому не завидует.

— Дед, поехали на белый камень!

Дед Вася улыбнулся. Рассказав легенду о золотом колоколе, он, как и каждый педагог его возраста, счел своим долгом тут же ее и развенчать. Но Костя опровержению не поверил. Он слышал подводный гул. И такой это был чистый, печальный звук, что золотой озноб еще долго сотрясал его хрупкое тело.

Давным-давно, когда не было моря, деда Васи и никого из живущих сейчас людей, поселился в Ильинке чужой человек. Был он стар, страшен глазами и нелюдим, а богатство свое добыл душегубством. Когда же пришло время думать о собственной душе, понял: не отмолить ему грехов. И тогда отлил он из награбленных золотых монет колокол. А чтобы не вводить в искушение земляков, раскаявшийся разбойник покрыл золото медью.

Золото можно скрыть под медью, только золотой звон не спрячешь. Не было другой церкви на свете, чей колокол звучал бы чище и печальней ильинской. Словно душа разбойника просила помиловать ее.

Не раз и не два лихие пришлые люди покушались по ночам на звонницу, но каждый раз неведомая сила сбрасывала их с церковной крыши. Ангел ли охранял колокол, непрощенная ли душа разбойника — кто знает?

Но однажды пасхальным днем веселые безбожники вскарабкались на купола и под проклятья и плач старых людей сбросили вниз кресты. Они не верили в небесный рай, но верили, что могут построить рай на земле. А чтобы Бог не отвлекал народ от строительства земного рая, они поступили с ним так, как поступили бы с прочей контрой. «Ну, где ваш бог? — кричали они с обезглавленной церкви. — Почему не поразит нас огнем небесным? Потому что его нет, и нет другого рая, кроме нашего райцентра!».

В ужасе молились старые люди, ожидая Божьего гнева. Но веселые святотатцы даже не поцарапались. Когда же они спустились по лестнице вниз, на крыше разоренной церкви появился черный старик и, потрясая руками, проклял ильинцев. «Воды сомкнутся над вашими могилами, — кричал он, сверкая страшными глазами, — а потомков ваших разнесет ветрами по лицу земли, как перекасти-поле!»

Окружили безбожники деревянную церковь, полезли на крышу ловить контру. Все обыскали, а человека нет. И колокол пропал. Не послужил строительству новой жизни. Долго его искали по клуням, сараям, погребам и огородам, но так и не нашли.

Было ли, не было — живых свидетелей не осталось. А легенда она и есть легенда. Правда, проклятья черного старика сбылись. Но люди, привыкшие думать собственной головой, знают: все мифы и пророчества сочиняются задним числом.

Асия, жена Александра Шумного, была дочерью от второго брака всесильного и грозного озеленителя Степноморска Байкина. Из столичного рая в районный ад он был сослан из-за любви, в результате которой и появилась Асия. В те годы любовь женатых начальников, разрушающая ячейку общества, считалась моральным преступлением. Но Степноморску повезло. При Байкине город расцвел, обогнав столицу по количеству лесонасаждений на душу населения.

По обычаю тех лет, с завершением карьеры люди его ранга получали квартиры в столице. Но жизнь персонального пенсионера вскоре наскучила ему. Оставив квартиру сыну, он вернулся на родину — в отдаленный аул — заведовать отделением совхоза. В скором времени степное селение, в котором не было ни одного деревца, стало зеленее не только Алма-Аты, но и самого Степноморска. Когда же пришли времена перемен, Байкин, имея большие связи, побрезговал участвовать в пире гиен — раздирании трупа страны, но упрямо продолжал, уже во враждебном капиталистическом окружении, строить коммунизм в отдельно взятом ауле Жана Жол. Странное название. В конце концов любая новая дорога становится старой...

Надо сказать, что старший Шумный не очень роднился со сватом, когда тот был в вожжах, но непреклонная верность Байкина старым идеалам сделала их друзьями.

— Иметь преимущества и не пользоваться преимуществами — вот это и есть порядочность, — математически точно сформулировал Шумный линию поведения Байкина, презирая себя за малодушие, которое заключалось в том, что он переехал из умирающего города в возмутительно роскошный дворец сына.

На что младший Шумный ответил не столь изящно, но откровенно:

— Таких твердолобых на Земле остались двое — ты да Байкин. Знаете, кого вы мне напоминаете? Осликов, которые всю жизнь вращали ворот. Их давно отпустили, а они все ходят по кругу.

— Осликов? — оскорбился Василий Васильевич.

— Ну, зайцев в свете фар, если тебя это больше устраивает.

В последний раз Байкин приезжал к ним год назад. На частном извозчике. Есим Байкенович сидел на переднем сиденье. Сзади разместилась семья бывших степноморцев, в летний отпуск ехавших навестить родные места. Муж с женой и двое детей. Малыши дремали на коленях родителей, а взрослые смотрели в окна на полузабытые пейзажи.

— Смотри, — говорила жена, — от ферм одни ребра остались... Столбы без проводов... Как здесь люди живут?

На обочинах возле редких остановок перед ведрами с грибами и картошкой сидели унылые старожилы.

Замечание о столбах без проводов задело молодого водителя.

— Время сейчас хороший, — возразил он, обращаясь больше к Байкину, и

объяснил, чем же оно хорошо: — Воровай да продавай, воровай да продавай. Никто тебя сажай не будет. Только не лентяйствуй. — Он помрачнел и сказал с сожалением: — Только северный казахи ленивый народ. Мало воровай делают. Сейчас воровай не будешь, завтра ишачить будешь, на тех, кто не лентяйствует. Вот немес из Степно-морска, фамилия Шуман, другой дело. Ему завтра на Германия уезжай, а он вечером дров продавай. Молодес-с-сволыш! — не смог он сдержать восхищения. В лобовое стекло ударились молодая ворона. — Третий, — после энергичной фразы и скрипа тормозов в сердцах сказал водитель. — Дурной птица — дурной привычка: нет на сторона летай, обязательно перед машина перелетай.

Всю дорогу Байкин сидел без движения и выражения на лице, молча смотрел на дорогу, и, лишь когда проезжали по плотине мимо тихо гудящей турбинами электростанции, грузно повернулся в угрюмом изумлении. Человек на лесах, стуча молотком по зубилу, сбивал с фасада станции мозаичное панно. Он уже сколол часть неба, головы двум первоцелинникам и подбирался к солнцу. Более неотложных дел, чем крушить мозаику, в умирающем городе, конечно, не было.

Можно было бы доехать до дома Шумных, но Байкин решил пройтись по знакомым местам. Дорога от автостанции до «Спасской башни» проходила через мертвый город. Вдоволь насмотревшись на пустые глазницы окон, на вырубленные аллеи, Есим Байкенович сел на березовый пенёк и долго массирует сердце. Поднял с земли табличку: «Ответственный за лесонасаждения А.П.Козлов». Кто такой А.П.Козлов? Деревьев нет, может быть, и самого человека нет, а табличка осталась. Скоро от того, что он делал, ничего не останется, даже развалин, а люди будут судить о его времени по этим табличкам. Самодур, скажут, был этот Байкин.

Старик поднял голову и увидел то, что можно увидеть лишь во сне: тень от срубленной березы на торце полуразрушенного здания. Синяя, потрескавшаяся от времени тень, пережившая дерево.

Если бы не эта прогулка, может быть, и не случилось ссоры с зятем, которого он уважал за хозяйственность. Хотя и полагал, что человека, преуспевающего во времена всеобщего обнищания, уже нельзя считать вполне порядочным человеком.

— Загубили город, Вася, — обнявшись со старшим Шумным, пожаловался Байкин.

Старики печально кивали головами. Младший Шумный смотрел на предков с покровительственной иронией. Ах, ах, какая беда: ящерице хвост оторвали. Бедная, бедная ящерица. Давайте пришьем хвост ящерице. А вслух утешил:

— Не переживайте, Есим Байкенович. Коробки и коробки. Что в них такого хорошего было?

Байкин посмотрел на него в недоумении тяжелым взглядом профессионального лидера и объяснил, что такого хорошего было в типовых коробках: люди.

— Да, разъехались кто куда, — согласился младший Шумный и тут же предложил решение проблемы: — Взорвать бы эти развалины и парк разбить.

— Бюджета области не хватит все вывезти, — хмуро возразил Байкин, — много мы всего в свое время понастроили.

— Пригласить американцев фильм про Чечню снимать, они за бесплатно все разнесут, — пошутил младший Шумный.

Шутка Байкину не понравилась.

Сели за стол в круглом зале под хрустальной люстрой, которая и для дворца культуры была бы великовата. Царственным взглядом Екатерины Второй смотрела с портрета Маргарита Генриховна, неделю назад уехавшая в Германию навестить родственников. От старшего Шумного скрывали, что уехала она не просто погостить, а готовить плацдарм. Но он о чем-то подозревал и был не в духе. Асия вкатила сервировочный столик, поблескивающий никелем и стеклом. Красная и черная икра светились изнутри. В каждой зернинке горела маленькая свеча. Горка маслин сверкала гигантской икрой. Пламенело жаркое из лисичек. Каждый грибок со шляпку гвоздя. Тонкими ломтиками нарезаны лимоны, карбонат, конина. Много чего еще было на этой вагонетке. Ну, и, конечно, запотевший графин. Байкин залюбовался дочерью. Дети, рожденные в любви, отличаются особой красотой. Огромные глаза. Зрачки во весь хрусталик. И такие ресницы, что моргнет — ветерок свечи гасит.

— Есим Байкенович, что ж вы не позвонили, я бы сам Вас привез. — На этом бы младшему Шумному и замолчать, но он не замолчал. Сказал в общем-то безобидную фразу: — Странно все-таки: у Байкина — и нет машины.

Посмотрел на него тесть отрешенно и совсем было пропустил реплику мимо ушей, да вдруг взорвался:

— Стыдно быть богатым, когда люди варят кашу из комбикорма.

— Стыдно быть нищим, — интуитивно отреагировал Александр, как боксер, уклонившийся от удара.

— Нищим?! — принял это на свой счет Байкин, побагровев. — Я построил этот город. Я построил эту плотину. Отсюда начинался самый протяженный на Земле водопровод. А что сделали вы? Развалины из моих домов? Пни из моих деревьев? Бурьян на моих полях? Дыру возле моей плотины? Ты на этой «нищете», как поганка на навозе вырос! Трупоеды! Только и умеете прошлое пожирать. Да еще и клянете его. Сегодня, чтобы стать богатым, достаточно перешагнуть через совесть. Некоторым, правда, повезло: им и перешагивать не через что. Ты думаешь — тебе завидуют? Тебя презирают. Твое богатство — как чирей. От грязи. Гниение плоти. Кому оно пользу принесло? Зачем тебе все это среди развалин?

— Для ваших внуков, — холодно ответил младший Шумный. — Вы-то не очень большое наследство оставили.

Старший Шумный при этих словах ударил кулаком по столу. На пол полетела чаша под хохлому с красной икрой.

— Молчать! — впервые за послевоенную жизнь затрубил он своим полковничьим басом. — Да, мы напрасно жили, потому что нашу жизнь обгадили такие, как ты. Изменники, предатели! По тебе штрафной батальон плачет, щенок!

Александр Шумный побледнел:

— Может быть, сразу к стенке? Это я изменник? Все в жизни меняется. Любое изменение — измена. Не я изменился. Сама жизнь изменилась. Только вы не изменились. Знаете почему? Потому что вы — мамонты.

Старики онемели.

— Пойдем, Есим, — тихо сказал отставной полковник. — Я, может быть, мамонт. Но почему у меня родился динозавр?

Они поднялись и вышли вон — два седых мамонта, которым пришло время вымирать.

В словах младшего Шумного была обидная правда. Любую измену можно оправдать прогрессом, исторической справедливостью, революцией и другими высокими мотивами. История вообще — череда измен. И в этом смысле большая измена ни в каких оправданиях не нуждается.

Больше Байкин к Шумным не приезжал. И не потому, что обиделся.

Просто умер.

Времена перемен омрачены всеобщим предательством. Но самое страшное предательство — измена человека самому себе. В такие времена не предать себя почти невозможно. Изменяется мир, и ты вместе с миром должен или измениться или умереть. Не обязательно физически. В такие времена остаться самим собой — подвиг. Или глупость.

Хоронить его приехало неожиданно много народа. На черных «мерседесах», обшарпанных автобусах, велосипедах. Многие добирались от грейдера пешком.

Чин из области с гладким от благополучия лицом, бывший подчиненный Байкина, сказал:

— Этот человек не верил в Бога, но он хотел построить рай на Земле. Многие его считали тираном, многим от него доставалось. Он и не догадывался, сколько людей любили его — мусульмане и христиане, католики и атеисты. Он не верил в Бога, но Бог простит его за это. Бог судит человека по делам. Иначе какой же он Бог. Для таких, как он, Бог найдет место в своем небесном коммунизме.

Где еще говорить красивые слова, как не на кладбище. Где еще искать справедливости, как не на том свете?

Старший Шумный стоял каменной глыбой, и по лицу его невозможно было прочесть, о чем он думает. Младший Шумный плакал. Он тоже произнес несколько

прощальных слов. Называл Байкина отцом, говорил, как многим ему обязан, и обещал поставить на могиле мраморное надгробье. Хотя, говорят, гранитное долговечнее.

Построить коммунизм в отдельно взятом ауле Байкину так и не удалось.

По карнизу сарая на задних лапках шла крыса. В передних она несла ослепительно белое яичко. Старший Мамонтов, музицирующий под старой березой, накрыл струны гитары рукой.

— Антон, — позвал он ровным голосом, боясь спугнуть крысу, — неси камеру.

Послышался топот босых ног по полу, и в дверях появился заспанный Антон с видеокамерой наизготовку. Виктор Николаевич прижал палец к губам и глазами указал на крысу. Антон резко нагнулся в поисках тяжелого предмета.

— Снимай, — одним тоном осудил его поведение отец.

Через минуту-другую Антон, захлебываясь от восторга, уже рассказывал женщинам, пропалывавшим картошку:

— Представляешь, ма, идет на задних лапках, а в передних яичко несет.

— Ах ты, зараза такая, — разволновалась баба Надя, — опять на чердак повадилась, — и спросила с надеждой: — Вы ее прибили?

— Да ты что, ба! Убить такую гениальную крысу? Может быть, она на всю планету одна такая, как Эйнштейн.

По штакетниковой ограде, как балерина на пуантах, прошел кот.

— А ты куда, дармоед, смотрел? — напустилась на него баба Надя.

— Заелся, — ответила за него Света, — он теперь карасей без сметаны не ест.

Медленно занималась скука летнего дня, которая потом в убитых холодом полях будет вспоминаться раем. Первоочередная задача — подготовить бабу Надю к очередной зимовке. Подремонтировать дом. Привести в порядок погреб, баню. Запастись сеном и комбикормом для живности. Из всех домашних хлопот Антону меньше всего нравилось пилить дрова. Нудное занятие. Совсем другое дело — раскалывать толстенные чурбаны. К этому делу он никого не подпускал.

— Отдохни. Дай мне, — говорил Мамонтов-старший, которому тоже не терпелось пощелкать дрова, как семечки. Но Антон прятал за спину колун с приваренной железной трубой вместо топорика:

— Погоди. Сейчас еще одну расколю.

Однако слова своего не держал. Расколет пять чурок, подтянется раз двадцать на турнике, зажимая ногами колун, якобы для отягощения, и — снова за чурбаны.

Любимым занятием Бимки было смотреть, как Антон колет дрова. Лежит на земле, высунув язык, и башкой кивает вверх — вниз, вверх — вниз, сопровождая настороженным взглядом клюющий дрова колун. Голова огромная, волчья. Грива белая, как у шотландской овчарки. А огненные уши от сеттера. Туловище таксы, но покрыто медвежьей шерстью. Спина черная, брюхо белое. Кривые лохматые ножки напоминают галифе лилипута. Рыжий лисий хвост не вмещается в будку. Красавец. Очень не любит Бимка деревянный гребень, которым баба Надя вычесывает его. Не раз похищал и закапывал в землю. Но носки получались замечательные: теплые, трехцветные. Бимкина шерсть грела Мамонтовых в лютые полярные морозы.

С особым азартом Антон принимался за сырые кряжи, с плотной, туго переплетенной волокнами древесиной. Чурбан не поддавался, Антон приходил в ярость. С остервенением раз за разом опускал он на упрямый кряж тяжелый колун и при этом рычал и обзывал его скотиной.

— Сдавайся, — подзадоривал отец, чем вызывал еще большее рвение.

— Да брось ты этот пень, все жилы порвешь, — уговаривала баба Надя. — Выпей лучше молочка.

От молочка он не отказывался. Выпивал литровую банку, но при этом зажимал металлическое топориче между колен, чтобы отец не увел его. В конце концов он сдался и пошел в сарай за клином. Бимка сорвался с места и, злобно лая, набросился на чурбан. Он носился вокруг него, поднимая пыль, и даже время от времени злобно кусал. Баба Надя хохотала, прикрыв рукой беззубый рот, а старший Мамонтов одобрял Бимкино поведение и наускивал.

Во двор вошел Пушкин.

— Чего это он растявкался?

— Весь день всей семьей один чурбан расколоть не можем, — объяснил старший Мамонтов, — уже и Бимка подключился. Подхалим. Все правильно: враг моего хозяина — мой враг. Ночную смену отрабатывает. Днем, когда все дома, никому прохода не дает. А ночью забьется в конуру и не твякнет. Выноси что хочешь. Жизнь дороже.

— Ты что, Саня, имидж сменил? — спросил Антон.

— Я не имидж сменил. Я штаны сменил, — степенно ответил Пушкин. — Их еще папка, когда за мамкой ухаживал, носил. Сегодня у них совершеннолетие. Вот я и вывел их в свет. Показать, какие штаны нынче носят.

Хилый Пушкин поднял с земли колун, тюкнул по чурбану — и тот развалился сразу на четыре части.

— На Козловском карась пошел, — сообщил долгожданную весть Пушкин.

— Рыбалка подождет. Надо печь переложить, — сказал Виктор Николаевич.

— Зачем перекаладывать? — возразил, в смущении разглядывая расколотый чурбан, Антон. — Отец Пушкина железную печь сварит. Сгоняешь, Саня?

— А он что, уже не пьет? — спросила осторожная баба Надя.

— Завязал, — уверенно сказал Пушкин, — мамка с ним психотерапию провела.

— Какую психотерапию? — спросила доверчивая баба Надя.

— А у ней одна терапия — прямой слева и хук справа.

Отец Пушкина приехал тотчас же с угрюмым напарником Гошей. Гоша был лыс, безбров и печален. Лысина и часть лица, прилегающая к ней, носили явные следы недавних ожогов.

— Да так, пустяки, — сказал он, стесняясь, — баллон взорвался, когда у Юндиных сварку делали.

Мастера осмотрели место работы, выгрузили с громом и чертыханием из «пирожковоза» заранее сваренную печь, автоклав, густо воняющий карбидом, наковальню, молот, разводные ключи, и дядя Сережа отозвал Виктора Николаевича в сторону. Проникновенно заглянул в глаза и попросил аванс.

— Да проблем нет, — замялся, смутившись, Мамонтов, — только я бы советовал на трезвую голову работать.

— А Гоша на трезвую работать не умеет. Юндины пожадничали — и на тебе. Как только дом цел остался. У Гоши на трезвую голову шов получается неровный.

Действительно, похмеленный Гоша заметно повеселел, засвистал соловьем. Правда, слуха у него не было. Но слух от него и не требовался. А сварщик он, по всему виду, классный. Дядя Сережа был при нем менеджером. Обязанности его заключались в том, чтобы найти клиента и путаться под ногами у Гоши.

Не считая мелкой неприятности — опять едва не взорвался автоклав, но Гоша, проявив чудеса героизма и отделавшись легким сотрясением мозга и парой ссадин, не дал совершиться трагедии — все прошло гладко и довольно быстро. Мужики опробовали печь, и дядя Сережа похвалил работу. Получив деньги, предприниматели погрузили инструмент в «пирожковоз» и быстро уехали в веселом настроении.

Вечером на велосипеде со спицами, оплетенными цветной проволокой, приехал Пушкин и спросил, давно ли уехал от Мамонтовых отец. Узнав, что прошло пять часов, Пушкин растревожился за судьбу родителя: «Ну, все, — сказал он в крайнем смятении, — мамка его убьет».

— Надо было деньги Вале отдать, — сказала мудрая задним числом баба Надя.

— Ну вот, еще чего, — невнятно возразил Виктор Николаевич.

Антон вывел с веранды свой велосипед, и они поехали вместе с другом Пушкиным искать потерявшийся «пирожковоз». Вернулся он за полночь и, неприлично веселясь, поведал печальную повесть о приключениях дяди Сережи и Гоши.

— Там у них в кузове разного железа навалом лежало. Весь фургон — как иголки у ежа. Короче, «пирожковоз» восстановлению не подлежит.

— Сами-то живы остались? — всплеснула руками баба Надя, выслушав рассказ о жуткой аварии.

— У Гоши две шишки на лбу, а у старшего Пушкина даже шишки не было. Пока тетя Валя с ним не поговорила. Теперь у него больше шишек, чем у Гоши.

— Вот обормоты! — расстроилась баба Надя. — Это надо же — за пять часов пропить пятнадцать тысяч тенге.

— Это если разбитую машину не считать, — вставил Антон.

Камешек отскочил от лысой шины, наполовину затянутой песком, и булькнул у поплавок из гусяного перышка. Козлов обернулся. На краю обрывистого берега в инвалидной коляске сидел Костя Шумный и, перегнувшись, смотрел вниз. Чуть-чуть сместится центр тяжести — и полетит Костя вслед за камешком. Ветер трепал белые волосы. Белое облако за его спиной снежным пиком врезалось в синеву летнего неба.

— Извините, — сказал Костя, — я нечаянно.

Страх усыпляющим газом парализовал большое тело Козлова. Язык не повиновался ему. Боль от тупой и холодной спицы, проткнувшей сердце, не проходила. Он поднялся и пошел вверх по тропинке, дыша, как альпинист в зоне смерти. Ноги плохо слушались. Козлов вскарабкался на кручу и некоторое время стоял с закрытыми глазами, когда же открыл их — белое, пухлое облако стало черным. Из набухшей кровью черноты по склону сопки катилась инвалидная коляска с седым мальчишкой в ослепительно белой рубашке. Козлов побежал навстречу. Он поймал коляску и долго стоял, тяжело дыша, нависнув лохматой громадой над хрупким существом.

— Вам плохо? — испугался Костя.

Козлов трясущимися руками достал из кармана помятую пачку «Примы».

— Ты что же, один приехал? — выпустил он дым в сторону снова побелевшего облака.

— Я уже не маленький, — ответил Костя с обидой.

— Хочешь порыбачить? Ты уже ловил рыбу?

Костя кивнул головой. Он не стал уточнять, что рыбу ловил в своем саду. На рыбалку дед Вася ходил с десятилитровым ведром и выливал улов вместе с речной водой в маленькое Костино озеро. Со дна из шланга поднимались серебряные пузырьки воздуха, и была видна каждая рыбка. Но разве сравнишь бассейн в саду с рекой? Там не было шелеста камыша, крика чаек, отражения сопки на другом берегу и волнующего запаха тины.

Удилище для него было слишком тяжелым. Козлов вырезал в тальнике длинную рогатину-подпорку и воткнул в песок перед инвалидной коляской.

Козлов проверил донку. Закатав штанины и рукава рубахи, вошел в воду и, пошарив по дну, достал ракушку. Вскрыл складным ножом створки и вырвал упругую живую плоть. Насадил и, раскрутив свинцовое грузило над головой, забросил. Грузило летело долго, вытягивая за собой кольца лески, и, едва не вырвав из земли колышек, упало на середине реки.

— А ракушек едят? — спросил Костя.

— Не пробовал, — ответил Козлов, вставляя леску в расщеп зеленой талинки, воткнутой в песок. — Надо попробовать.

Он скатал шарик из глины и нацепил его на леску, отнесенную течением в сторону. Сел на автомобильную шину. Тупая боль без следа растворилась в груди. Хорошо и печально было на реке и в душе. Напрягая силенки, мальчишка в инвалидной коляске выуживал плотвичку. Перехватил леску с трепыхающимся серебром, но не удержал удилище. Отцепил крючок. Некоторое время разглядывал плотвичку, а, налюбовавшись, бросил ее в воду, забыв на секунду, что рыбачит не в своем бассейне.

— Извините, — сказал он, покраснев.

— Я тоже маленьких отпускаю, — утешил его Козлов, поднимая оброненное в пылу отчаянной борьбы удилище.

Закинуть удочку для Кости было проблемой, но Козлов не помогал ему, боясь оскорбить участием. Смущаясь собственной неловкости, Костя после каждого неудачного заброса косился на него, но Козлов, подперев подбородок кулаком, сосре-

дотоchenно рассматривал леску донки, провисшую под тяжестью комка глины. Отвлёкся он от этого занятия лишь для того, чтобы нанизать на кукан рыбешку.

— Пора по домам. До вечера клева не будет. Поехали?

Покидать реку Косте не хотелось, но он был воспитанным человеком. А воспитанный человек умеет смирять желания.

— Я ещё ни разу не был в мертвом городе, — сообщил печальный факт из своей биографии Костя, впрочем, ни на что не намекая. — Вас как зовут?

— Дядя Паша.

— А меня — Костя.

— Знаю. Мы с твоим отцом город строили.

— А зачем?

— Не понял.

— Зачем вы строили мертвый город?

Для Кости загадочный, ни разу не виданный им город всегда был мертвым.

— Никто не строит мертвые города. Так получилось.

Они въехали в пестрый сумрак дикого парка. На ржавом колесе обозрения сидела ворона и с подозрением косилась на них. Из молодого подлеска торчала изогнутая бетонная стела, выкрашенная бронзовой краской, успевшей растрескаться и облущиться. То ли десятиметровый пропеллер, вонзившийся в землю, то ли абстрактный миг последнего движения человека, пронзенного пулей.

Ворона перелетела с колеса обозрения на обелиск и разглядывала Костю попеременно то правым, то левым глазом, пока коляска не скрылась в воротах стадиона.

Левые трибуны обуглены давним пожаром. С правых содраны доски. В пустых окошках табло корчат рожи мальчишка и девчонка. В центральном круге пасется корова, привязанная на длинной веревке к колышку. Коза стоит в штрафной площадке без ворот, срубленных на хозяйственные нужды, и тревожно блеет. Беспокоится за козлят, прыгающих по остаткам трибун.

Пересекли поле от углового до углового. Открылись развалины.

Мертвый город Косте понравился.

— Смотрите, смотрите, дядя Паша, — в восторге кричал он, — деревья на крышах растут! А почему город мертвым называется?

— Люди в нем не живут, — хмуро отвечал Козлов, не разделяя его восторгов.

— Слышите — музыка. Фортепиано.

Козлов остановился, прислушавшись. Над полынным полем, над сонными, знойными развалинами рассыпались солнечные, жизнерадостные звуки.

— Чайковский. «Времена года». «Песнь косаря», — сказал Костя.

С удивлением посмотрел Козлов на мальчишку. Козлов был равнодушен к классической музыке. Во времена, когда по радио часто транслировали мелодии из концертных залов, он не вычленил эти звуки из общего потока шумов, сопровождающих жизнь: шелеста дождя, шипенья газовой плиты, гула машин за окном, ссоры соседей за стеной. Но сейчас, в обеззвученных руинах мертвого города, эта едва слышная робкая россыпь застала его врасплох и странно волновала. Казалось, что звуки рождались в его душе, что он сам был автором этих мелодий. Стоило Косте сказать: «Охота» или: «Осенняя песнь», и настроение осеннего леса, пустого поля нежной болью сжимало сердце. Только что он кусал губы, прислушиваясь к октябрьскому шелесту безысходных дождей, пытаясь сдержать слезы, и вот уже полный надежды летит по заснеженному лесу на тройке к дому, где его ждут родные люди, и березы мелькают мимо.

Дослушать «Времена года» им не дали. Черный джип прошуршал сквозь заросли полыни, хлопнула дверца, и женщина закричала:

— Саша, не надо!

Козлов оглянулся. Рядом стоит Александр Шумный. Лицо искажено яростью. В руках у него саперная лопатка.

— Я тебе, скотина, башку сейчас раскрою! — кричит он, замахиваясь лопаткой.

— Папка! — это Костя.

Шумный бросает саперную лопатку на землю. Отшвыривает с колен Кости пакет. Из пакета вываливаются рыбешки. Окуньки ещё живы и прыгают в пыли.

Удилище летит в полынь. Женщина подхватывает плачущего Костю на руки и несет к машине, что-то шепчет ему на ухо, успокаивая.

— С тобой мы еще поговорим, — обещает Шумный и уносит инвалидную коляску в машину. Хлопают дверцы. Джип, яростно разбрасывая из-под задних колес комья земли, разворачивается.

В мертвом городе тихо звучит двенадцатая пьеса из цикла «Времена года». Козлов никогда не узнает, что называется она «Святки». Он не слышит музыки. Стоит и смотрит вслед машине.

Джип возвращается. Шумный подбирает рыбу, складывает в пакет. Поднимает удилище.

— Извини, — говорит он, протягивая пакет и удилище.

— Рыбу Костя наловил, — отвечает Козлов и берет удилище. — Лопату не забудь.

Большой, лохматый, сутулый, он уходит прочь. Шумный поднимает саперную лопатку, швыряет пакет в заросли полыни. Некоторое время смотрит вслед Козлову. Догоняет его.

— Вот возьми, — протягивает он деньги.

Козлов, не останавливаясь, смотрит на деньги, на Шумного.

— Знаешь, кто самый богатый человек на свете? — спрашивает он и сам же отвечает: — Тот, у кого ничего нет и кому ничего не надо.

— Извини, — говорит Шумный.

— Проехали. Забудь.

В глухом ущелье брошенных домов мертвого города в луже плавали три диких утки. Они не боялись одинокого человека, принимая его за безобидное существо вроде коровы. Козлов долго смотрел на беззаботных птиц. Вот так подойдет осенью мужик с ружьем и бабахнет в упор. Он поднял камень и швырнул в лужу. Пусть знают, что такое человек на самом деле. Пока не поздно. Тревожно крикая, шурша и посвистывая крыльями, утки стремительно пронзили косую тень в проеме домов.

Гремя велосипедом, запыхавшийся Руслан вломился в квартиру и весело заорал:

— Батя, спорим, ты такого язя еще не видел! — Он подошел к столу и высыпал из старенького рюкзака рыбу вместе с травой. — Посмотри, какой натюрморт!

Из травы серебрился бок язя, выглядывали два золотистых леща, белое брюхо щуки, иглы спинных плавников и ярко-красные хвосты окуней.

Три дня вместе с Мамонтовыми, Индейцем и Пушкиным жил Руслан на Тальниковом острове в устье Бурли. Обрывистые, каменистые сопки стояли на краю земли. За ними открывался простор, в котором не было ничего, кроме голубой пустоты: воды Степного моря сливались с небом. До восхода и перед закатом они выплывали к вешкам на прикормленные места. Самую крупную рыбу присаливали. Остальную поджаривали на костре. В солнцепек играли в водный волейбол. От острова в водохранилище выдавалась длинная песчаная коса. На отмели на двух жердях Мамонтовы повесили дырявую рыбацкую сеть. Ничего азартнее Руслану не доводилось испытывать. Кроме водного футбола, конечно. Плеск, брызги, крики чаек и игроков, сочные удары, то и дело приходилось падать в воду, доставая мертвые мячи. Мир звенел и вертелся пестрым колесом. Наигравшись, они устраивали гонки вокруг острова на резиновых лодках и, вконец обессилив, падали в раскаленный песок, впитывая в прокопченные тела солнечный витамин D. Но самым большим развлечением было наблюдать, как подкрадывался к стае диких уток с кленовым бумерангом в зубах Индеец, безуспешно пытаясь добыть на ужин селезня. Райскую, первобытную жизнь туземцев омрачали лишь оводы да комары. Солнце, ветер, тишина, перемежающаяся прибоем и шорохом камыша, сделали Руслана частью этой знойной благодати. Прокаленный летом, он погружался в таинственную прохладу глубины, переплывал протоку и карабкался на сопку. Он снова был захлебывающимся от беспричинного восторга ребенком, живущим по законам бессмертия. Закон этот — едва переносимое счастье существа, узнавшего, что смерти нет, наслаждение простыми вещами — зноем, ветром, шелестом трав и чистой кровью, стучащей в висках. Он не верит в

смерть, он смеется над смертью. Острый клык обожженной солнцем скалы, способный выпотрошить его, как язя, проносится мимо в нескольких сантиметрах от живота. С шумом, пеной, как в шампанское, погружается он в булькающие, ухающие сумрачно-зеленые воды. Они смыкаются над ним воротами космоса. И тело его шипит, охлаждаясь. Он выходит на берег, выжимает плавки и, подняв их на древко, как флаг, идет по дикому, невероятно дикому, безлюдному месту, не чувствуя своей наготы, как любое дикое существо.

Козлов, по обыкновению лежащий на полу с книгой, не разделил восторгов Руслана. Он даже не поднялся, чтобы посмотреть улов.

— Ты не заболел? — слегка обиделся Руслан, но, увидев на лопатах свежую глину, спросил: — Кого хоронил?

Козлов поднялся, закурил, подошел к окну и только тогда ответил:

— Гофер умер.

— Как умер? — вскричал Руслан, не поверив в самую возможность смерти в такие счастливые, замечательные дни.

— Вот, на память взял, — не отрывая взгляд от окна, Козлов ткнул дымящейся сигаретой в угол, где в самодельной рамке стояла у стены картина. Одинокая береза под радугой. Мир после дождя за минуту до появления солнца. — На такой же березе и повесился.

Радуга, завет вечный между Богом и всякой душой земною, отчего же ты не появилась вовремя над отчаявшимся художником, странным человеком с глазами сумеречного существа?

— Дочь он очень любил, — сказал Козлов.

— А что с ней случилось?

— С ней? Ничего особенного. В институт не поступила. Домой возвращаться не захотела. Написала, что поступила. Зарабатывала на жизнь проституцией. Говорят, он ее по телевизору увидел.

Руслан подошел к окну. Они смотрели на одно и то же, но каждый видел свое. Руслан видел то, что есть на самом деле: развалины захолустного городка. Любопытный клен просунул ветвь, сотрясаемую воробьями, в пустую глазницу окна. Для Козлова в этих руинах была вся жизнь. Часть самого себя. Это были его дома. В черных проемах, как на картинах Гофера, все еще продолжали жить призрачные души умерших и навсегда уехавших людей. Он помнил их лица и голоса, их детей, собак и кошек, веселые и печальные события. Ему казалось, что этим пустым коробкам еще только предстоят отделочные работы, а молодые, веселые новоселы в нетерпении ждут акта приемной комиссии, предвкушая шумное вселение.

Они долго молчали, забыв про рыбу, лежавшую на столе.

Руслан подошел к картине, взял в руки. На обороте холста рукой покойного художника была сделана дарственная надпись: «Райским жителям. Жизнь — прекрасная катастрофа!»

Старый каменный пляж защищен от северных ветров растрескавшейся стеной плотины. Шумит пережат. Прокаленные солнцем, утонувшие в густой траве, замшевые валуны давно не делились своим теплом с купальщиками. Лишь стаи гусей плавают между каменными островами. Тревожно гогоча, старая гусыня выплывает на берег и, прикрыв выводок серыми крыльями, смотрит на небо. Что она там увидела? Старую газету, занесенную в заоблачные выси внезапным смерчем.

Светлана сидит в каменном кресле. В том самом, где зимой с пистолетом в левой руке сидел Руслан. Она смотрит на «божью коровку», ползущую по ее руке. На спинке кресла возлежит Индеец. На шее его — шнур. На шнуре нанизаны пять «куриных богов». Бедный Саша Пышкин выискивает на пережатке самые красивые гальки, втайне просверливает в них дырки и незаметно подбрасывает Свете, чтобы сделать ее счастливой. Но эти дырявые камешки всегда находит Индеец. Он парнишка не жадный и готов поделиться своим везеньем, но «куриного бога» дарить нельзя. Хочешь не хочешь, а вся удача — твоя. Саша сидит в ногах у Светы и думает, куда бы скрытно подложить очередной камешек, чтобы на этот раз его непременно первой увидела она. Разве что в босоножку?

Глазами мертвого человека с завистью смотрит на игры детей Руслан. Они в том возрасте, когда разница в два-три года кажется непреодолимой пропастью. Его безвольная плоть врастает в зернистый камень. Он в той странной и страшной нейтральной полосе между границами сна и яви, когда человек с опасной непринужденностью может управлять и сном и реальностью. В этом состоянии человека посещают великая музыка, гениальные открытия и прозрения, способные изменить судьбу мира. Глаза его нарисовал художник Гофер. Он видит все. Он знает все. Даже то, что думает «божья коровка», ползущая по руке Светланы. Ни к кому, даже к этой девочке, вылепленной из первого снега, нельзя подходить слишком близко, потому что ты увидишь то, чего тебе не хочется видеть — самого себя. На свете лишь одно существо, странным образом раздробившееся на миллиарды копий. И ни в одной из этих копий нет тайны. Человек умудряется наполнить миг своего дробного существования невыносимыми страданиями только потому, что полагает, будто живет отдельно от единого, общего существа. Он — «божья коровка», и сейчас раскроет панцирь, расправит мятые крылышки и улетит.

Погрузившись в лето, как в безмятежный сон, спит на своем камне Антон.

Каникулы. Время свободы. От зимы, весны и осени прячешься под одежды. И только перед летом раскрываешься. Жадно впитываешь его горячее дыхание, растворяешься в нем без остатка. Станным образом теряешь тело, и в тебе остается только чистое движение. Ничего, кроме шумного, пахнущего летом вихря. Температура твоей крови приходит в гармонию с температурой ветра. Ты просто знойный ветер над прохладным перекатом, прохладный ветер в душной пестроте леса. Ты просто уснувший ветер, растревоженный на высоте облаков крыльями белых голубей.

Сквозь горечь полыни пробивается печальный, как предчувствие, запах богородской травы: все, все, что еще не случилось, пройдет. Кроме забвения.

Света смотрит на воду, искрящуюся солнечными бликами, как когда-то очень давно, пять долгих лет тому назад.

...Был апрель. На середине моря еще плавали льдины. Перекрытая плотиной река раздулась синим удавом, проглотившим большое село. Заброшенная дорога ныряла в водохранилище. Хотелось сбегать по ней, как со скучного урока, из пахнущего снегом и сырой землей мира в подводную деревню. Спрятаться от всех.

Журавлиные крики холодили ее разбитое сердце. Ветер ерошил бурные травы, сквозь вылинявшую кошму которых пробивались белесые веснушки подснежников. Отсюда было видно далеко-далеко окрест, всю сиротскую округлость земного шара сразу — степное море, березовые колки, плотину и белый город под темным небом.

Маленькая белая туча заблудилась над большой планетой. Она давно ищет ее — маленькую девочку из маленького города, чтобы под доброе ворчанье грома пролиться над ней волшебным дождем. И случится чудо: рыжие, жесткие волосы станут мягкими, золотистыми, она выйдет из дождя высокой, красивой. Может быть, она уже рядом, на том берегу, над Бабаевым бором. Кончиком пальца девочка очертила профиль лица, представляя, какими будут у нее брови, губы, шея. Не выдержав искушения, раскрыла портфель и достала круглое зеркальце. Рыжая, ржавая! Мальчишеский высокий лоб, обиженные на весь свет зеленые глаза исподлобья. Как несправедливо, что она родилась некрасивой! Ни у кого бы не ubyло, если бы на свете одним красивым человеком было больше.

Рассердилась Света на зеркальце и выбросила вон. На секунду замерло оно в невесомости между небом и водой. Ей стало жаль ни в чем не виноватое стеклышко. Но было поздно. Невесомая секунда оборвалась, и зеркальце стремительно, ребром падало вниз. В последний раз сверкнуло зайчиком и без брызг врезалось в море.

Медленно опускается зеркальце на дно, а в нем — ее отражение.

Глупая туча не нашла ее. Она пролила волшебный дождь в степное море. И нужно быстрее окунуться в него, чтобы на ее долю досталось несколько дождинок.

Грустно шумела плотина.

Придерживаясь за обнажившиеся корни березы, Света спустилась к каменной плите, полого уходящей в море. Она скинула сапожки. Камень хранил в себе холод недавно растаявшего снега. Озноб прошел по позвоночнику.

Степное, студеное море тихо ждало девочку. Тяжелая вода, в которой все еще было что-то ото льда, обожгла и звонко сомкнулась над ней...

— Смотри, что я нашел, — вынырнувший из сумрака воды Руслан протянул ей ладонь, на которой лежал круглый камень, покрытый тиной.

— Что ты нашел? «Куриного бога»?

Это было зеркальце. Из подводного сумрака на нее смотрела зеленоглазая девушка с длинной шеей. Правда, рыжая, но Свете она нравилась и такой.

Сутулый Индеец возник за ее спиной, как приведение.

— Свет, а ты почему не купаешься? Пойдем море раскачивать.

— Не хочу.

— Идем. Вода теплая.

— Не хочу.

— Потом жалеть будешь. Скажешь: зачем я тогда не искупалась? В Полярске не искупаешься.

— А бассейн?

— Да в нем больше хлорки, чем воды. Пойдем, искупаемся.

«И что пристал к человеку? — подумал Руслан. — Он, наверное, и не догадывается, что женщины устроены немного по-другому». И почувствовав себя лишним, поплыл к Антону и Пушкину помогать раскачивать море.

Слепой гром сотрясает безоблачную скуку неба и каменный пляж. В урочный час из кратера Медвежьей сопки поднимаются клубы дыма. За взрывом не слышно глухого хруста внутри плотины, но трещина становится на несколько миллиметров глубже. Края ее, покрытые зелеными водорослями, чуть сильнее сочатся влагой.

Нет мира уютнее, чем тот, что создает костер в ночи. Этот мир окружен непроглядными стенами из темноты и накрыт звездным небом. В нем есть все, что необходимо человеку: тепло от огня, вечность и долгая беседа.

Между двух палаток стояли, прижавшись к стволу осины, вершина которой растворялась в ночи, велосипеды, посверкивая рулями и спицами. То появлялись, то снова исчезали в черноте камыши и кусты черемухи. Изредка свет костра выхватывал бесшумный полет совы.

— С первого заброса зацепил корягу, — рассказывал Пушкин, помогая себе телодвижениями. — Кручу катушку — с натугой идет, но ровно. Подтаскиваю к берегу, хватаюсь за леску. Коряга как рванет! Блин! Чуть палец не отрезало. Как полное ведро в колодец сорвалось. Хватаю спиннинг, думаю: все, слабину дал, ушла. Леска так кольцами на земле и лежит. Наматываю — как дернет! — и ручкой по костяшкам до крови. Ну, коряга! Час с этой корягой мучился. К берегу подтаскиваю, встала она на хвост, пасть раскрыла и давай головой трясти. Крокодил!

— Вот я крокодила видел, твой крокодил рядом с ним — щурогайка, — перебивает его Антон. В выпученных глазах — ликующий ужас: — Плыву вдоль камыша. Вода коричневая, видимость — метра два. Чувствую: кто-то на меня смотрит. Неприятно так. Гляжу — прямо подо мной донная щука. Бревно бревном. Руками не обхватишь. Морда больше ведра — черная, плоская, хвост в сумраке теряется. Лежит на дне и снизу вверх пристально так за мной наблюдает. Бли-и-и-ин! Я чуть не захлебнулся...

— И что ты не стрелял в своего крокодила? — спросил Руслан.

— Я и про ружье забыл. Неожиданно так из ниоткуда появилась и растворилась в темноте. Один хвост на границе видимости мерцает. Медленно так. Да я бы ее догнал, но она к лодкам поплыла. На меня как заорали все: кончай рыбу пугать.

— Что-то плохо сегодня на червя бралось, — сказал Козлов, обдувая себя сигаретным дымом.

— Ничего, с вечера прикормили, утром должно клевать, — утешил его старший Мамонтов. — Ну что, Саша, неси свою корягу, мы ее сейчас на решетке поджарим.

— Блин, жалко фотоаппарата нет. Станешь рассказывать, скажут — не заливай, — печально пожаловался Пушкин, растворяясь в темноте.

Тишину нарушил долгий нарастающий треск, стон и глухой удар о землю. Затихли голоса ночных птиц. Все обернулись на шум, напряженно всматриваясь в темноту.

— Что это было? — спросил Руслан.

— Старое дерево упало, — предположил Козлов.

— С чего бы оно упало? Ветра нет, — не поверил Антон.

— Должно быть, ствол подгнил. Время пришло — вот оно и упало.

— Без причины?

— Может быть, комар на ветку сел. Они сегодня тяжелые от нашей крови. Может быть, зверь почесался о ствол.

— Да здесь крупнее ондатры зверя нет, — сомневался Антон.

— Может быть, корова заблудилась, может быть, лось из тайги забрел, может быть, мамонт. Все может быть, — сказал Козлов, подбрасывая в огонь сухие ветки.

Из темноты вышел встревоженный Пушкин, волоча щуку на кукане, как пса на поводке. Она была жива и оказывала яростное сопротивление.

— Все мамонты здесь, — сказал он мрачно. — Помните, я вам про снежного человека рассказывал, а вы мне не верили.

Снова затрещало.

— Сюда идет, — прошептал Пушкин голосом, полным зловещих предчувствий.

Все молчали в ожидании.

Из мрака проявился рыжий, усыпанный белыми пятнами пес с ушами, обвисшими под тяжестью репейника, и сказал фамильярно, слегка картавя:

— Здорово, рыбаки!

И пока сидящие, лежащие и стоящие у костра думали, как достойно ответить на это хамоватое приветствие незнакомого пса, из ночной тьмы материализовался гений удилищной ловли, легендарный Чугун — невысокий, широкоплечий человек на хроменьких ножках, с лицом Сократа. Огромный выпуклый лоб, маленькие печальные, стекшие к скулам глазки, крошечный носик и массивная челюсть. Рот подковой. Концами вниз. Как и большинство гениев, Чугунов был несчастен в браке. Супруга, желчная женщина гренадерского роста, считала его лентяем и никчемным человеком. «Уработался? Устал кислую морду на тоненьких ножках носить?» — заботливо интересовалась она, когда супруг отлынивал от домашних хлопот. Ничего серьезнее рыбалки в этой жизни для него не было. Человечество Чугун делил на рыбаков и нерыбаков. И если кому-то хотел выразить крайнюю степень презрения, то говорил в гневе: «Да ты не рыбак!». Суровее приговора и чудовищнее оскорбления он не знал.

— Это ты, кум, деревья валишь? — приветствовал ночного гостя Козлов.

— И не говори. Шастает кто-то по ночам в тугаях. Мухомор скулит, в шалаш лезет, спать мешает. Вот к вам привел. Ну и кострище разожгли. С Луны видно. Смотрю: что такое? Сухая осина так и светится. Думал — пожар.

Мухомор, с заискивающим дружелюбием размахивая хвостом, обнюхал всех по очереди, отскочил, ворча, от трепыхнувшейся щуки и, удовлетворенно вздохнув, лег у ног хозяина. Положил голову на передние лапы и уставился желтыми печальными глазами в костер. В человеческой стае ночь была не так страшна.

Чугунов аккуратно приставил к стволу осины чехол с телескопическими удилищами, рюкзак и, вытащив из нагрудного кармана штормовки полотенце, вытер им лицо и шею. От прочих местных рыбаков он отличался невероятной чистоплотностью. Во время ловли это полотенце всегда висело на его шее белым шарфом. Насадит на крючок червя, обмакнет его в пузырек с секретной жидкостью, забросит снасть и непременно, сполоснув в воде руки, оботрет их насухо.

— Сетешки на Крестовой сторожишь? — спросил Козлов.

Оставленные без присмотра сети в этих краях считались законной добычей.

— Сетешки? — обиделся тот, презрительно оттопырив нижнюю губу. — Сроду сетей не ставил. Я и на удочку наловлю сколько донести смогу.

Это была правда. Чугунов презирал сети. А рыбу он ловил даже тогда, когда у других не клевало. Талант. Однажды на реке за своим огородом чуть не утонул, перегрузив резиновую лодку язями. Так и несли с тестем улов в лодке, как гроб, вверх по переулку, отдыхая через каждые десять метров.

— Смотрите, что эта коряга заглотила! — в восторге вскричал Пушкин, извлекая из вспоротого складным ножом брюха еще одну щуку. Выпороток немногим уступал размерами пообедавшей им хищнице. Проглотила она его, видимо, совсем недавно:

тело еще было свежим. И лишь от хвоста до середины чешуя была переварена, а туловище приобрело пепельно-голубой цвет.

— Повезло тебе, Саня: за один заброс сразу две щуки поймал.

Все, включая Мухомора, обступили Пушкина, и лишь Чугунов остался невозмутимым. На каждую историю у него находилась своя. Но рыба в ней была чуточку больше.

— Это что, — сказал он степенно, — вот я в прошлом году щуку на блесну из серебряной ложки поймал, так это была щука. Втащил ее в лодку, смотрю — из пасти хвост торчит. Я еще подумал, чего это она сдуру на железку с полным брюхом кинулась? Дома на безмене взвесил — пуд без ста граммов. Вспорол брюхо — щука. Целая еще. Взвесил — пять килограммов. Дай, думаю, ради интереса посмотрю, что у этой в брюхе. Вскрываю — щука...

— Стоп! — сказал Козлов. — Третьей брюхо не вскрывай.

— Почему? — удивился Чугунов.

— Перебор будет.

— Смотрите, смотрите, — закричал Антон, — эта щука тоже щурогойку проглотила.

Обиженный Чугунов, которому не дали дорассказать историю, поглядел на студнеподобного выпоротка и сказал:

— В этом озере должен лить водиться. Щуки линем брезгут, а другую рыбу, видать, истребили, раз друг друга едят.

— Лить на удочку не пойдет, — приуныл Козлов.

— У кого не пойдет, а у кого пойдет, — двусмысленно хмыкнул Чугунов.

— Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался старший Мамонтов, пламенно сверкнув очками.

Завладев вниманием рыбаков, Чугунов уселся на поваленный ствол и стал делиться линевыми тайнами. По его словам, чтобы наверняка поймать линя, нужно заранее в густом камыше выкосить небольшое оконце, присыпать дно чистым песком, прикормить место пареной пшеницей, выкрасить удище в зеленый цвет и соблюдать абсолютную тишину, даже поплавок не булькать. Были и другие, менее трудоемкие способы, но о них он поведал весьма туманно, скороговоркой.

Старший Мамонтов снял с огня ведро, парящее ароматом смородины, разровнял угли, укрепил над ними решетку, присолил рыбину и разрезал на полешки.

— А это тебе, Саня, — протянул он щучью голову Пушкину.

— ? — посмотрел на него тот, ожидая подвоха.

— Засушишь, лаком покроешь и будешь всем показывать.

— Давай и эту поджарим, — предложил Антон, держа за жабры щуку, извлеченную из желудка «коряги».

— Вот я еще выпоротка не ел, — рассердился Пушкин, — брось его Мухомору.

Мухомор брезговать выпоротком не стал.

Народ внимательно слушал Чугунова, но смотрел на шкворчащую, истекающую жиром над углями щуку.

— Надо было ее глиной обмазать и в землю закопать, а уж потом костер разводить, — поделился запоздалым советом Чугунов.

— А ты что же, пешком пришел? — спросил Козлов.

— Зачем пешком? Я велосипед у дороги спрятал.

— Уведут.

— Да какой дурак в тугаи попрется? Кому рыба нужна — у плотины наловит. А я не люблю у плотины рыбачить. Так только, когда времени нет. Выложишь из камней мысок, прикормишь с вечера рыбу, а утром придешь — уже сидит какой-нибудь дед на твоём месте. Хрен выгонишь. Да и вообще я плотину не люблю. Вы знаете, что в ней человек замурован?

— Какой человек? — восторженно спросил Антон.

Чугунов не спеша достал пачку «Примы», закурил, выдул дым за пазуху, изгоняя комаров, и только тогда продолжил рассказ:

— Лежит он на треть от воды, как раз там, где проходит трещина, как фараон в египетской пирамиде.

— Что ты сочиняешь, никто там не лежит, — нахмурился Козлов, — я там два года каждый день с теодолитом ходил.

— Ты там с теодолитом ходил, а мне бывший зэк рассказал. Да вы его знаете. Дед Петров. Он в те годы в Степноморской зоне за неумышленное убийство сидел. Человека в кочегарке сжег.

— Ничего себе неумышленное убийство! — удивился Пушкин.

— Убил-то он его нечаянно, а уж потом испугался и в топку бросил. Вот он мне недавно и рассказал под этим делом, когда мы с ним на Соленом озере ряпушку ловили. Тот человек тоже зэком был. Хорошо с лагерным начальством жил. Не понравилось это корешам, они его и замуровали в бетон.

— Живого? — спросил Антон.

— Зачем живого? Ломом сзади по голове — и бетоном залили. А начальству сказали: сбежал. Камышинку в зубы — и уплыл против течения. Конечно, были подозрения, только кто будет бетон долбить, когда пятилетку нужно выполнять и перевыполнять? Ну, если бы точно знали, где его замуровали, расковыряли бы. Только зэки молчали, а плотина большая. Так что лежит он там до сих пор. Дед Петров мне и фамилию назвал, но я, врать не буду, сейчас не вспомню. А ты говоришь: сочиняю.

— Может быть, и лежит, — не стал спорить Козлов.

— Да, могила... — задумался старший Мамонтов. — Такой могиле и фараон позавидовал бы.

— Вспомнил! — обрадовался Чугунов. — Кличка у него была — Чирей. Пострадал от советской власти. За растление малолеток сидел.

Рыбаки молча смотрели на угли костра, думая о замурованном в плотину плохом человеке. Руслан лежал на спине и смотрел на млечный путь в морской бинокль, подаренный Антону черноморским дядей. Густой жар шел от углей вселенского костра. Никогда он не испытывал такого печального восторга. Эта звездная страна была его родиной, а он — космическим существом, временно задержавшимся на маленькой уютной планете. На этой планете только и было, что костер, пес Мухомор, шесть человеческих существ, секретное, никому не ведомое озеро без названия и огромная донная рыба в его глубине.

(Окончание следует)

Герман Власов

Разнотравье

* * *

нарисуй мне свинцом
октябрем обязательно серым
с человеческим лицом
и рогами пугливую серну

а еще начерти
белый ангельский след самолета
чьи воздушны пути
чья землистая гулка работа

набросай тополя
на верже травянистой бумаге
две вороны парят
и змея черной речкой в овраге

он летит на грозу
он в ненастье находит прореху
нарисуй мне козу
или лучше бельчонка с орехом

* * *

когда молчать в деревне нежилой
пестрящие отдернув занавески
речь кажется озябшею травой
охряный лист слетает эсэмэской

когда б кружить на творческой волне
пить воздух на закате купоросен
и слышать как в морозной тишине
скрипят верхушки корабельных сосен

дома что лодки врытые в песок
октябрьской глухоте внаем сдаются
но пролетая двор наискосок
здесь свиристели надо мной смеются

а я иду за зрячею бедой
остатки прежней роскоши считая
и светит над туманною водой
луна как золотая запятая

* * *

(природа)

ее как таковой не существует
точнее нет означенной черты
она взыскует или испытует
возможности раздеть до наготы

суглинок ходит и песчаный влажен
размытый берег но напрасный труд
ровнять лопатой пляж (обезображен
скупой цивилизации редут)

а дальше лезть как вор ночной укропом
целуя воздух утренний взасос
явиться скопом пронестись галопом
по расстоянью мокрому от слез

не проще ли усесться после ливня
под деревом у мокрого ствола
вот точно под таким однажды Плиний
на мягком воске выводил слова

Власов Герман Евгеньевич — поэт, переводчик. Родился в 1966 г. в Москве. Окончил филфак МГУ. Участник студии «Луч» Игоря Волгина. Как поэт публикуется с 1992 г. Автор 4 книг стихов: «1 1/2» (М., 1998), «Второе утро» (М., 2003), «Просто лирика» (М., 2006) и «Музыка по проводам» (М., 2009). Работает переводчиком. Дипломант (2007) и лауреат (2009) Международного литературного Волошинского конкурса. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

такое значит разнотравье
не занеси господь серпа
и каждый стебель равноправный
сердец и глаз полутолпа

опушка запахов стечений
июльским солнцем горяча
уже оплел побег растений
лоб и окрестности плеча

а снизу в зоркости совиной
течет бесцветная вода

народец местный муравьиный
вовсю молотит города

охотой мелкою влекомо
хитиновых ворчанье крыл
язык чужой и насекомый
про здесь был я и ты здесь был

кузнечик кокон зная пилит
до траурницы наготы
до ты есть то и то есть ты
травы лицо пройдя навывлет

* * *

смолкни дудочка и бубен
лютня не играй
уцепиться за не будет
за страницы край

где не то чтобы размыто
или хода нет
слова всякого орбита
не бросает след

там сплошным протуберанцем
тридевятым дном

на поверке новобранцем
во земле зерном

ждать любовником несмелым
на воде гадать
самый белый самый белый
только очень ждать

и выпрастывая руки
нет его ни зги
только сердца слышать стуки
за стеной шаги

* * *

о время сорочьей трещотки
над веткою ягодных тем
и дерево парусной лодкой
и желтый песок-чистотел

глухие скворешен каюты
у кромки америк парят
там бабочки-обэриуты
свободно всю жизнь говорят

и лета подсохшая горка
когда на ладони весь год
и нужно проснуться и только
с заката увидеть восход

а дальше весь список не меньше
одних корабельных огней
уплывших за лучшей из женщин
и так и плывущих за ней

* * *

(август)

Н.Б.

гляди на яблоню гляди
там на последней ветке
на менелаевой груди
краса елены едкой
упало яблоко к ногам
древесной кровью красной
и сорочье летит к богам
мстить трескотней опасной
и тучи громоздится куст

и грозы предваряя
как бы слова из божьих уст
к земле стрижи ныряют
а сад листвою сплошной обшит
желтеет безутешен
и как воздушный антрацит
зрачки пустых скворешен

* * *

Я унесу из осени занозу —
она меня зимою станет греть.
Уже октябрь переходил на прозу,
канадский клен осыпался на треть.

На остановке люди-изваянья,
по мокрому асфальту шелест шин.
Куда теперь? О ком твои желанья?
На западе закатный апельсин.

Но я еще вернусь, как по паркету,
обрывом речи к дальнему родству,

где собирают в черные пакеты
озябшую опавшую листву.

И яблоню трясут, и поздних яблоч
привыкли урожаи воровать,
и пахнет осень сладковатым ядом,
и дым глаза съедает, и порвать

захочется с больным рукопожатье
а он глядит, вымаливая **да**,
и дарит людям пуговицы, платья
и грусть свою, и книги — навсегда.

Фахриёр

Из цикла сонетов «Тень от слез»

С узбекского. Перевод Германа Власова

Ты видел хоть раз в жизни тень от слез?..
Она не похожа на простую тень.
Она приходит в наши сердца из других, далеких миров...

Харуки Мураками

* * *

...он совершал молитвы в храме других снов...

Милорад Павич

Из далекой страны, как-то раз
дервиш сны твои мне подарил.
Для молений ковер, жайнамаз —
тот обрел, кто, страдая, любил.

Фахриёр (Фахриддин Низамов) — поэт, переводчик. Родился в 1963 г. в кишлаке Сангиджуман Самаркандской обл. В 1988 г. окончил ф-т узбекской филологии Самаркандского ун-та им. Алишера Навои. Автор 3 книг стихов, сборника публицистики «Традиция обновления» (1998). Живет в Ташкенте.

Вечно девственны сны и чисты
для влюбленных, в чьем сердце борьба,
чья душа — в непогоду листы.
Их сама наградила судьба.

Но о чем бы молиться я мог:
о разлуке с тобой, о тоске?
Мне сомненье — что к горлу клинок.

Та душа, что была тебе всем,
Тонет в горе, что капля в песке.
И судьба мне такая зачем?

* * *

Сны из шерсти, и моль их грызет,
словно дервиша дивный халат.
Здесь никто твои сны не спасет —
ни гадалка, ни даже мулла.

Вижу явь сквозь прогнившую нить,
сны пугают и сходят на нет.
Если я перестану молить,
потеряет душа моя цвет.

Да и дервиша нет, кто бы мог
обновить твои старые сны.
Не могу я взойти на порог

и присниться, ведь я намахрам¹
Я не твой, и в том нету вины:
не Меджнун я, но и не Бахрам.

* * *

Мысль о том, что я больше не твой,
гложет кости мои, ибо впредь —
летом, осенью, даже зимой —
ни желать мне тебя, ни жалеть.

Душу выплакал я целиком —
сей Коран я прочесть не успел.
Что на лбу начертали, о том
не забыть, даже если б хотел.

Сердце ноет мое оттого.
Нет любви, сладким грезам не быть.
Мне рассудок, скажи, для чего?

Грудь кручина саднит день-деньской,
если бедное сердце открыть —
облака захлебнутся тоской.

¹ Намахрам (узб.) — чужой человек, которому не разрешалось входить в гарем или женскую половину мусульманского двора.

* * *

Ты уходишь, а я остаюсь.
Без тебя всюду горечь и мрак.
Я на части душой изорвусь,
как державы поверженной флаг.

Я лежу, как разбитая рать,
в сердце грезы готов я впустить.
Ни к чему мне теперь воевать:
без тебя моя участь — грустить.

Знать, такая мне вышла судьба —
бесполезно роптать о судьбе.
О тебе мои плач и мольба.

Мне разлука добавит седин.
Тот, кто небом обещан тебе,
мой уносит цветок. Я один.

* * *

Как тяжелый шаг, бухнула слеза...
А.Мухтар

Над крестом, где распят был Иисус,
Сам Господь слезы горькие лил.
Слезы больше, чем слово из уст,
Бог рабов за дела не винил.

Сердце верно любимой, цветку,
хоть в разлуке не вижу цветов.
Ищут слезы ее красоту.
Шаг слезы — словно топот подков.

Топчут слезы мне сердца ростки,
душу выжгли мне, словно грозой,
берега затопив и мостки.

И ни мор здесь прошелся, ни глад, —
душу мне отравили слезой,
и она — будто сад в листопад.

2005

Юрий Серебрянский

Destination

Дорожная пастораль

Небо над Лохором

Я стараюсь думать о чем-то другом. Это очень сложно. Нужно представить внутренность своей черепной коробки в виде пустой комнаты, сосредоточиться именно на ее пустоте и начать облеплять стены, пол и потолок штукатуркой. Поверх штукатурки можно еще побелить. Нужно пять минут думать о том, что комната совершенно пустая. Почувствовать запах побелки. Если сквозь стены проглядывает всякая дрянь, можно начать представлять вращающиеся посреди комнаты предметы. Любые, какие приходят на ум. Думать только о них. Буддисты называют это медитацией.

В самолете я стараюсь не думать о самолете. Когда на экране заканчивается развлекательная передача, начинают транслировать карту и телеметрию. Я вижу, что вот уже слежение за полетом передано на станцию в Пакистане. Самолет скоро пролетит над ней. Сейчас внизу — снежные вершины и где-то там К-2, самая высокая и неприступная гора. Станция слежения где-то там. Я представляю ее в виде заснеженного вагончика на ослепительном склоне. Следы вокруг засыпал ночной снегопад. Бородатые пакистанские мужики пьют горячий чай на основе топленого снега, стоя на пороге в пуховиках, вязаных горнолыжных шапках и темных очках — каплях. Глядят на проступающие кое-где скалистые жилы сверкающе белой вершины. Что-то обсуждают, показывая пальцем. Возможность и красоту схода лавины.

Один уходит за вагончик и делает желтую дымящуюся прорезь в сугробе, стоя спиной к горе. Задерживается. Одним движением застегивает комбинезон. Возвращается за своей кружкой. Шапка у него с вышитой надписью «Найс».

Внутри вагончика на зеленом военного вида экране мигаем мы. Среди посторонних всполохов и линий масштабной сетки. Красным цветом. За закрытой дверью (чтобы не выпустить тепло) не слышно тревожного зуммера.

Только тишина, идущая от горы, и блики солнца на рифленой поверхности металлической кружки.

Перед посадкой я всегда разглядываю пассажиров своего рейса. Радуюсь, когда вижу много маленьких детей. Стараюсь разгадать логику Бога. Вроде надежно. И все равно, даже если бы самолет был заполнен одними маленькими детьми, я боялся бы.

Я пью в полете, дожидаясь, пока станут кормить, сочиняю стихи. В основном такие:

В детских руках турбулентности
Лица в бескислородных масках...

До Бангкока семь с половиной часов схождения с ума. Я молюсь. На шестом часу полета уже кажется, что, если я перестану думать о надежности узлов самолета и перестану молиться, мы упадем. Что именно мое умственное и душевное напряжение все еще удерживает нас в воздухе.

Равномерный гул.

Я еще ни разу не спал в полете, хотя летать приходится много. Небольшая турбулентность способна отрезвить меня от маленькой бутылки красного вина и бокала пива.

На восьмом часу полета я начинаю видеть в иллюминатор аккуратные квадраты рисовых полей внизу. В салоне включается свет, несмотря на то, что его и так уже достаточно попадает снаружи. Пассажиры потягиваются, скидывают пледы. Цепочкой выстраиваются в очередь к туалету. Опухшие лица. Видны изъязны кожи. У всех, кроме стюардесс.

Хочется смотреть в иллюминатор. Вот проплывает ровная магистраль Сукумвита, и я вспоминаю запахи Бангкока. Двести сорок из двухсот пятидесяти пассажиров нашего рейса будут рассказывать о нем как о промежуточном вонючем ужасе на пути в какую-нибудь Паттайю. И только десять человек поймут этот город. Влюбятся в него. Продадут бизнес, разведутся и уедут сюда. Или будут носить в себе тихое горе отсутствия.

Наш самолет вздрагивает от соприкосновения с полосой, в салоне раздаются аплодисменты. Мне кажется, что, выпави сейчас кислородные маски, окажется, что это не маски, а привязанные за ножки фужеры, по трубочкам они наполнятся шампанским и, выпив, все пассажиры нашего самолета почувствуют то же, что и я.

Облегчение спасенного.

Паром идет в Кабатач

Мы увидели растущую толпу у касс, пополняющуюся пассажирами автобуса номер шестьдесят три. Пассажиры непрерывно выходили из автобуса, создавая впечатление, что они входят в него с обратной стороны. Этот поток не давал нам пройти. Пестрые местные люди, какие-то иностранцы. Наблюдать было некогда. Мы лезли.

Станция «Эминону» — связующее звено между автобусами, паромными, трамваями и пешеходами, народу здесь всегда много. И он здесь всегда в движении. Турки вообще нация в движении. Спокойно сидящих мало. Если сидят смирно, то хотя бы говорят с соседом или зазывают прохожих зычными голосами. Из-за этого людского шума плохо слышны даже корабли и паромы. Совсем не слышно трамваев, а поток автомобилей создает звуковой фон второго плана, на который уже никак не реагируешь. Неподвижной в этом водовороте кажется только серая сказочная мечеть, многоглазо наблюдающая происходящее с высоты положения. Тут же порт, с красивыми слоеными лайнерами у причалов. Залив Золотого рога с окаменевшими берегами. Никакого гула моря или криков чаек. Паромы и те тыкаются в пристани почти беззвучно, мягко пружиня автомобильными шинами-отбойниками.

Когда ожидаешь посадки, с берега видно, как пассажиры парома выстраиваются вдоль борта нижней палубы, готовясь к выходу. Их поведение ничем не отличается от поведения людей в метро в час пик. Безразличие к водной стихии. Я не думаю, что, если бы в проеме (том самом mind the gap) между вагоном метро и асфальтовым краем станции плескалась вода, кто-то это заметил. Никто бы не заметил. Но однажды я видел, как не выдержавший равнодушия водный мир быканул, обдав маслянистой водой семью турок. Толстую жену, невзрачную низкорослую дочь и мальчика. Отец семейства не пострадал. Когда на паром перебросили мостки и пассажиры рванули как спортсмены-спринтеры, эта семья осталась. Оскорбленный отец начал напояз выяснять отношения с администрацией парома в лице бармена. Он требовал капитана, это было ясно без перевода. Но, высказавшись бармену и видя, что женщины его успокоились, отец остыл и сам. Наконец-то можно было начинать посадку.

В этот раз мы еще даже не купили билеты. Прорвавшись сквозь нескончаемый поток пассажиров автобуса номер 63 к кассе, я попытался купить билет на паром до Кабатача. Я сунул в окошко сумму, соответствовавшую указанной в таблице. До Кабатача.

Кассир давно не поднимал головы от своих стопочек мелочи, но тут поднял.

— Вам надо в другую кассу, идите туда, — во всяком случае, я понял его именно так.

Кассовых будок, вернее, даже паромных станций на Эминону несколько. Кассир указал нам идти вправо и был прав. Я не понял только, почему же Кабатач фигурировал в его таблице. Загадка турецкая.

Мы купили себе билеты. Контролер запустил нас в накопитель, крытое помещение, с одной стороны ограниченное турникетами, с другой — причалом. Людей было много. Я взял со стойки рекламную брошюру паромных линий Стамбула и стал ждать прибытия парома.

За полчаса до этого мы сидели под мостом и ели рыбу. Огромный старый мост соединяет два берега бухты Золотого рога. На том берегу — Кабатач. Только идти далеко. По поверхности моста ходит трамвай. Ездят легковые автомобили и микроавтобусы. У перил все места заняты рыбаками. Это из-за них сидящим в кафе на нижнем ярусе моста панорама залива кажется исполосованной сверху вниз. Лески. Несколько раз мы проходили по верху, разглядывая улов. Маленькие, сантиметров по десять каждая, рыбки — в пластиковых банках с мутной водой. Наживка — креветки. Тоже мелкие, но килограмм таких креветок у нас стоит несравненно дороже килограмма этой мелюзги.

Неравноценная такая рыбалка.

Рыба, которую мы ели в кафе, была гораздо больше. На это никто не обращал внимания, и настроение у сидящих было приподнятое. Свежий улов едим. Пиво «Эфес» поднимало его еще выше. В меню кафе значилось около десяти блюд, но спросом пользовалось только одно — рыба, жаренная в масле, упакованная в половину разрезанного вдоль багета. Туда же лучок, капусту, салат. С пивом — просто замечательное блюдо.

Я огляделся. Кафе было заполнено иностранцами, но были и турки. Одиннадцать лир за все — вполне демократичная для Стамбула цена. За стеной рестораник подороже, столы накрыты скатертями. Официанты с надменными лицами. Но мне нравились наши ребята, протиравшие деревянные столы прямо при госте и бравшие оплату заказа вперед. Они при этом улыбались довольно искренне. Просто с них тоже всегда берут оплату вперед. Никаких церемоний. Я это люблю.

Демократичные иностранцы — американская тетушка с подростками, отдаленно похожими на нее. Видимо, с племянниками. Позволила им выпить по бокалу пива, чем заслужила явное уважение. Вот один из племянников уже делится с ней какими-то личными секретами. Другой пьет пиво, слушает и улыбается. Смакует свой первый бокал.

Двое влюбленных из Европы чокаются. У нас переняли. Раньше они ведь не чокались. Это мы, советские люди, чокнули их. Хотя, может быть, я что-то и путаю.

А вот турок с женой и ребенком. Турок в возрасте около сорока, мужественный. Турецкие мужчины все красавцы. В молодости тонкие, гибкие, с горящими глазами и по-своему наверняка сладкоречивые. К сорока становятся крупными, но не толстеют. Лицо солидное, все морщины аккуратно подчеркивают достоинства твердых скул, носа, глубоких глазниц. Седеющие виски.

Однажды на взлете из аэропорта Стамбула со мной произошла неприятная история. Самолет замер на краю полосы, готовый взлететь в следующее мгновение. Двигатели набрали оборотов, и тут загорелись те самые красные огоньки вдоль проходов, о которых каждый раз рассказывают стюардессы и о которых не хочется думать. Оказалось, двигатель загорелся.

Нас отбуксировали обратно, к рукаву. Выпустили. Покормили. Все вежливо предусмотрели. Только наш самолет все время стоял там, за стеклянной стеной, и на момент приглашения к посадке он остался там же. Бригада механиков два часа

ползала по крылу, и один специалист даже забрался в сам двигатель. Но что это меняло для нас?

Оказалось, турки предусмотрели эту ситуацию. Первым на борт поднялся летчик, лет пятидесяти, в униформе и фуражке. С седоватыми висками. Следом потянулись и мы, пассажиры. Летчик, «капитан», мне все время думалось о нем так: устроился в пассажирском кресле экономического салона и развернул газету.

Лететь с таким человеком на борту казалось совершенно безопасным. Такой из любой ситуации выйдет героем.

Словом, турки — мужчины — «интересные» в любом возрасте. Это мое эстетическое мнение. Турчанки проще. Те, которые носят хиджаб, никак не могут быть мной оценены. Красота их не для меня. Остальные турчанки одеваются обыкновенно. Не вызывающе обыкновенно, как немки. Некоторые имеют стиль.

Главное достоинство — волосы. Непослушные, сильно выющиеся черные волосы, придерживаемые на ветру изящной рукой в нескольких тоненьких серебряных браслетах. В Стамбуле ветер дует чаще всего в нужные моменты.

Сидят две девушки в парке, рядом с Топкапи сараем на скамейке.

Проходят мимо двое симпатичных парней и тут раз, и ветер.

Но этот турок, рядом с которым мы были в кафе, сидел не с такой женой. Девушка явно была русской. Бывшей нашей. Она переусердствовала с мусульманскими особенностями наряда, но все равно было безошибочно видно, что она не турчанка. А из не турчанок турки женятся, наверное, только на русских. На русских блондинках. Это видно во всем. В рекламных постерах одежды, например. Даже турецкие певицы по телевизору стали похожи на русских певиц. Спрос того требует, видимо. Если допустить, что первое поколение шопниц заполонило Стамбул в начале девяностых, то те симпатичные девушки, лет двадцати, так свободно здесь себя чувствующие и есть дети первых смешанных браков.

Вот так. Воевали. Мужики дрались, а победили женщины.

Но я, конечно, отдаю себе отчет, что это только Стамбул. Столица мира во всех смыслах, кроме буддийского.

Кого здесь только не встретишь. Особенно на пароме. Семью американцев, например. Колоритных. Но о них чуть позже. Тут девчонка. Русская. Ловко перемахнула на борт парома и затерялась среди желающих оказаться на верхней палубе.

Я их понимаю. Ничего романтического в путешествии на пароме нет. На нижней палубе воняет почти как в вагонах московского метро.

То, что она русская, я понял не по каким-то там своим тонким эстетическим критериям. Просто она говорила по мобильному в тот момент, когда шла мимо меня. Пишу «мобильному», ведь если вы не наш, не из Казахстана, слова «сотка» вы скорее всего не поймете. А мы разговариваем по «соткам». И ничего.

Со своего места у борта я видел край ее платья. Какой-то турок в костюме клерка неловко толкнул ее в поле моего зрения, и она легко отодвинулась, не обращая внимания на извинения. Увлеченно разговаривала по «сотке».

Меня интересовал залив, потому что я редко вижу море. Паром, потому что паромы я вижу еще реже. Иностранцы на борту. А они все для меня в общем-то иностранцы.

Я бы не стал в такой момент разговаривать по «сотке». Берегу мгновения.

Она явно жила здесь. Или училась.

Я бы тоже смог жить в Стамбуле. Я — восточный мужчина. Хиджабы меня не пугают.

Мой слабый казахский позволяет вызывать гостеприимную улыбку у турок на базаре и в гостиницах. Турецкий и казахский похожи.

Жаль, что я не знаю ни того, ни другого. Мне стыдно путешествовать с моим сносным английским.

Я желал бы знать французский. Чешский мне нравится. За юмор. Свой чувашский не помешал бы. А от него недалеко до казахского и турецкого.

Да, я смог бы здесь жить.

Снял бы или лучше купил квартиру в районе Фенера. Там много брошенных греками домов. Перезнакомился бы с соседями. Пил бы с ними коньячного цвета чай из рюмки.

Но беда в том, что я путешествую. Я люблю слишком много мест в мире. Есть места, в которых я не был. Таких гораздо больше, чем тех, где я побывал. Но я все равно уже люблю их. А в путешествиях теперь достаточно и английского.

На американском английском говорил отец семейства с чемоданами. Я сидел по соседству с ними. С такими большими. Казалось, что паром немного не подходит им по масштабу. Как пластиковым солдатикам один к семидесяти пяти склеивающийся вертолет один к ста. Но им с этим приходится мириться. Большой американец нахлобучил на голову бейсболку сына и торжественно огляделся, считая этот поступок очень остроумным. Никто не обратил внимания. Все смотрели на самого американца. На его жену — большую, под стать ему, и веснушчатую, как дочь и сын. Дочь, по-видимому, одна только чувствовала неловкость ситуации в силу подростковых гипервозможностей.

Жене американца было откровенно на всех наплевать в своем длинном деревенском платье. Американец выделялся разными способами. Давал понять, что он в доску мирный и свой. Даже в такой дремучей исламской стране, как Турция.

Мы ехали в Кабатач, но оказалось, что паром-то шел не туда, а в Кадикоу. В суматохе я забыл посмотреть на табло.

Жене американца пришлось тащить по мосткам два чемодана и управлять детьми. Ни она, ни американец не доверились ничьей помощи.

Когда поток пассажиров схлынул, на пустом пирсе остались только три человека. Мы и та девушка, говорившая на пароме по телефону.

Софья.

Следующая станция после станции Еккамай

У меня странная особенность просыпаться за две-три минуты до будильника. Пытаюсь развить ее дальше. Цель — научиться просыпаться перед звонком телефона.

В квартире полумрак. Это самое выгодное освещение. Скрывает бедность обстановки.

Мне некогда заниматься уютом. Я все время или работаю, или отдыхаю, поэтому обстановка унитарна. Широкая кровать с матрасом, обтянутым полиэтиленом, по которому я елжу в беспокойном сне, занимает треть всей площади зала. Голубые голые стены, кафельный пол. Грязный сероватый потолок где-то вверх. Зал — единственная комната в квартире. Здесь так принято. Я заглядывал к соседям. Кухни ни у кого в доме нет. Двери квартир приоткрыты. За ними тайцы, сидят на полу с тарелкой лапши, опершись спиной о край кровати, сосредоточившись на телевизоре. Едим мы всем домом внизу, в столовой, которую содержит предприимчивая семья. Хозяйка — улыбчивая чистоплотная старушка.

Можно поесть и в городе. Некоторые покупают еду в квартиру. Я так не делаю. Ко мне там приходят конкуренты — черные крупные муравьи.

В фойе дома есть автомат по продаже льда и воды. Похож на наш автомат с газировкой. Стиральные машины. Можно закинуть белье, опустить несколько монет — и никаких проблем. Магазинчик, с хозяином которого я раскланиваюсь, покупая пиво и креветочные чипсы. Мы почти дружим.

Отдельно от зала только туалет с коробкой нагревателя воды для душа и сетчатой дыркой в полу. Никаких занавесок, зато унитаз — нормальный, белый. Моя гордость.

Напротив кровати — шкаф, коричневый, офисный вариант. В нем когда-то хранились архивы и запах старой влажной бумаги теперь на моей одежде.

Там я еще храню сувениры и кассеты с музыкой, купленные на распродаже. Телевизора у меня нет. Я даже не знаю, где его взять и когда смотреть. Рядом с домом богатый англоязычный видеопрокат. Я его постоянный посетитель. Зайду, возьму с полки кассету со знакомым названием и, держа в руках, вспоминаю фильм от начала до конца. Занятие. Потом обязательно звонит телефон. Кому-то опять что-то нужно. Телефон запрещено отключать даже ночью. Под кроватью валяется будильник, привезенный два месяца назад из Паттайи, но будит меня всегда телефон. Но я все равно по привычке завожу будильник.

Справа на полу разложился чемодан, на откинутой крышке — подготовленная смена одежды. Она сохнет и одновременно гладится. К вечеру. Точно. Сейчас вечер. Я часто не могу определить, проснувшись, восходит ли солнце или уже садится. Работаю днем и ночью. Не без перерывов. Есть даже выходные. Но туристы прилетают к нам, в Таиланд, днем и ночью. Поэтому у меня такая работа, и я не сразу могу определить время суток.

Однажды я все-таки решил заняться обстановкой квартиры. Было двадцать четвертое ноября. Купил в супермаркете упакованный комплект, в который, судя по рисунку, входили скатерть и шторы. Я представил скатерть, покрывающую грубый стол у окна, и окно, наряженное шторами, прикрывающими пыльные гнутые жалюзи. Да, есть еще стол и окно. И балкон. И самый главный предмет обстановки любой квартиры — старый вредный кондиционер. С ним почти невозможно уснуть новичку. Потом привыкаешь. Даже не можешь уснуть без него. Когда он самопроизвольно выключается ночью, утро встречаешь в духоте, в липком поту, проснувшись от недостатка кислорода. На столе я представил «хрипунчик». Так мы называем дешевую радиолу, с трудом принимающую волны сквозь толстые бетонные стены.

Я распаковал набор. Две наволочки, предназначенные для длинных цилиндрических пуфиков, стянутые резинками с обеих сторон, и фартук хозяйке.

Но я не отступился.

В квартире появились скатерть странной конфигурации и стильные римские занавески. Хрипунчик прикрывал нагрудный карман фартука, повторяя дном его конфигурацию. Двадцать четвертого ноября ко мне должны были приехать друзья из Паттайи, в этот день у них заканчивалась виза и нужно было ехать за новой на Пенанг.

Утром их отправили туда самолетом.

Ненавижу эту квартиру. В ней — мое одиночество. Жизнь существует только за пределами этих стен. Веселье — в толпе на перроне станции метро, под музыку рекламных мониторов и шум приходящего поезда. Грусть — в фойе вечерних гостиных, когда в прохладе кондиционера поет негритянским голосом стройная тайская певичка в бархатном платье, в сопровождении черного рояля. Моменты покоя — в ожидании опаздывающих рейсов из Киева, Алматы, Москвы, Екатеринбурга... Я уже перестал спрашивать: «Откуда вы?» Зачем. Два дня эти люди показывают мне, на что способны. Каковы они настоящие. Не офисные. Мне немного противно, но я понимаю.

Это — отпуск, и это — Таиланд. Рай за накопленные деньги. Я часто подыгрываю. Микрофон — у меня. Рассказываю в автобусе пошлые байки. Рекомендую бордели. Отвечаю на внезапные вопросы, вроде «почему тайские школьники (увиденные из окна автобуса серьезным с виду мужчиной) ходят в школу без учебников?» Гид не имеет права говорить «не знаю». И я вру. Но не безбожно, как некоторые. Меня спасают подкованность в истории и опыт общения с настоящими тайцами.

Этим утром у меня была экскурсия в сафари-парк. Вольеры с крокодилами, обед, дельфинарий. Туристы всегда довольны. Беспроигрышный вариант. Это их первые крокодилы здесь. Первые впечатления. Пальмы. Огромные белые красавцы-лебеди в маленьком пруду под пальмами. Кажется, уже откликаются на кличку «предатели». Подбирают хлеб. За прудом — площадь, аккуратно посыпанная гравием. У

нее запах раскаленной пыли и затхлой воды из-под цветов. Площадь с трех сторон окружают стриженные кусты. А четвертая — высокая стена дельфинария со сценой. Три ряда пластиковых стульев. Никогда там никого не видел. Самое пекло. Сквозь марево кажется, что стулья сейчас потекут.

На сцене — снеговики в человеческий рост и поздравительный плакат на трех языках.

Скоро новый год. Я и забыл.

Пока туристы в дельфинарии смотрят на надувную лодочку с ребенком из зрительного зала, которую толкают носом дельфины под мелодию из Титаника, гиды слушают другую музыку, укрывшись от зноя на скамейках под деревьями. Рождественские англоязычные песни. Говорят о планах на выходной. Вероятности пересечься. Я подозреваю, что все страдают от одиночества. Оно здесь особенное. Стоит из невозможности поделить с близкими потоком впечатлений и глубоко забитой тоски по родине. По привычным вещам. Серым и не таким ярким. Звонить родным не хочется. Разговоры короткие. Жив. Здоров. Отсылаемые туда фотографии совершенно не передают атмосферы здешней жизни.

Утром, уходя, я нашел в ящике на двери квартиры какое-то послание, напечатанное на тайском. Сергей, гид конкурирующего агентства, мой хороший друг.

Он — достопримечательность среди туристов и среди тайцев. Свободно владеет языком. Надо видеть тайских официантов, впадающих в ступор от его заказов и туристов, проникающихся безграничным уважением к человеку, понимающему все эти запятые. Тайцы — лингвистические фашисты. Большинство из них не верит в возможность выучить язык иностранцу. Сам язык — красивый, напевный, есть замечательные слова, например — карапуз будет «пумпуй». В Бангкоке уже подрастает поколение пумпуев — иностранцев, посещающих тайские школы. Скоро некоторым придется быть осмотрительнее.

Поговорили о планах на новый год. Они у нас одинаковые. Тридцать первого числа — большой заезд. Я сунул Сергею послание. Он прочитал и присвистнул. Я выпрямился. Почувствовал, как струйка пота побежала вдоль позвоночника под ремень.

— Ты где это взял? — он передал бумагу От — тайской девчонки с традиционным бумажным зонтиком, купленным у королевского дворца за двадцать бат.

Она наш тайский гид.

От покачала головой и зонтиком. Уставилась на Сергея. Красавица и умник. Он напоминает молодого Бродского, она похожа на актрису Люси Лю в миниатюре.

— Я нашел это сегодня утром в ящике на двери квартиры.

Сергей вертел в руках лист.

— Вот и пришла твоя очередь мыть коридор во всем подъезде, старик. Эта бумага от вашего КСК.

Клянусь, если бы От не засмеялась в этот момент, я бы точно купился.

Я забрал листик.

— Отдай это Кун Вуду. Счет за электричество.

— Спасибо, — я увидел, как мои выходят из дельфинария, и поднялся навстречу.

Автобус уехал к морю. В Паттайю. Я взял такси и вернулся в Бангкок. Проехал мимо гольф-полей, над которыми взлетают по утрам авиалайнеры, а игроки не обращают внимания на длинные крылатые тени. Мимо оптовых баз, с призывно раскрытыми мешками товара у пыльных обочин. В потоке мотоциклистов, везущих по делам свои семьи. Машин. Новеньких японских. Редких европейских. Задержавшись только у будки при въезде на платную дорогу, где я отдал деньги за возможность быстрого передвижения тайцу в коричневой форме, белой маске-респираторе и белых же шелковых перчатках с оттенком гари. Темные блестящие глаза его внимательно изучали иностранца.

Каждые полкилометра мы пересекали три выпуклые черные полосы. Трррр...

Трррр... Трррр.... Большая скорость. Никаких мотоциклистов на платных дорогах. Только полицейские в эффектной, по фигуре, темно-коричневой форме. Высокие и подтянутые.

Наконец, дорога, плавно снизившись, влилась в пробку улиц нижнего яруса на подъезде к моему району, Пра Канонгу. Первое время я никак не мог запомнить это название. Пра означает святой. Думаю поэтому, по пути от квартиры до станции метро — два буддийских храма, а там, дальше, — еще три. Они не имеют стратегического туристического значения. Бедноватые, в форме избушки из русских сказок. Старинно выглядящие. Я уже отличаю настоящий старинный буддийский храм от недавно построенной штамповки. Пatina на фресках, могилы монахов в корнях деревьев перед храмом. У деревьев толстые щупальца корней. Здания давно осели основаниями в землю. Таких много вдоль Сукумвита — душного магистрального потока, соединяющего Бангкок с Паттайей и дальше, с Районгом.

Дальше Районга никто из тех, кого я знаю, на машине не был. Там тихие рыбацкие поселки и чистое море.

Отблески солнца разлетаются в разные стороны от зеркалец, которыми аляповато облеплены фасады храмов, и демоны у входа, которым эти украшения придают вид цирковых акробатов. Почему демоны?

В этом все тайцы. Демоны — это малое зло, их ставят перед каждым храмом, чтобы, когда мимо пролетало большее зло, оно миновало это место, решив, что свои его уже заняли.

Этот заготовленный ответ — путевая развлекаловка для туристов. Надеюсь, правда.

Еще Пра Канонг — название станции монорельсового метро моего района. Она предпоследняя на зеленой ветке и следующая станция после станции Еккамай.

Банка пива. Нужно выспаться перед «вечерними узбеками».

Рейс наверняка задержится, и они плавно станут ночными. Это означает звонки в аэропорт каждые полчаса. Душный безветренный балкон с морем движущихся и мигающих огней Бангкока.

Да. Сейчас определенно вечер.

Невесомость

Мы говорили по скайпу. Я начал громко и по-русски. Израсходовал те несколько слов, которые она знала. Было наплевать на окружающих. Судя по недовольным лицам, русского никто не знал. Тайцы поднимали головы — те, что были не в наушниках. Иностранцы вдавливались в мониторы поглубже. Чувствовали глупое неудобство. Кто-то нарушает установленную законом тишину. Да и русский язык, я слышал, для большинства звучит грубо. Тайцы, те вообще никогда не кричат. У них не принято. Нежные, переливчато-мяукающие звуки пятитонового тайского языка не переносят грубости. Если можно поставить два крайних языка друг против друга, из тех, что я слышал, это будут немецкий и тайский. Потому что от громкого разговора немецкой молодежи за спиной нервно поеживаешься.

Где-то посередине этой шкалы будет китайский. Он такой же грубый, как и немецкий, если прислушаться, и шумный. Видели когда-нибудь группу китайцев в фойе отеля? Это единственные люди, которые разговор строят не последовательными монологами. Они говорят друг другу одновременно.

Я сказал кое-что и по-гречески. Я сказал «Тэло на сэдо» — хочу быть с тобой.

Соня—на—экране наклонила нерасчесанную черную кудрявую голову чуть вправо и замерла. Или это скайп замер. Видеосигнал доходил урывками. Кадр. Полуулыбка. Кадр. Некрасиво раскрытый рот. Кадр. Нелепо поднятая рука. Это Соня собралась погладить волосы для меня. Я догадался. Додумал движение. Приходилось додумывать вслед за скайпом. Именно такой сигнал фантасты пророчили путешественни-

кам к дальним планетам. К Юпитеру. Соня была на Юпитере. Нет, это я был на Юпитере. Она была в комнате. В Афинах. В комнате, которую я хорошо помнил. Край кровати, которую я помнил. Кусок столика, запомнившегося мне остротой угла.

— Соня, ты прочитала рассказ, который я отправил тебе вчера?

— Ты написал его вчера? — Соня замерла в профиль. Интересно, в каких позах замираю перед ней я? Надо поменьше артикулировать, чтобы не надеть гримас.

— Соня, я соскучился, — Вернее, по-английски прозвучало «я скучаю». Есть ли у них «соскучился»?

Соня молчала.

— Нет, я писал его неделю и месяц его думал. У меня компьютер только в офисе, и только в нерабочее время. А время тут, у нас всегда рабочее. Я тебе писал об этом.

— Почему ты меня переименовал?

— Я могу вернуть имя! — Услужливый хозяин Интернет-кафе подал мне гарнитуру. Я надел наушники с маленьким микрофоном у рта и превратился в космонавта. Не хватало только олимпийки «СССР».

— Мне показалось, что выдуманное имя слишком банально.

— Ты согласна быть там Соней? — Мои волосы вдруг поплыли по воздуху, каждая волосинка по отдельности, но единым потоком, как влекомые течением реки водоросли.

— Да, пусть я — буду я. Мне нравится, что ты запомнил, как мы сидели на траве, на склоне Филлопопа. Это я тогда подумала, что тебе хорошо бы поправиться килограммов на пять.

— Да. Я помню. Стараюсь. Но тут одни только рис и креветки. Все худые, — вслед за волосами я и сам начал отрываться от кресла. Лицо мое стало красным.

— Почему у тебя красное лицо, милый? — Соня вообще-то добавляла «милый» к каждой фразе. Я уже так привык, что почти не замечал этого.

— Не знаю, наверное, это невесомость, — я хотел так сказать. Только не знаю, как по-английски сказать «невесомость». Пока я подбирал неуклюжие эпитеты, Соня поняла.

— Ты представляешь себя в космосе?

— Нас разделяют глухие парсеки. Я скучаю, Соня.

— У вас жарко?

— У нас тут очень жарко. Душно, и я ненавижу этот город без тебя. Я бы хотел жить в Афинах с тобой.

— У нас тоже жарко, милый. Мы собираемся в Лутраки на выходные с друзьями. Купаться.

— С какими друзьями? — Я взлетал, Соня не видела, но я придерживал стул правой рукой.

— Нет. Не с Марком. Мы расстались. Из-за тебя. Милый. Зачем ты запоминаешь такие вещи? Разве я говорила тебе, что была мокрая, как река?

Интересно, как это Соня не замечает моих странных волос. Она в белой майке, которую я снимал. У Сони копна греческих смоляных выющихся волос. У нее длинные волосы.

— Память. Извини. Проклятая память фиксирует все. Да, ты именно так и говорила. Мы были с тобой на Филлопопе, а потом спустились оттуда мимо обсерватории. Прямо с горы. Как те американки. Ладно я, но как ты-то не помнила дороги?

Соня засмеялась. По скайпу это выглядело серией гримас и лишь в конце застывшей улыбкой.

— Я никогда раньше так сильно не возбуждалась поцелуями, милый. Но разве я ночью пела тебе ту колыбельную?

— Конечно.

— Я не помню. Было очень хорошо. Может, и пела.

Мы замолчали. Застыли на экранах друг друга. Два портрета напротив. Я, правда, не мог надолго застыть, проклятая невесомость тянула из-под меня стул, а волосы жили сами по себе.

— Да, пела, наверное. Иначе откуда бы тебе знать про критскую колыбельную. Прости, я плохо пою.

— Ты пела, Соня.

Мы опять ненадолго застыли. Я заметил, что иностранцы расслабились у мониторов. Это я стал говорить спокойнее и тише.

— И я же не знала, что ты так готовился тогда. Здорово. Розу эту купил. Все остальное. Это здорово. Я люблю тебя, милый.

— Я тоже. И скучаю. Так тебе понравился рассказ? Я же обещал, что его напишу.

— Да, только думаю, на русском он лучше.

— На русском его нет. Я писал сразу по-английски.

— Я буду с тобой заниматься английским. Милый.

Я держался за стол левой рукой. Если бы у меня был с собой тубик с водой, я бы выдавил свободно парящий искрящийся шарик. Удивил бы Соню. Мне хотелось ее удивить.

Я провел ладонью по экрану. Думал, будет красивый жест. Рука закрыла объектив камеры, и, наверное, несколько секунд Соня видела на экране только темное пятно с прожилками. Она сделала недоуменное лицо.

— Соня, ты приедешь?

Один и тот же кадр. Плохое качество картинки. У нее в комнате слишком темно. Или это окно. Отсвечивает в камеру. Не видно эмоции.

— Я показала маме приглашение, которое ты выслал. Ей оно показалось странным. Она не понимает, почему меня приглашают на курсы дизайнеров именно в Таиланд. Это очень далеко от Греции.

— А что в этом странного? Тоже ведь страна. Ты не веришь в существование Таиланда?

— Она просто не может понять. Боится за меня.

— А ты боишься?

— Я — нет. Милый. Тэло на сэдо. Агапи му. Мне неважно где.

— Ну, пожалуйста, Соня, давай все организуем. Тебе понравится здесь. Не бойся.

— Я не боюсь, — она не отрываясь смотрела сквозь экран. Мимо меня. Это эффект камеры. Глаз не поймать.

За ее спиной зазвонил телефон. Волосы одним махом были переброшены на другую сторону, я увидел черные брызги в экран. Она сбросила звонок. Повернулась ко мне. В той же позе.

— Пойдешь сегодня в университет?

— Да, пойду уже скоро, а как твоя работа? Много работы?

— Много. Сейчас тоже пойду. Поеду в аэропорт. Самолет встречать. Я напишу тебе кое-какие новые мысли по поводу приезда.

— Да. Напиши, — Соня улыбнулась, и трафик позволил ей улыбнуться.

Барыш

В районном центре Барыш раньше был тир. Он стоял на привокзальной площади в самом ее конце, там, где площадь становится платформой станции и одновременно улицей, ведущей в город. В узком, стратегически важном, с точки зрения любого капиталиста, месте.

Мы с двоюродными братьями мечтали вырасти и пострелять в нем. Но когда доросли до стрелкового возраста, начались девяностые. Возможности у взрослых любителей пострелять значительно расширились, и тир разорился.

Реинкарнировался в коммерческий киоск. В очень успешное предприятие, занимавшее ключевую позицию в городе по покупательской проходимости.

К тому же только здесь жители могли купить вещи, привезенные для них из Китая двумя предприимчивыми земляками. Мы с отцом восемь дней тряслись в поезде для того, чтобы увидеть этот киоск. Четыре дня туда и четыре обратно. Ездили летом, когда поезд по нескольким часам пережидал песчаную бурю под Кзыл-Ордой. В купе

стояла такая жара, что трудно было дышать, и пассажиры сидели без движения, как обреченные моряки на дне подводной лодки. Из коридора залетала жирная муха, почуяв, как со столика капает сок тающего сахарного ломтя белой дыни. Жужжала безнаказанно.

Летом в вагон-ресторан приходилось ходить мимо грязных пяток в плацкартных вагонах, переступая через бесформенные сумки и ползающих по полу детей.

Зимой выбитые окна соседних пустых купе забивали подушками, и все равно было холодно. До зимы девяносто третьего года я вообще не задумывался о том, что поезда курсируют не только в теплое время отпусков. Что кипятки зимнего вагона становятся живой водой для шестерых немытых пассажиров.

Я повидал поездов.

Это, конечно, не теплушки, но то разоренное время больше всего отыгралось именно на поездах. Уже не было атмосферы дружбы и сплоченности пассажиров, закончились веселые истории не успевших сойти провожающих, прославших свою станцию командировочных. Крепкой дружбы, возникавшей между посторонними людьми, сведенными волей кассира в одном замкнутом пространстве на четыре дня, когда выходящего раньше провожали на перроне со слезами на глазах.

С приглашениями погостить и обещаниями писать. Я много раз проделывал этот путь в детстве. Меня приглашали на все лето в Оренбургскую область. Дважды сватали за девочку из центральной полосы России, ехавших с нами, и однажды сватали заочно. В Одессу.

В ноябре девяносто третьего года шестеро пассажиров маршрута Алматы — Москва не стремились познакомиться друг с другом. В вагоне царило волчье мужское недоверие. В купе номер два мы были одни с отцом, в ящиках нижних полок трясся товар.

Мы спали на нем. В соседнем двое мужиков беспрерывно пили водку, пытаясь согреться. В следующем — не было окна. Рама была забита подушкой.

Дальше ехал тихий дембель, а в купе перед туалетом, в котором окно было приоткрыто наполовину, на незастеленной нижней полке кашлял шестой пассажир. Дверь туалета хлопала в такт рывкам вагона, веером разнося сортирную вонь по вагону.

Иногда мы видели призрак проводника в расстегнутой до пупа выцветшей сиреневой форменной рубашке.

Ночью проехали Чу. Началась степь, покрытая рваными участками снега, словно огромная бело-коричневая камуфляжная форма. Поезд железным замком рассекал ее надвое, вскрывая сугробы ватного подклада по обеим сторонам. Отец выходил в тамбур покурить. Я в это время дежурил в купе. Потом я ходил в коридор, смотреть в окно без штор, опершись подбородком о выщербленный поручень. Стекло было холодное, щекой не прислонишься.

Мы с отвращением по необходимости посещали туалет.

На третью ночь пути к нам в купе тихо постучали.

Двое небритых заняли пустующие верхние полки толстыми сумками, будто бы сшитыми из рыбы.

От жуткого запаха я проснулся. Тусклый купейный свет. Я сел. Этим немедленно воспользовались гости. Мой постельный комплект грубо отодвинулся к стенке. Мы втроем оказались на моей полке.

— Пап, сколько время? — я еще не совсем проснулся.

Усевшись, новые пассажиры поздоровались за руку с отцом и со мной. Тому, что уселся у столика, пришлось привстать, чтобы протянуть мне руку.

— Три часа ночи, — отец посмотрел на часы, — только что проехали Аральск. Он знал наизусть все станции по нашему маршруту, не нужно было даже выходить к расписанию в застуженный коридор.

— Мы сели в Аральске, — подтвердил мой сосед. Голоса его я не помню. Другой молча достал бутылку водки и литровую мутную банку, заполненную белым жиром в черную крапинку.

— Предлагаю выпить водки с икрой.

Я промолчал. Отец кивнул головой. Дальний сосед ловко намазал нашим ножом по бутерброду с черной икрой каждому, закончив купленную нами на станции булку. Мне вручил отцовский холодный стакан чая. В другие два налил водки. Моя домашняя кружка досталась ему.

— За встречу! За удачу! — сказали новые пассажиры хором.

— Да, — помедлив, сказал отец.

Икра была настоящая. Запах рыбных сумок сразу отпустил меня.

Делая ударения на последних словах каждого предложения, сосед сообщил:

— Мы завтра в обед сойдем, но если что — никто не должен знать, что мы везем, договорились, мужики?

— Может, покурим? — спросил отец и взял со столика пачку сигарет.

Все одновременно поднялись. Поняли, что так не выйти, снова сели. По очереди вышли из купе. Последним выходил отец.

— Ты ложись. — Он закрыл дверь.

Я сразу вернул на место постель, дожевал бутерброд, стряхнул все крошки, — я вообще-то был брезгливым подростком. Улегся лицом к стене.

Помню негромкую возню и звон бутылки. Какие-то обрывки фраз: «Да у нас в Аральске можно..., мы возим...» Голос отца: «У нас на базаре можно дешево взять это...»

Что именно? — подумал я, засыпая.

Наутро четвертого дня выяснилось, что у меня увели ботинки. Это было не страшно. Мы с отцом подняли полку и достали оттуда чемодан. Отец выпрямился, защелкнув дверь купе на замок. За окном слева направо мелькали деревья. Был зимний день без солнца. Равномерно освещенный снегом и подсвеченный сверху. Мы уже подъезжали к Барышу.

Из чемодана пахло Китаем.

Путешествие на поезде это и так всегда сильное испытание запахами. Совершенно по-разному воняют туалет, тамбур, купейный коридор, плацкартный проход, вагон-ресторан. Шпалы. Даже зимой.

Я достал новенькие высокие ботинки леопардовой расцветки и обулся. Они были деревянными, как колодки.

— Отогреются, — сказал отец.

Стоянка поезда в Барыше — пять минут. Мы вытащили чемодан и сумки. Проводника я не видел. Нас проводил кашель из дальнего купе.

На электричке мы доехали до Чувашской решетки за полчаса. Отец встретил нескольких знакомых. Никто нам не удивился. Все были в курсе. Я привык к этому с детства. Когда мы приезжали сюда на каникулы и несли вещи к бабушке, информационная волна опережала нас на три дома. С нами вежливо здоровались и передавали дальше — алматинцы идут. Эдик и Юрик, мои двоюродные братья, высказывали на крыльцо. Тетя Люся ждала издалека вместе с бабушкой.

Пока ехали, я смотрел в окно на грязь, проталины и черные, облетевшие деревья лесополосы. Пытался представить себе деревню в это время года.

Мы вышли вместе со стариком, которому я в детстве на спор совал в самокрутки виноградные листья.

Пошли вдоль полотна, стараясь не попадать в полу замерзшие лужи и избегать вывороченных комьев грязи. Это было невозможно. Я быстро запачкал ботинки.

Никто не высовывался из домов. Деревня впала в спячку.

Мы дотащили вещи и сели на кухне. Выяснилось, что тетя Люся на работе в Барыше, Эдик и Юрик отданы в Ульяновское суворовское училище. В люди. Дома было тепло и уютно. Я сходил в баню. К вечеру понял, что простыл.

Отец рассказывал деду алматинские новости. Дед жаловался на мед.

Когда стемнело, из конюшни вернулся Сашок. Еще один двоюродный брат. На нем были наши кроссовки с прошлого завоза. Белые в грязи.

Это удивительный случай. Обычно обувь, которую мы покупали на китайском

базаре в Алматы, не служила долго. Она была декорирована эффектными, но недолговечными материалами и разваливалась, как только выветривался китайский запах. Сашок носил свои Абибасы уже второй год, ежедневно пересекал в них речку по пути к конюшне и обратно. Так он их мыл. Кроссовки не разваливались. Исчез китайский запах, но они продолжали носиться.

Сашок был нашей рекламной кампанией. Хотя такие кроссовки в деревне были только у двоих человек. Теперь уже только у него. Остальные пары топтали Барыш, Инзу и Сызрань. Джинсы носились подольше.

Сашок вывел меня из кухни в коридор, где стояли медогонка и лопаты. Дом у деда интересный, традиционный. Высокое, летом увитое зеленью крыльцо. Деревянное. Весь дом — деревянный. За крыльцом — темные сени, с выходом во внутренний двор. Свет попадал только сквозь грубые щели в стене. За правой дверью — жилое помещение — две совмещенные комнаты. Спальня и зал. Дедовская ширма, из-за которой он в голос зевает, засыпая. Сени заканчиваются ступеньками, ведущими в кухню. В детстве меня очень интересовал внутренний двор — он крытый, сверху хранится сено. Там рождаются и вырастают дикими котята, которых кошка приводит на кухню уже подростками. Они выгибаются дугами, фыркают, дико глядя на исходящий паром электрический самовар на столе. В конце застеленного толстыми, скользкими от птичьего помета досками внутреннего двора — запертая щелистая дверь. Поросенок. Бабушка каждое утро отдает ему дань — ведро парного молока с двумя раскрошенными булками белого хлеба. К хлебу в деревне особое отношение. Когда бы я не пошел в сторону магазина, всегда требовалось «захватить булок шесть». Хлеб — еда и корм.

В сенях было холодно. Сашок отрезал ножом полоску мяса с освежеванной кроличьей тушки и предложил мне. Мы мало общались. Он был поглощен конюшней, а я равнодушен к лошадям.

Однажды зимой соседка, бабка по имени Синька, жена, кстати, того старика из электрички, попросила Сашку повесить собаку, воровавшую кур. Рядовое, никому не удивительное событие. Нужно жить в деревне, чтобы понимать это. Дети рубили курам головы с того момента, когда могли поднять топор. И моментального взросления не наступало.

Вечером Сашок отвел собаку за поводок в лесополосу и там повесил на поводке.

Спокойно поужинал дома, потом оделся и вернулся.

Он отвязал от дерева окоченевший труп, приволок его, цепляющегося раскоряченными агонией замершими лапами за ветки, и установил на пороге дома старухи. Заиндевелый поводок торчал пятой лапой.

Жаль, что мы редко общались.

К ночи у меня поднялась температура. На кухне варились пельмени, сидели распаренные после бани родственники. Мне налили стакан медовухи, заставили выпить и немедленно отправили спать.

Дедушкина подушка пахла так же, как в детстве, телевизор остался прежним, часы с мутным пластиковым стеклом. Но сама деревня изменилась.

Осенью здесь было нечего делать. Но хуже всего то, что изменилось отношение ко мне, приехавшему по делу. Каникулы мои закончились. И других уже не предвиделось.

В девяносто четвертом тир сожгли недоброжелатели с барышского рынка. Мы прекратили возить товар в Россию.

Я поступил в университет.

Южный крест

Волны накатывали с шипением убегающего из турки кофе. Самого моря мы не видели. Непочтительно сидели к нему спиной. Бар был так устроен.

Да и какое море ночью. Тьма, сливающаяся с тьмой, очерченная похожей на вытянутое созвездие полоской прибрежных огней.

Мы называем Иссык-Куль морем. Он соленый, и, если не приглядываться, дальнего берега не видно.

Песок и воздух. Свежий морской воздух.

Отдыхающие — алматинцы. В городе знакомых встречаешь часто и, здороваясь, говоришь — «город — маленький». Только здесь понимаешь, что все-таки большой. Знакомишься с людьми, друзей которых ты не знаешь и не учился с ними в одной школе. Возможно, эти люди только талантливо прикидываются алматинцами.

Обычно сюда приезжают компаниями. Так веселее и безопаснее. Хотя туристы для местных — табу. Каста неприкосновенных. Только в самых отчаянно дешевых санаториях, на неогороженных диких дискотеках можно нарваться на происшествие с местными.

Даже в обслуживании домов отдыха и в столовой работают «феи на практике».

Вечером вместе со всеми отплясывают на дискотеке накрашенные до неузнаваемости студентки алматинских колледжей пищевой промышленности.

Приятно осознавать, отвернувшись от моря, что там, за горами, раскинувшими макетом из папье-маше сразу за поселком Бозтери, суетится Алматы.

Проблемы и заботы. Нормальной телефонной связи нет. Пункт переговоров санатория «Киргизское взморье» не место для решения проблем. Там очередь и пожелания загореть и приехать сюда к выходным.

Хозяева юрт, основных пунктов вечернего досуга, с наступлением темноты начинают собирать освобождающиеся пластиковые столики и стулья. Самые предприимчивые позволяют гостям остаться пить водку на всю ночь. С условием, что сами хозяева улягутся тут же, за ширмой. Это не должно смущать.

К одиннадцати мамы уводят своих расцветших дочек с дискотек.

Колонки заносят. Молодежь группами начинает перемещаться по темным асфальтированным аллеям санаториев, цепляясь рукавами за кусты вьющейся розы в поисках мифических дискотек соседнего пансионата. Идут на звук.

Чаще всего находят караоке.

Кто-то оседает в фойе Взморья. В Золотых песках хорошая шашлычная, но далеко идти, не всегда есть места и очередь длинная. Самодостаточные компании, разувшись, гуляют по холодному песку, глядя на звезды. Звездное небо над нами такое, как будто смотришь не через мутную атмосферную линзу, а в телескоп.

Местные с темнотой куда-то исчезают. Их и днем-то не особенно видно. Иногда наткнешься на убирающуюся в коттедже женщину. Она обязательно извинится.

Они даже какие-то чуточку более интеллигентные, чем нужно на курорте. У меня всегда было ощущение, что у продавцов баночного пива, что стоят вдоль аллеи на пляж, и хозяина юрты за спиной высшее образование. Уж слишком они смущаются. Так уж получилось, мол. Жизнь заставила.

Такси здесь — гнилые «копейки». Если куда поехать, меньше четверых на заднее сиденье не сажают. Впереди кассир — жена в платке.

Всегда ходят в теплой одежде. Дети продают на пляже чебаков.

— Давай возьмем чебаков к пиву? — под нашим навесом, пристроенным к юрте, всего три столика. Все заняты. Комары вьются под российскую музыку, недоумевая по поводу китайской гирлянды.

— Давай лучше сига, — мы оба любим копченую рыбу. Чебак — пляжное удовольствие днем. Закопанная в песок бутылка греется, пиво теряет вкус. А чебаки, местная мелкая рыба, — семечки, почти даром.

Переворачивающиеся дамы подтягивают лифчики.

Под грибком режутся в карты.

Однажды я вытирал руки после чебаков о железный катамаран, принадлежавший санаторию «Мурок».

Так что да, лучше сиг. Разделанный.

Иссык-Куль для большинства из нас — синоним отдыха. Экзамены — автобус — Иссык-Куль.

Слово «Иссык-Куль» алматинцы произносят в десять раз чаще, чем слово «Киргизия».

Киргизия — это не здесь. Здесь музыка, шипение моря, пиво и звезды.

— А родители что сказали по поводу твоего увольнения? — Андрей держал в руке банку «Баварии». Его нога шевелила растопыренными пальцами не в такт музыки. В такт неприятному ощущению высыхающего на коже песка. Он светлый. Сгорают здесь даже от отраженного в воде солнца. Но все равно мы часто сюда ездим.

— Поняли, наверное. Главное, я ведь вернулся в Алматы.

— Совсем плохо там было?

— Я еле-еле зиму пережил. До сих пор иногда кашель нападает.

— Ты же в январе только в Африке был, там жарко, да? — мы не виделись с Андреем почти год. Он не изменился. Мы не изменились. Здесь, на Иссык-Куле. Все те же студенты.

— Там плюс двадцать шесть уже считается жарко.

— Да ладно!

— Seriously, наш таксист Майкл все время потел, а я никак от Кокчетова отогреться не мог.

— Негров много?

— Да, Я понял теперь, как они себя у нас чувствуют. Идешь по улице — одни черные головы и твоя, выделяется. Хотя на улицу нас не пускали. Только из отеля в Гигири и обратно.

Принесли сига. Лоснящуюся лепешку копченого цвета.

— Привез что-нибудь? — мы начали ломать с разных сторон.

— Да так, сувениры. Копье.

— Покажешь потом? — мы стали разговаривать сквозь зубы, пережевывая рыбу.

Столики вокруг незаметно освободились, хозяин собрал их и уже складывает потихоньку прилавок.

— Пойдем на берег, — говорю.

— Я только обсох, — Андрей обул сланцы.

Мы пошли по широкой аллее к берегу и, ступив на песок, оказались под звездной картой.

— Я должен был видеть там Южный крест. — Я ковылял по песку, глядя вверх.

— И что, видел? — Андрей медленно шел следом, нес сига в газете.

— Да, видел.

Я остановился. В сланец попал песок. Я брезгливо затряс ногой.

— А как заседания проходят? — Силуэт Андрея на фоне таинственно подсвеченных фонарями старых деревьев у выхода к пляжу. Длинная тень высокого человека.

— Как в новостях показывают. Сидят амфитеатром. В костюмах. По регламенту выступают профессора. Россия, США, Россия, США, Франция какая-нибудь влезет. Китай. Остальные слушают и голосуют. Есть три кнопки. Но самые нужные кнопки — смена языков. Минуту на французском послушал, две — на китайском. Испанский мне понравился. Потом фуршет и домой. В аэропорт.

— И тебе это надоело? — Мы уже дошли до грибка и сели, разложив сига и откупорив по банке.

Мимо прошла какая-то парочка. Босиком. Между морем и нами. Парень миролюбиво посмотрел на нас.

— Надоело. Самое приятное, когда суточные раздают. Никогда не знаешь, сколько. Все страны, такие как наши, стоят в очереди, получают в окошке деньгами или чеками. Я, когда там получил на руки, сразу пошел в туалет, спрятал в карман на трусах и все заседание проверял.

Смотрел за другими, многие тоже щупали пиджаки.

Дали на второй день. Я сидел рядом с членом киргизской делегации. Мы по алфавиту рядом и вообще. Так он за ужином в отеле напился от счастья. Все подсчитал уже во время докладов. И на ремонт хватит, и на мебель. Но дело не в деньгах. Хочу жить у моря. В стране с морем. Ты не хочешь?

— Да можно, — Андрей смотрел на полоску прибрежных огней.

— А я, прям, сильно хочу. Чтобы можно было в любой момент у моря оказаться. Сел на машину и раз, и вот оно.

— И что, тот киргиз? Вы переписываетесь?

— Ни с кем не переписываемся, я совсем ушел. Что я ему напишу?

— Что ушел жить у моря.

— Вот зря ты смеешься. — Мы уже неплохо выпили, и пора было возвращаться в корпус.

Снилась Африка. Низкорослые деревья — жалюзи, листьями вверх. Маревое взлетно-посадочной полосы на закате. Созвездие Южный крест. Я четко видел его во сне.

Но, когда утром открыл глаза, не мог вспомнить, как оно выглядело.

Ночь в районе Асок

Я много раз привозил своих туристов в этот темный переулочек Асока. Каждый раз пользовался своим преимуществом видеть все лица, стоя в проходе автобуса с микрофоном в руке. Лица людей, которым это интересно. Нормальные люди. В жизни без отклонений. Я понимаю их. Они просто не воспринимают тайцев людьми. И девочки эти для них — обезьянки, и об этих приключениях они пишут потом на форумах в Интернете: «Снял сегодня двух смазливых обезьянок» или «Развлекался сегодня с одной обезьянкой за двадцать пять долларов. Делала все».

Асок вымирает после шести вечера. Гаснут витрины первых этажей, многие наглухо закрываются вертикальными жалюзи. С наступлением темноты большинство тайцев укладывается спать, так что свет в окнах квартир — не везде. Прохожих здесь нет. Темнеют очертания эстакады вдоль дороги, но огней машин не видно за высоким бетонным ограждением.

Подхожу к предпоследнему ряду сидений, покачиваясь в такт движения автобуса.

Там у меня семья интеллигентных ленинградцев, мы вместе были вчера на сафари. Супруги в возрасте, с ними взрослый сын. Интеллигентный парень моего возраста. Всегда испытывал симпатию к питерцам и ленинградцам за это их качество.

Когда я рассказываю в микрофон скабрёзные подробности предстоящего шоу и украинцы на передних местах смеются и выпивают, эти трое напряженно сидят, опустив глаза. Как будто именно их заставят участвовать.

— Извините, может, мы вас завезем в ресторан по дороге, — выключаю микрофон. Туристы уже и так завелись. Смеются.

Женщина вспыхивает, как будто я сказал ей непристойность. Стройная, подтянутая. Но старость уже выпила из нее много. Одета не по-курортному. Не представляю их в местных майках с надписью, типа «Good guys go to heaven, bad guys go to Pattaya».

— Нет, спасибо, мы уже заплатили за экскурсию Лене, — с акцентом на Лену.

— Но Лена, — делаю паузу, — не объяснила вам подробностей?

Молчат.

— В любом случае, деньги не возвращаются. — Сажусь на свое место в первом ряду.

Не хочу сегодня проблем с туристами. Господи, насколько я уже разложился? Только деньги и проблемы. Вернее, их отсутствие. Отсутствие проблем меня интересует в последнее время.

Мы сворачиваем в темный переулочек. Неуклюжий с виду автобус виртуозно проходит между задницами такси и бетонным ограничителем. Справа темная многоярусная парковка, слева офисное здание. Строения этажей сорок высотой. Для меня — алматинца — первая мысль в таком месте: «а что если тряхнет?» Но здесь точно не тряхнет.

В конце переулка вход в подвал. Место это напоминает мне гонконгские боевики. В таких переулках банды обычно обменивают товар на деньги. Все здесь говорит о тайской конспирации. Особенно ярко-красная вывеска над входом в подвал. На ней, правда, не надпись, а мигающая желтая танцовщица из оракала. Шоу запрещены. Знают о них все, значит, знают и полицейские. Здесь каждый вечер собираются вереницы тук-туков. Парковка такси всегда забита, рядами стоят яркие автобусы самых известных туристических компаний. Они не помещаются в переулке, и обочины дороги красноречиво говорят о популярности заведения.

У входа длинноволосый хозяин с непроницаемым лицом. Высокий для тайца. Одет по-ковбойски. Суров. Олицетворяет собой невозвратность оплаченных клиентами денег. Мне даже не приходится ничего объяснять. Наша группа, переглядываясь, идет ко входу.

— Программа повторяется каждые полчаса. Без остановки. Поэтому встречаемся здесь в половине двенадцатого примерно.

— Инсайд не фото, но видео, — напутственно благословляет входящих хозяин. Несколько раз повторяю заученные правила. У меня тридцать человек. Бог знает, сколько там уже внутри. Других автобусов я не видел, но на парковке скучают шесть такси. Кивком здороваюсь с хозяином. Он улыбается мне. Он умеет и улыбаться.

Я спускаюсь вниз.

Круглая сцена покрыта зеленым сукном и неярко освещена. Луч света очерчивает ее границы. Он яркий, как в цирке. Вокруг на стульях вижу своих туристов попеременно с какими-то иностранцами. Зал почти полон. Накурено. Громкая быстрая музыка мешает не только говорить, но даже думать. На шесте вертится голая непривлекательная танцовщица.

Большинство таек с нормальными пропорциональными телами. Но в такое шоу идут только самые неперспективные для секс-индустрии.

Моим начинают разносить напитки. Я доволен.

Иду к барной стойке. Здороваюсь с девочками. Вызываю даже небольшую бурю восторга. Эта игра повторяется каждый раз, когда я сюда являюсь. Я знаком уже со всеми. Моему приходу искренне рады. Иногда мне неудобно перед туристами. Я понимаю, что они думают, видя меня в окружении голых улыбающихся девиц. Мне стыдно за это свое неудобство. Они ведь такие же люди, как и я, хоть и голые сейчас. Тайки как всегда навеселе. Фун, моя хорошая знакомая, приносит бутылочку кока-колы.

Я говорю: «Спасибо», — и улыбаюсь.

В прошлый раз она рассказала мне о своем парне в Твери. Он обещает за ней приехать. Внутри клуба все, кроме сидящих на стульях жадно пожирающих анатомию танцовщиц туристов, пританцовывают. Тайки разогреваются перед выходом на сцену. Бармен веселит сам себя. Невольно и я начинаю притопывать. Зеркальный шар под низким потолком создает ритмичное мельтешение, скрывая убогость оформления зала и тесноту подвального помещения.

Фун что-то пытается рассказать мне. У нас спокойные, ровные дружеские отношения. Познакомились мы на первом же шоу. После пяти посещений клуба я, наконец, перестал пялиться на ее половые органы в то время, когда она сидела на высоком барном стуле. Потом меня перестала интересовать и ее грудь, подпрыгивающая в такт музыке и приступам смеха. Осталось только лицо и плохой английский. Об этом парне в Твери я понял только с третьего раза. Выразил надежду, что он ее когда-нибудь увезет в Тверь. Но сразу поправился: «Лучше бы вам оставаться здесь».

Быстрая музыка сменилась популярной романтической мелодией. Свет приглушили. Не буду говорить, какая это мелодия. Хорошая. Я раньше такие любил. Но теперь многие западные медленные песни просто не могу слышать.

На сцене начался секс. Женщина с маленькой обвислой грудью пытается возбудить мужчину, закрывшего глаза, мучительно сжав веки. Физиология. Каждые полчаса. Вокруг из прокуренной темноты пятьдесят пар глаз. В конце концов у них все получится.

Ненавижу это скотство. Я немного знаком с обоими. Кока-кола допита. Фун на сцене. Выхожу на улицу. Мой гид болтает по сотке, сидя на бетонном парапете. Смеется в трубку.

Поднимаюсь в автобус. В предпоследнем ряду семья ленинградцев в полном составе. Помню их в зале. Сажусь на два ряда впереди. Наступает неловкая тишина. Я закрываю глаза. Мне приятно. Эта неловкость устроена мной.

Минут через десять в автобус группками начинают возвращаться туристы.

Чувствую тяжелую руку на своем плече и открываю глаза.

Мужик из Украины. Я помню, как заселял его, утомленного перелетом, в гостиницу этим утром. Детишки спали, сидя на чемодане, свесив головы, пока мы заполняли формальности.

Улыбается.

— Ну и повезло же тебе с работой!

— Да.

— Таиланд — это вообще другая планета! Ну и повезло же тебе!

— Нет, не другая. — Кажется, выпадаю из роли. Но хочется иногда с кем-то поговорить. Пересаживаюсь к окну, уступая ему место рядом.

Два сильных удара по стеклу с той стороны. Мужчина и девушка из нашей группы. Прилетели вместе. Не знаю, кто они друг другу. Не было времени решить. Стучал мужчина. Девушка артистично жестикулирует. На ней белая майка.

Объясняет, что они остаются. Машу им на прощание рукой.

Украинец уже сидит на заднем диване. Пьет энергетический коктейль из тонкой бутылочки. Рывок и скрип.

Автобус трогается задом.

Прага 11

В Праге мне постоянно хотелось пива. Оно здесь очень вкусное. Особенно темное, которое у нас или слишком дорогое баночное, или разливное местное.

А вкусное именно разливное темное чешское пиво.

На Староместской площади царит космополитизм — в киосках, которые вы почему-то называете палатками, продается все что угодно в такую холодную погоду в таком удивительном месте. Сувениры, национальные головные уборы, которые можно приравнять к сувенирам. Шашлыки из всех видов мяса. Трдело — традиционные вертушки из слоеного теста.

Горячее вино — но не глинтвейн, с пряностями, а в чистом виде. Сварняк, так его называют чехи.

Чешским языком можно сказать такие вещи, которые русским никак не скажешь. По крайней мере кратко не скажешь. Сварняк, зеленина (это овощи), много. Я сейчас все не вспомню.

В Карловых Варах (это городок почти в ста километрах от Праги) есть место, скала, возвышающаяся над городом. По легенде, именно с нее сперва спрыгнул в источник олень, спасавшийся от Карла, а за ним и сам Карл, распаленный охотничьим азартом. Карл оценил целебность источников, в благодарность установив на скале памятник оленю. Место, конечно, называли Олений скак. Вот вроде ясно как это, олений скак, и логика есть. А по-русски так не скажешь.

Засуетились какие-то укутанные азиаты — возможно, японские туристы, стоявшие под высоченной готической башней. Там что-то происходило с часами. Кажется, все святые проходили чередой после того, как чертик покачает вилами. Красивые часы с какими-то астрономическими устройствами. Время по ним определить очень сложно, детали все время отвлекают.

Освободилось мое место у ларька с разливным пивом, и я попросил большой

пластиковый стакан темного. Несмотря на холод, всего градусов десять выше нуля. Просто очень хотелось пива.

Посредине площади, окруженная по всему периметру киосками, как повозками мятежных гуситов, возвышалась сцена. Музыканты, отстраивая аппаратуру, спели три песни на чешском. Хороший такой, правильный рок. Группа студентов, занимавшая не самую выгодную позицию к сцене, зато близко к ларьку со «сварняком», дружно зааплодировала.

У немолодого носатого вокалиста в бордовой рубашке не по погоде, щетинистого, были каплевидные полупрозрачные пластиковые очки с желтыми стеклами.

Мне было ясно, что рано или поздно он споет что-нибудь из Ю-ту. И первой же песней оказалась «Уан».

Со всех сторон начали подпевать. Ко второму куплету подошли оторвавшиеся от часов азиаты и влились в хор. По толпе пошла волна единения. На пять минут мы все почувствовали себя братьями и сестрами, любящими друг друга.

Слева, прямо от площади, начинался Йозефов с его еврейским кладбищем и синагогами, в которых неоднократно, за долгие годы сожительства города с евреями, происходило их избиение.

Но мы были уже в двадцатом веке, все это позади. Мы пели.

Я вспомнил, что мне нужно срочно возвращаться в отель. Я Соне обещал.

Ужасно, что все станции пражского метро одинаковые. Хотя я понимаю чехов, под землей они отдыхают от музейного великолепия, царящего на поверхности.

Погружаются в свою любимую атмосферу постмодернизма. Аккуратно, по толчке они насаждают его и сверху. Вспомнить хотя бы этих отвратительных бронзовых младенцев, ползающих по телебашне. Да и саму телебашню.

А меня интересует только старая Прага.

Чехи слишком к ней привыкли.

Побывали бы у нас.

Мой вагон шел полупустым. На какой-то станции с розоватым оттенком бублин-ков вошла группа студентов. Извините, бублинки — это по-чешски пузыри.

Выпуклые пузыри — неизменная деталь оформления каждой станции, кроме тех, что выходят на поверхность.

Прагу любила Цветаева. Но тогда еще не было метро.

Студенты, разместившиеся в противоположном конце вагона, начали говорить по-казахски. Громко, на весь вагон. На шала-казахском языке. Это значит — перемежая казахские слова русскими. В произвольном порядке. То глаголы русские, то существительные, то вставляли термины непереводимые, но обрусевшие. Но в основном, конечно, матерные.

Говорили о зачетах, о преподавателях. Я не слушал. Сидел с закрытыми глазами, прислонившись виском к стеклу, и думал о Соне. Пиво слегка мешало мне думать о ней.

Соня работает моделью. Вернее, она — модель. Работать можно сварщиком или учителем. Тогда вечером можно становиться кем-то еще. Кем-то домашним и простым в общении. А моделью работать нельзя. Ей нужно быть.

Казахские студенты продолжали разговаривать. Только открытие и закрытие дверей на станциях слегка приглушало их высокие голоса. Ни слова о родине.

На третьей станции часть компании вышла, попрощавшись по-русски с остальными.

Оставшиеся двое притихли. Я закрыл глаза и, когда открыл их снова, приехал на конечную станцию. Пива оказалось предательски много.

Проходя по перрону мимо студентов, я по-русски спросил время. Студенты

ответили: «Шесть вечера», — даже не удивившись. Чему удивляться? Я выглядел туристом. И даже не прятался. Не прикидывался местным. Озирался на улицах. Беззастенчиво разглядывал лица пассажиров метро. Покупал ненужные предметы.

Я спросил:

— А что это за станция, ребята?

— Конечная. Не помню, как называется. Мы отсюда в Вары поедem, — ответил один из них. С детским лицом и жидкими усиками.

— А что там, в Варах? — развязно спросил я, делая явное ударение на этом обжившемся «Вары».

— Апашка моя туда лечиться приехала. В Пуп. Знаете?

— Мы к ней, — нехотя ответил второй. С жидкими усиками.

— Нет, я в целом спрашиваю.

— В целом курорт там лечебный. Горы. Вас что интересует вообще?

— Пиво там есть? — спрашиваю.

Краем глаза наблюдаю, как второй тянет первого за рукав, мол, пошли отсюда.

Я тоже тянусь в попытке схватить его за рукав. Тайное предательство земляков почему-то возмущает меня.

— Отпустите руку, — говорит второй пацан.

— Может, с нами поедете? — пытается уладить ситуацию слегка дрожащим голосом.

«Что, размякли тут, на чужбине», — думаю.

— По пути будет завод «Крушовице». Вам подойдет?

Я подумал. Идея хорошая.

Каким-то образом мы сели в автобус. О чем-то говорили на станции в его ожидании. О чем — не помню. Так же, как и факта покупки мною билета. Но в автобусе мне стало лучше. Оказалось, что мы уже на ты и по именам. Они осведомлены о моем происхождении. Но сидят оба позади. Рядом со мной — никого. Автобус полупустой.

Мне снова ничего не остается, как прислонить голову к стеклу.

За окном — вечерний пражский пригород. Безликие блочные дома. В первых этажах стеклянные магазинчики. Наконец, я уехал из этой сказки. Запотевшее автобусное стекло размывает стоп-сигналы легковых машин до сюрреалистичных красных пятен. Покидая город, мы проезжаем мимо огромной пробки, скопившейся на выезде из города.

Мимо!

Наша полоса — только для автобусов. Это понимают все. Удивительная страна.

Я бы, наверное, смог здесь жить.

Только ближе к центру, конечно. Где-нибудь в Градчанах. В худшем случае в районе под названием Винограды. Название нравится.

Завод «Крушовице» оказался закрытыми железными воротами с узнаваемой эмблемой. В глубине двора темнели очертания аккуратных цехов. Людей я там не заметил.

Мы проехали слишком быстро.

На вокзале было холодно. Как у нас в горах. Я почти сразу потерял из вида студентов.

Ну и ладно. Я и так уже достаточно напряг их.

Послушно двинулся следом за потоком выгрузившихся.

Вокзал не впечатлял. Ничего курортного в нем не было. На улице люди разделились на два потока: те, что говорили по-чешски, двинулись по направлению к многоэтажным огням окон направо. На их пути угадывалась какая-то река, заключенная в бетон. И мост. Другой поток, изредка перекидывавшийся русскими словами, двинулся к многоэтажным огням слева, через дорогу.

Это было ближе и надежнее.

Я пошел за ними, стараясь выглядеть самостоятельно идущим к цели.

Улица, по которой я шел, была похожа на одну из пражских, только шире и ресторанов в первых этажах тут было побольше. Я подумал, ничего особенного.

Нужно запомнить обратную дорогу к вокзалу.

Русскоязычные быстро исчезли в переулках. Я оказался в одиночестве. Только за окнами ресторанов сияли лампы и довольные от пива и еды лица.

В основном — чешские. Чехи сильно от нас отличаются. Хоть и славяне. За спиной у них — длинное католическое прошлое. А это значит — порядки и порядок. Насаждать им коммунизм действительно было преступлением. Я понял это прямо в соборе Святого Витта, прогуливаясь мимо аккуратных надгробий древних чешских королей.

В соборе царило преклонение перед великим прошлым страны.

Во второй раз я понял это в автобусе, проезжая по свободной полосе мимо километровой автомобильной пробки.

Говорят, чехи не любят русских. Так говорят, естественно, русские. После пражской весны. После танков на улицах.

А любят ли кого-то русские?

Мне, например, все народы нравятся. Наверное, потому что я на четверть чуваш, на четверть поляк (терпеть не могу поляков), наполовину все-таки русский.

Паспорт у меня при этом казахстанский. Французы назовут меня казахом безо всякой задней мысли. А получи я каким-нибудь невероятным, конечно, способом французский паспорт, они скажут мне — брат. С гортанной р.

Б — г — ат. Хотя и не все.

Я, наконец, дошел по этому холоду до набережной какой-то реки и, сунув руки в карманы поглубже, двинулся по ее правому берегу. Здесь уже интереснее. Снова появились люди. Две русские женщины в шубах чинно прогуливались в свете витрин. Мужчина в тренировочном костюме вошел в дверь с надписью «Винарня».

Мелькнула мысль — не зайти ли?

Но хотелось посмотреть сам курорт, а с вином еще неизвестно во что это могло бы вылиться.

В общем, я зашел следом за ним.

Проведя в Карловых Варах почти два дня, я немного там увидел, откровенно говоря. Но зато многое понял. Понял эти роскошные гостиницы.

В них отражение нашей тоски по роскоши, подавляемой где-то глубоко внутри все эти советские годы. Роскоши напоказ.

Понял людей, ведущих борьбу со своими недугами в этих шикарных декорациях.

Молча, сосредоточенно бродивших тропинками, названными в честь великих, в том числе и великих русских.

Часто имя этого деятеля можно было найти и на аккуратной надгробной табличке, приделанной к основанию горы на границе города.

Табличек таких я нашел немало.

Даже решил, что великие специально съезжались проводить свои последние дни в этом тихом, торжественном в своем унынии месте.

Чехи стараются держаться подальше от туристической зоны курорта. Исключение составляют только те, которым приходится здесь работать. То есть давно бывшие наши. Это я тоже понял.

Попробовав воды из одного из источников, все для меня вдруг окончательно сложилось в единую стройную картинку.

Карловы Вары и есть ад.

Здесь есть все пороки человечества. Азарт, блуд, алчность, роскошь, старость. Есть сероводород.

Может быть, так действовало вино.

На второй день я оттуда уехал. Вернулся в Прагу. Никаких сожалений не осталось.

Я вообще не помню, как я оттуда уехал. Как ехал всю ночь расстояние в шестьдесят километров.

Только в отель я вернулся под утро. Заспанный ресепшионист протянул мне ключи и записку. Она была написана в жанре телеграммы:

Сволочь. Ненавижу. Прощай. Завтра буду весь день занята. Целую.

Поднявшись в номер, я осознал записку и почти сразу затем уснул.

Девушка с обочины Сукумвита

Девушку звали Марина. Имя придумал папа. У Марины забрали билет и паспорт для оформления виза экстеншн. По прилете визу дают всего на пятнадцать дней. Марина стояла на обочине улицы Сукумвит, оживленной только потоком машин и мотоциклов. По обочинам никто не ходил. Был жаркий полдень, который начался после жаркого утра и закончится душным вечером.

Марина стояла у обочины, тротуаров у Сукумвита нет. Летнее платье, купленное в Новосибирске, было неприятно влажным. Она не попадала под дождь и, извините, не вспотела. Платье намокло прямо из воздуха.

Марина ждала автобус.

Туристический, принадлежащий одной известной компании, следующий на экскурсии. Он должен был быть здесь уже полчаса назад. Потом Марина поймет и привыкнет к тому, что полчаса в Таиланде это ничто. Так, мгновение, почти ни насколько не приближающее нас к вечности. Стоит, нервничает, боится, что попала в рабство.

Что папа был прав, паспорт с билетом отобрали неспроста, их уже не вернут. Она всю жизнь будет ходить среди этих странных азиатских людей, занятых только собой. Изнуряющее солнце и бьющий в нос запах неизвестных цветов будут преследовать и мучить ее.

Что домом навсегда останется комната с кафельным полом и неплотно закрывающимся пыльным окном, пропускающим звуки куражей ночных мотоциклистов. Что гул кондиционера сведет ее с ума или доведет до глухоты.

Что душ и туалет в одном лице это нормально. Что ей никогда больше не суждено сесть на унитаз.

За спиной — офис. Тот самый, с которым она разговаривала месяц назад и, получив подтверждение на приезд, с гордостью провожалась с подругами в одном небольшом новосибирском кафе. Трудно было поверить, что где-то сейчас, в октябре месяце, могло не быть снега.

Сзади за ней лениво наблюдала собака. Почти у каждого парадного входа тайского здания здесь, в Паттайе, с каждой стороны по гипсовому бачку. Там живут яркие бойцовые рыбки, никому не показывая неоновой красоты. Они ловят солнце с поверхности своей воды по полчаса каждое утро и вечер. За это время вода в бачке не успевает сильно нагреться. Бетонные козырьки зданий делают ее комфортной для жизни рыб.

Местные собаки это хорошо знают.

Собака по имени Шашлык наблюдает за Мариной сидя по шею в бачке, наслаждаясь прохладой. Позади серый бетон здания. Паттайя, ее жилая и рабочая часть, состоит из однотипных двух-, иногда трехэтажных зданий. Первые этажи занимают офисы, магазины или забегаловки. Над ними неухоженные тесные балконы (никто не смотрит выше вывесок), на которых обычно хранится барахло. Плоские крыши с уклоном вперед из серого шифера. Если можно дать название этому городу в чешском стиле, по аналогии с Злата Прагой, получится Сера Патая. Но это днем. Ночью город сверкает.

В самый первый раз Марине было странно разуваться у дверей офиса. Странно, что офисом служил первый этаж дома хозяев фирмы. Что сын хозяев спускался в трусах и в майке, время от времени жуя банан, и проводил краткий аудит, обходя рабочие места и почесывая толстый живот.

Марина опасалась, что те бананы, которыми их угощал хозяин, чем-нибудь отравлены. Чем-то, что заставляет остальных русских сотрудников фирмы улыбаться и получать от всего этого горячего и влажного ада удовольствие. Марина плакала ночью на незнакомой твердой постели, но из-за уличного шума никто этого не слышал.

Подошел бордовый автобус. Дверь на ходу приоткрылась, и недовольная тайка квадратного телосложения в джинсовой синей рубашке и брюках подала ей руку.

Внутри Марина, в своем курортном платье, перестала отличаться от сидящих в креслах туристов.

Выделялась только высокая девушка, старший гид в темных очках. На запястьях у нее повязаны разноцветные буддийские веревочки. Ровный загар прикрывала кофточка с длинными рукавами.

Марина села во втором ряду, там ей оставили свободное место.

— Привет. Марина, да?

— Привет. Я позавчера прилетела.

— Я Хелен.

В руке у Хелен микрофон.

— Сиди, слушай и запоминай. Завтра сама поедешь.

— А можно записывать? У меня записная книжка.

— Выкинь. Никаких документов. Полиция найдет — крышка. Депортируют.

У Марины появилась надежда.

— За что?

— У тебя виза туристическая.

Марина немного остыла от кондиционера и увлеклась рассказом этой Хелен о том, какие бывают на свете крокодилы. Параллельно она смотрела в большое окно на пальмы и жирных туристов в шортах. Это отвлекало от грустных мыслей о предстоящих хлопотах с депортацией.

На следующий день ее отправили на крокодилов с группой в тридцать человек. Потом были острова, потом трансвеститы. Времени думать о рабстве совсем не осталось. Паттайя ей не нравилась. Здесь было куда сходить вечером, были подруги, друзья — симпатичные парни из клуба дайверов. Но город сильно портили туристы.

Через год мы с Хелен сидели на Као Сан Род в маленьком бангкокском кафе, образованном узкой нишей двух бетонных зданий. Места хватало одному пластиковому столику и проходу вдоль стены. Музыку слушали из соседнего кафе. Гидам нравилось это место. Здесь подавали интересные коктейли. Авторские.

У Хелен зазвонила сотка. Туристы, конечно. В одиннадцать вечера наши офисные тайцы уже спят. Я обернулся и увидел у входа в кафе загорелую девушку в топике и джинсах с низкой талией, считающихся пискom моды у таек. Она помахала мне рукой, сжимавшей телефон. Я уступил ей свое место.

— Привет. Молодец, что вырвалась.

— Возила випов на королевский и решила остаться в Бангкоке. Завтра вроде выходной.

Я облокотился на стену, и это оказалось неожиданно удобно.

Хелен закончила разговор и обрадовалась так, что тайцы за соседним столиком оглянулись, а официант начал пробираться к нам.

— Маринка!!! Бл-и-ин!

Девчонки расцеловались через стол. Марина попросила «Манхеттен».

— Ну, как твои сегодняшние випы?

— Душечки. Строили из себя аристократию, ничего не просили. Дочь их один раз воды только попросила. Отдохнула с ними.

Мы не любили туристов, но разговаривали в основном только о них.

Я давно не видел обеих девчонок. Только на экскурсиях здоровались бегом.

— Марин, помнишь Аютайю?

Мы рассмеялись. Принесли «Манхеттен». Хелен тоже смеялась, знала эту историю.

Мы с Мариной возили группу в Аютайю. Хозяин ресторанчика, в котором у нас был включен обед, решил удивить русских туристов, гостей редких в таком удаленном от пляжа месте.

Помню, как я обалдел от сервировки стола, когда мы вошли в ресторан. Три круглых блюда с вареными, раскрытыми книжкой речными рыбами исходили дымком посреди стола. Теми самыми, о непригодности которых в пищу даже для тайцев Марина всю дорогу на теплоходе рассказывала нашим туристам.

По краям стола красовались два блюда с нарезанным белым хлебом. Вот это действительно сюрприз. Хозяин топтался в ожидании эффекта за моей спиной.

— Когда подавать масло? — Он решил меня окончательно добить своей осведомленностью.

— Что, — говорю, — какое масло?

Выплывает официант с глубоким блюдом, на котором в традициях пионерлагерей лежат затопленные водой кубики сливочного масла. Аккуратно так, деликатесно.

Мы сделали вид, что все в порядке. Туристы ничего и не заметили. История стала байкой. Одной из многих.

— Марин, я улетаю в понедельник.

— Ух, ты. Не знала. Когда назад? — Для нее это была новость. Хелен в курсе.

— Это вряд ли. Может, приеду к вам туристом.

— Давай, давай. А кто в Бангкоке у нас останется? — Марина уже пропиталась тайской беспечностью и способностью быстро забывать знакомцев. Жить здесь и сейчас. Веселиться с теми, кто сейчас. Веселиться.

Я боялся, что тоже успел. Страшно подумать, как давно я не звонил друзьям в Казахстан. Так, имейлы слал иногда.

— Хочу кое-что купить домой. Сувениры надо бы.

— В Паттайю приезжай, в Лукдод.

— Меня там стошнит от стразовых слоников.

— Ну, вези тогда зонтики, — Марина докончила свой коктейль.

— Или шелк, — подсказала Хелен, — возле королевского тебе обязаны подарить пачку!

Я часто приводил свои группы к знакомому торговцу шелковыми картинками и, попивая бесплатный кокос из трубочки, наблюдал, как турики заговариваются ими по пятикратной цене. Это идея!

Мы вышли из кафе втроем, но Хелен почти сразу извинилась. У нее выселение. Ночной рейс. Отель где-то в центре.

Као сан роад — уменьшенная копия знаменитой Паттайской Уокин-стрит. Только поделки здесь поинтереснее, местные иностранные хиппи, постоянные жители грязных гестхаусов, черпают фантазию в основном из травки. Несмотря на все запреты и угрозы властей.

— Посмотри, — сказала Марина, — тебе пойдет, примерь, — она указывала на выставленную в витрине домотканую рубашу без воротника. Под вешалкой с этой рубашой стояли высокие армейские шнурованные ботинки леопардовой расцветки.

— Ух ты, — говорю, — я же буду похож в ней на сектантского гуру, — а сам смотрю на эти ботинки.

— Зря! — Марина взяла меня под руку. Ее тайская фамильярность в обращении с друзьями-мужчинами ничего не значила. Местная привычка.

Мы остановились возле стенда — обитой черным бархатом рамы с укрепленными на ней скрепками фотографиями. Нас задевали локтями идущие мимо туристы. Улица была заполнена ими, как будто весь район вышел на демонстрацию.

Кафе с живой музыкой орали, перебивая друг друга. Над головой между вторыми этажами натянуты гирлянды разноцветных лампочек. Такие вешают на рождественских ярмарках.

Многие так и идут, с пивом в руке.

Внимание привлекли фотографии. Черно-белые развалины сожженных аютайских храмов. Но на их фоне вдруг монах в ярко-оранжевой тоге. Смотрит в камеру любопытными черными глазами. Фотошоп, конечно. Но находчиво.

Я полез за деньгами.

— Зачем тебе это, — сказала Марина. — Таиланд — это, как ты там сказал, — стразиковые слоники.

— Я — себе, — я протянул деньги, сто двадцать бат, что недешево, девушке, укутанной в индийский платок. Ее, кажется, морозило.

— Спасибо, — сказала она по-английски и добавила: — Возьмите еще одну. Просто так.

Я выбрал печального тайского мальчика. Портрет. Без достопримечательностей на заднем плане.

Станция метро «Кольцевая»

Бегу, бегу к ней по коридорам аэропорта. Мимо соотечественников. Плеер ускоряет мой шаг. Задеваю рюкзаком мужчину с портфелем, поворачивая к паспортному контролю. Снимаю наушники почти на ходу и упираюсь в очередь прилетевших раньше. Раньше четырех утра? Это ведь уже можно назвать позже. Голос с акцентом сообщает о том, что на подходе еще, по крайней мере, человек двести. Они уже на полосе.

Иностранец впереди не понимает английскую речь диктора, просит меня перевести русский повтор.

Придется постоять. Я снова надеваю наушники, но не включаю музыку. Не люблю, когда пристают с вопросами. Хочется купить сим-карту, которая там, за паспортным контролем, и выпить кофе в какой-нибудь уже открытой кофейне.

На самом деле мне некуда торопиться. Еще придется где-нибудь посидеть. Я знаю, что в пять утра в этом городе лучше не гулять по улицам.

Но я сознательно хочу избавиться от аэропорта. От противного послеполетного ощущения не своей кожи на лице. От всего этого процесса фильтрации. Я пройду сквозь сетку, я ускользну. Я мелкая рыбешка с голубым, безопасным паспортом. Меня даже не нужно метить визой, перед тем как выпустить в озеро.

Или море? Какое-то северное, с морозящим дождем, тусклым освещением, при котором не запоминаются лица.

Самое яркое место — метро. Здесь, правда, пахнет. Люди пихаются и бегут вниз по эскалатору, а потом стоят рядом с тобой в вагоне. Это фобия. У меня до такого не доходило, я всегда бываю здесь не дольше пяти дней. Я не люблю суровые северные моря, люблю южные. Южные моря любить легче.

— Говорите по-русски? — неожиданно спрашивает меня таможенный офицер. Хочется ответить.

Я киваю. И он кивает.

— Да, — говорю.

— Цель вашего визита? — У него волосы перепутанные и скатавшиеся. Короткая светлая прическа — как поле после бури.

— Деловая. — Жду вопросов.

— Проходите. — Зеленые глаза под цвет формы. В них никакого сна.

Ларек по продаже соток и сим-карт закрыт вертикальными серыми жалюзи. Зато напротив — кафе под серо-зеленым флагом. Это «Старбакс». Плюхаю рюкзак на вертящийся высокий стул и беру себе средний американо с молоком. «Средний» оказывается огромной кружкой. Понимаю, что выпью ее всю, и от этого в горле уже тошнота. От запаха и предчувствия кофе.

Рюкзак у меня небольшой, спортивный. Не хочу выглядеть приезжим. Здесь это может быть небезопасно.

Постоянно сохраняется равновесие троих. Баристо — девушка, на которой хорошо сидит униформа, она довольно высокая, с прической как у балерины и равнодушным выражением лица, но не равнодушным выражением глаз. Легко определить, кто из посетителей ей симпатичен, а кто — нет. Это никак не сказывается на качестве ее работы.

Я пристроился за высоким столиком у стеклянной стены на вертящемся стуле. Если появляется, катя чемодан, кто-нибудь третий, прежний третий собирается и уходит. Так — уже час.

Мне начинает казаться, что вся одежда пахнет кофе, и это становится невыносимым. К тому же в кафе уже пять минут, как читает газету четвертый.

После меня на столе остается мокрый светло-коричневый круг на проспекте кофейни.

Оказывается, дальше по коридору — приоткрытые на метр от пола жалюзи конкурирующего сотового оператора. Оттуда, из метровой щели, льется яркий свет. Я стучусь аккуратно, при этом жутко трясется весь занавес-жалюзи. Чья-то рука открывает его еще на полметра.

Почему не доверху?

Я делаю дружественное выражение лица, немного наклоняю голову вправо, чтобы пройти внутрь с достоинством.

Продавец — молодчина. Пускает меня внутрь. Мы еще долго заполняем бумаги. Все не так просто. Понимаю. Копия моего паспорта теперь будет храниться в этом месте.

Вагон скоростного поезда из аэропорта в центр тоже ярко освещен. Людям в этом городе не хватает света. У нас в Алматы, следуя моде, открыли несколько соляриев. Почти все они уже прогорели.

В окно вагона даже не хочется смотреть. Лучше бы дотянули до аэропорта метро, ей-богу, что ли.

Теперь мой телефон свободно и недорого способен позвонить домой, но там все уже заняты. Отправляю Соне первое SMS.

Мы уже обо всем договорились. Где и как встретиться. Не договорились во сколько. Она здесь со вчерашнего дня. У нее планы. Но обещала освободиться пораньше.

Ехать полчаса.

В конце вагона реклама на экране сменяется зелеными цифрами часов. У нас проверяют билеты.

Пять сорок пять утра. Будет ли она рада звонку в такое время? Будет ли она рада моему звонку в такое время?

Долго идут гудки.

За окном, наконец, совсем темно — какие-то задворки парковок. Стук отчетливо гулкий. С паузами.

Поезд никуда не торопится.

— Привет! — Я понял, что слышу собственное эхо — Привет!

— О, привет! — этты? Уже здесь? — Голос сонный, тянучий.

— Ты еще спишь, соня моя!

— Я — не соня! Ты посмотри, сколько время! Бессовестный! — Голос просыпается. По межгороду было слышно лучше.

— Во сколько? Давай я к тебе приеду? — Я боюсь, что связь прервется совсем.

— Ко мне нельзя, я в гостях. Давай, я скоро проснусь и позвоню тебе! У тебя есть дела?

— А где же мы...? — Хочу продолжить, но не успеваю. Смех. Я поднимаю ей настроение.

— Снимем номер в гостинице. Может, ты пока снимешь номер? — туннель обрывает голос в фон и далекие гудки. Мы сливаемся с метро.

Хорошо — это мое второе SMS.

Все сбилось. Я представляю себе гостиницу, теплую, полураздетую девушку в дверях.

Нет, в гости я не пойду. Да и не зовут. В гостях чувствуешь себя более приезжим, чем в гостинице. Еще я буду очень стесняться, делая всем неловко. Дотянуться и взять с полки чью-то чашку. Искать взглядом, чью. Чужие тапки на ногах.

Да она и не зовет. Значит, такие гости.

Зря мы говорили так долго по телефону. Так много уже предварительно сказали, подняли со дна все воспоминания. Неужели будет только гостиница? Мне бы этого очень не хотелось. Я не за этим ехал.

На коленях у меня лежала раскрытая карта метро. Пришлось сложить и спрятать перед выходом из вагона.

Понятия не имею, где тут рядом гостиницы. Да и почему рядом? Я выключил плеер, чтобы сосредоточиться получше. Эскалатор проехал мимо знакомого рекламного баннера. Она тут только появилась? Отстают ребята.

Легкий железнодорожный запах в метро этого города легким только кажется. Он глушит запахи всех моих соседей по эскалатору.

Вылезу на поверхность в центре. Судя по количеству народа здесь, в метро, наверху уже должны работать магазины и кафе. Уже очень хочется позавтракать. На платформе, ненадолго задержавшись у схемы, быстрым движением глаз запоминаю название центральной станции. Рядом со мной двое изучают складную схему, неудобно развернув ее к фонарю. Не хочу быть на них похожим. Я — свой.

Мне ехать-то пять станций.

Меня спрашивают: где тут станция метро «Кольцевая»?

Пытаюсь объяснить принцип схемы по карте, все время выскользающей из трясущихся рук. Это невозможно. Поток выходящих и одновременно входящих пассажиров разлучает нас.

Гул нарастает, гул стихает. Станция. На пике разгона свет пытается вырваться из лампочки. Соседнее кресло воняет. Оно намочено. Я становлюсь справа от двери. Пассажиров немного, все они чужие друг другу, но кто-то говорит по телефону, кто-то просто рассматривает в нем фотографии, значит, есть в этом городе и родные люди. Но здесь только чужие, а мне чужие вдвойне. Хоть бы зашла какая-нибудь влюбленная парочка и согрела вагон.

Нет. Северный народ. Не согретый солнцем. Под землей у них светлее, чем снаружи.

Вьетнамцы вот — в солнечном городе, у них нет метро. Зато есть тоннели, по которым они прятались несколько лет войны, и это отсутствие света, я уверен, было для них тяжелее и невыносимее пуга. У тайцев есть метро, но только потому, что это эстетично, — оно у них над землей — монорельсовое, похожее на экскурсионный поезд для осмотра достопримечательностей. Подземное тоже есть. Для иностранцев в основном.

Я поднялся каскадом эскалаторов туда, где ветер выбрасывал наружу пассажиров, превращая их в пешеходов.

На поверхности туман. Стоя на одном краю центральной площади города, я не вижу другого.

Вот-вот пойдет снег или, может быть, какая-нибудь другая мерзость.

Я на площади — это было мое третье SMS. Глупое, всего лишь из желания получить хоть какой-то ответ.

Ответа нет.

Нужно найти интернет-кафе. Я обошел мощеными улицами небольшой круг в два квартала вправо от площади. Людей повстречал совсем мало. Они выплывали из тумана по одному. Одна женщина, один мужчина, один полицейский. Но он стоял на углу, это я на него выплыл. Потом пришлось сделать круг в четыре квартала влево.

Пошел мелкий дождь, я жался к витринам и козырькам домов. Попалось одно интернет-кафе, но оно было закрыто. Еще нет и десяти утра, а я уже немного устал, немного промок и проголодался. Позавтракал у вагончика с козырьком. Съел хот-дог с кока-колой.

Это из-за того, что в центре любого города дорогие рестораны.

Ел не спеша. В десять открыли интернет-кафе, и я стал первым посетителем полутемного подвала с барной стойкой, прикрывающей выкрашенные в зеленый цвет толстые сливные трубы. Я забронировал и оплатил карточкой гостиницу за пятнад-

цать минут и еще десять ждал свой чай с круассаном. Назавтра мой рейс был вечерним. Я зашел на сайт авиакомпании. Можно было выбрать место уже сейчас. А можно и поменять рейс на утренний? А что? Что я буду делать в этом городе целый завтрашний день?

В метро кататься, прячась от моросящего дождя? Я не выпиваю перед перелетом. Нельзя расслабляться в чужих северных городах.

Гостиница трехзвездочная. В тихом, доступном по цене районе. Как и в прошлый раз, когда это совершенно не имело значения. Теперь имеет. Для меня. Я повзрослел. Но хотелось все повторить. Я даже подсознательно искал похожее название, но не нашел.

Готово — быстрого ответа я не ждал.

Соня позвонила сама. Я так обрадовался, что забыл заплатить за Интернет, выходя из кафе, и не сразу понял, чего требует от меня бармен. Потом понял и, прижав телефон к уху плечом, заплатил. Говорила Соня. До четырех занята. Очень жалеет. В четыре увидимся в гостях. SMS поняла. Целует, хочет и ждет не дождется.

Пришлось полдня шататься по музею.

В гости я пришел вовремя, опоздав на двадцать минут. Долго искал дом. Мне открыл парень в коричневой полосатой кофте с бутылкой пива в руке. Даже не спросил, кто я. Обувь гостей в беспорядке брошена на коврик при входе. Пар десять на первый взгляд. Общество достаточно демократичное, подумал я расшнуровываясь. Там, в зале, уже кто-то громко предлагал всем угощаться корейскими конфетами «Тузик». Несколько голосов засмеялись. Шутку повторили три раза.

Все сидели прямо на полу на каких-то подушках и ковриках. Вокруг матраса, замаскированного под стол. В коридоре были еще боковые комнаты. В них соседи закрылись от шума.

Парни были все одинаковые, худенькие, не старше двадцати на вид. Все в джинсах и кофтах. В черных носках. Когда я знакомлюсь больше, чем с тремя, имен не запоминаю. Слишком много эмоциональных усилий уходит на рукопожатия через стол. Трудно сосредоточиться. Девушки все были разные.

Соня оказалась напротив меня, но я пролез, извиняясь, стараясь никому не наступить на ноги. Сел рядом с ней.

За столом шел оживленный разговор, и я немного наклонился вперед, как бы уже участвуя. Слушали девчонку с того конца стола. Она рассказывала фильм, а все следили за бокалом в ее руке, наполовину заполненным вином.

Мы просто сидели рядом, двое из десятих. Храня свое молчание. Постепенно им заразился весь стол. Я был чужим, Соня была своей. От меня или от нее чего-то ждали.

— Симпатичная квартира, — говорю, — мне у вас нравится, — я пожал плечами. Действительно неплохо. Фразу про хорошую компанию оставил про запас. В ответ мне налили вина.

— Я не буду, спасибо, — говорю.

— Вы больны? — спросила меня девушка из-под торшера. Вся в черном. Свет лампы делал ее совсем тенью.

— Мне нравится вино, — говорю, — не хочу просто. — Соня посмотрела на меня. Своим молчанием перед компанией она уже выставила меня чуть ли не женихом. На меня же давила пошлость идеи с гостиницей.

— Никогда не видела такого тяжелого шара, — сказала моя соседка в синей кофточке. Она держала в руке каменный полированный малахит сферической фор-

мы. Его тут же отобрал у нее парень, кажется, Игорь. Совсем короткая стрижка-ежик не придавала ему спортивности. Форма черепа — интеллигента.

— У меня еще один под ногами, и вот еще один. — Синенькая девушка подняла себе новый. Хозяин никак этого не откомментировал. Я не мог понять, кто же хозяин. Одни гости.

После этих шаров все расслабились и заговорили, бросив обращать на нас внимание. Рядом чокнулись, никого не приглашая. Сказав что-то смешное, двое парней и девушек поднялись со своих мест покурить.

Из-под торшера потребовали поиграть в слова, обращаясь к нам с Соней. Мне было неловко, что она молчала. В переписке она такой не была. Я, конечно, не ждал, что она будет какой-нибудь распушенной, бросившись целоваться у входа.

Зря это все затеялось. Так было хорошо на расстоянии. Я выпил вина залпом. Не теплая, как я ждал, а удушливая волна прошла снизу вверх от вина, смешанного с разочарованием.

Есть за столом было нечего. Но я взял тарелку и положил Соне какой-то салат, протянул ей, соприкоснувшись рукавом с бокалом, шатнувшимся, но устоявшим. Она напряженно улыбнулась и отвергла тарелку.

Тогда я встал и, не прощаясь, вышел из подъезда.

Не надо было вообще сюда приезжать. Проклятый город. Я проверил в кармане билет.

Подышал на улице минут пятнадцать. Было светло, но свет этот уже заканчивался. Женщина с пакетом прошла мимо. Мы еле разминулись в подворотне.

Зачем мы это все придумали? Я злился на себя, но больше на Соню. Перестал злиться, только когда она обняла меня. Уже в такси.

Когда подъехали, я отдал ей ключ, сам зашел купить еды и чего-нибудь выпить. Дурное ощущение нереальности. Игры.

Мы поели. Выпили. Соня расстегнула мою серую рубашку. Аккуратно. Пуговица за пуговицей.

Мы не разговаривали, только издавали звуки, не стесняясь. Вино отупляло, не давая желаемой яркости ощущений. Я думал, медленно двигаясь — «Зачем я пил? Не собирался же».

— Хино, хино. — Застонала Соня и упала вперед, на высокую подушку, отпустив меня.

Лицом в подушку. Так и осталась лежать, тяжело дыша. Сжимая подушку руками. Я стоял на коленях посреди постели, голый, опустив ненужные руки, глядя на ее спину.

Потом поднялся с кровати и принял душ.

Пришлось залезть внутрь холодной пожелтевшей ванны. Плотные струи воды, наконец, растворили самолетную сухость кожи.

«Регистрация на международные рейсы начинается за три часа», — подумал я, роняя мыло за ванну.

Горная корова

История горной коровы — совершенно особый, уникальный случай. Ее судьба, то есть в результате ее судьбы появилась история. Корова легла в основу описанного случая.

Мы просто «лежали». Паша своим менторским тоном мешал вождению.

— Давай остановимся. — Алена первая увидела подходящее место.

— Надо руки помыть. Тут к речке удобный спуск. — Мне было неприятно сидеть с грязными руками. Почему мы не догадались сразу умыться и отряхнуться. Попрощались, сели в машину и уехали.

Съехав с разбитой дороги на ровную обочину, машина остановилась. Все вышли и замолчали, оставив в салоне Пашины шутки.

Все, кто участвовал, пошли мыться к речке. Я раздвинул для этого ветки дикой

яблони рукавами, защитив лицо от гибких весенних прутьев. Под деревом еще и снег не сошел. Он обрамлял основание ствола, как прошлогодняя пыльная вата пластиковую елку. Под снегом оторванные сучья, свалывшееся месиво листьев. Выглядывает край засохшей коровьей лепешки. Мы аккуратно обходим его. За мной с серьезными лицами следуют Паша и Виктор. Алена и Рената остались охранять машину.

На берегу реки — остатки затаившегося февральского холода, тихо умирающего, лежа на камне. Сажусь на корточки и пытаюсь одновременно дотянуться ладонями до воды и устоять ногами на скользкой поверхности. То же самое делает Паша справа от меня. Виктора не вижу, он спустился чуть ниже по течению, скрывшись за кустом. Кричит нам оттуда. Кажется, нашел самый удобный спуск к воде.

Речка горная, широкая. Я слышал, что летом здесь занимаются рафтингом. Вполне возможно. Вон те, крупные камни, торчащие посреди течения, вполне могут сойти за пороги.

Ладони ломит от холодной воды. Хорошо, что я в коричневой куртке и догадался пристегнуть подклад.

Паша мешает мне слушать реку. Что-то поет тому берегу низким голосом. Никогда не разберу что. Приходится прислушиваться сквозь шум. Речка широкая в этом месте. Мы ехали вдоль берега, пока спускались с плато минут сорок и там, за корявыми береговыми деревьями, она казалась узкой. Мы дважды пересекали ее по бетонным плитам — мостам пятиметровой ширины. На две легковые машины.

Значит, здесь должно быть мелко. Тот берег пологий и пустынный. Совсем другой отсюда. Там только кусты, деревьев нет. Я обламываю ледовую корочку с камня, на котором неудобно сижу на корточках. Здесь хорошо фотографировать макросъемкой. Может получится пейзаж под названием «Весна идет». Оригинальный рисунок для рабочего стола.

Я отпускаю корочку в воду, и она становится там невидимой. Может, вода ее сразу растворяет. Я ничего не чувствую в руке. Она околела. Лучи солнца бегают по бурной поверхности реки, как по чешуе только что выловленной, извивающейся форели.

Мы возвращаемся. Машина стоит с раскрытыми дверями, похожая на атакующую Гусыню. Девчонки ее проветривали.

Здесь уже широкое место. Мы выехали из Тургеня. Позади остался серпантин разбитой дороги, по которому Виктору пришлось тяжело за рулем. Скалистый край настоящей горы, начинавшийся сразу от обочины, спихивающей мелкие камни на асфальт в качестве предупреждения. Длинные аллеи кривоватых горных деревьев над дорогой. Мне нравятся эти места, особенно осенью, когда горы разноцветные. Весной я здесь в первый раз. В будние дни в Тургене бывает мало народа. Далеко от города.

Там, откуда мы спустились, ущелье раздваивается. Одна дорога ведет на плато Ассы. Оттуда хорошо видны снежные дальние горы.

Вторая ведет в небольшое ущелье Чин-Тургень. Там у нас растут чин-тургенские моховые ельники. Даже табличка есть. В общем, темный лес на склоне горы, кое-где мох.

Рассадник клещей. Никто туда не ходит.

Двадцать минут назад нас попросили помочь. Грузовик с деревянным кузовом вез исхудавшую после зимы корову. Въехал колесом в яму, и нога коровы оказалась в капкане. В щели между двух досок. Копыто и часть ноги в крови нелепо торчали сбоку. Корова отчаянно мычала.

Мы остановились. Никто нас не просил останавливаться. Просто грузовик стоял посреди дороги, преграждая путь. Когда мы подошли ближе, шофер грузовика, маленький, со сморщенным лицом, матюгами утешая корову, предпринимал нелепые попытки выволить ее ногу. Он пытался оторвать нижнюю часть борта кузова. Ту, до которой доставал, стараясь устоять, балансируя на заднем колесе. На нем были кроссовки и спортивный костюм фиолетового цвета. Поверх костюма серый пиджак,

с разрывом на правом локте. На голове кепка. Мы встали поодаль. Корова мычала, трясла головой.

Мы предложили ему свою помощь. Мужчина прыгнул с колеса, подошел и пожал мне руку.

Виктор стал нами распоряжаться. Девушки негодились. Я полез в кузов, как человек имевший опыт общения с коровами. Начал тянуть пострадавшую за морду, стараясь отвлечь. Виктор и Паша, встав с разных сторон на заднее колесо грузовика, пытались аккуратно высвободить коровью ногу. Корова понимала, что мы хотим ей помочь, перестала мычать. Наконец, нога вылезла.

Куртка Виктора запачкалась коровьей кровью. Мы отряхивались.

— Надо бы ей ногу перевязать. Кровь идет. — Я посмотрел на свои ладони.

— До поселка полчаса. — Шофер махнул рукой.

— У вас там ветеринар живет? — спросила Алена.

— На мясо. — Он сглатывал маты в конце фраз. При дамах.

— Какое ж мясо? Одни кости. — Паша посмотрел на корову, которая, прихрамывая, ходила по кузову, отчего грузовик скрипел.

— Горная корова. На горе зимовала. — Шофер дал нам проехать, откатившись задним ходом.

Мы некоторое время спускались по ущелью молча.

— Будешь писать про свою чувашскую деревню — используй, — сказала Рената.

Я смотрел в окно. Мы как раз проезжали пробел между деревьями, и хорошо видна была речка.

Потом Паша вдруг заговорил менторским тоном.

Казбек

— Ого, вы живете в горах, — скажет утром человек из аэропорта.

— Нет, вернее будет — мы живем ввиду гор.

С постоянной возможностью в голове съездить туда. Но выбираемся редко. А еще, не знаю, как это у других алматинцев, а я держу их на запасной случай. В смысле: вдруг что-то случится. Что-нибудь нехорошее. Тогда можно будет уйти в горы.

Мы живем на фоне гор. В солнечную погоду вид наших гор похож на рисунок с пачки советских папирос марки «Казбек».

Доеду автобусом до дальних остановок. Выйду там вслед за мужчиной лет за семьдесят, собирателем трав с обвислым советским рюкзаком на спине.

Пойду в другую сторону. Когда такое случится, будет уже все равно, и я не пойду за ним вверх по дороге. По условно асфальтированной. Стоя рядом с серым бетонным каркасом остановки, я увижу, как начинается гора. Она начинается с арыка, который придется перелезть, зарослей ежевики, которые будет трудно преодолеть. Из окна автобуса я видел вершину этой горы. Этого холма, в сравнении с исполинами, стоящими за ним.

Нельзя сказать, что, глядя на горы, мы стремимся к вершинам, это просто смешно.

После автобуса — тишина. Вокруг меня — горы. Как разобранные матрешки. Рядом вокруг — заросшие кустами и мелкими деревьями холмы, довольно высокие. За ними горы, сплошь покрытые темными уже сейчас, днем, соснами. Они повыше и выглядывают из-за холмов. Именно из этих темных сосен на закате начинает показываться горный страх. Животный инстинкт боязни чащи леса. Если заглянуть и за эти горы, что не сложно, видны снежные красавцы, которые трудно спрятать. Треугольные пики. Сверкающие на солнце ледники. Темные скальные ущелья. Очень далеко отсюда. Но кажется — близко.

Глупо думать, что мы — горный народ.

Это не наши горы, в них просто уперлась степь, и мы живем на самом ее краю. Есть морские народы и народы, которые живут у моря.

Но горы дают больше шансов в случае чего.

Такой пейзаж, как на этой остановке, я однажды видел по телевизору. Показывали перуанский быт. Разбитые дороги, скелеты построек, люди, со страхом и любопытством пялящиеся в камеру. Женщины в мужских котелках, ветер. Капля моросящего дождя на объективе.

Сейчас никаких людей вокруг, я один. Лезу на холм, но уже устал. Отпустив тонкую ветку вниз, хватаюсь за ту, которая повыше. Иногда меня сопровождает хруст. Здесь могут быть змеи и клещи. Ничто, по сравнению с тем, от чего бегу я.

Дорога уже совсем внизу. Я встречаю на пути толстый удобный ствол. Он качается подо мной. Можно свесить ноги. Видно, как дорога заворачивает за край горы. Сейчас часа четыре, солнце уходит, мне нужно быстрее добраться до вершины, если хочу застать его там. Замираю, и вокруг возобновляются звуки. Ветер шелестит листьями, с каждым порывом отрывая по одному, иногда по два.

Птицы. Интимно жужжит возле уха горная пчела. Мои глаза видят город внизу. Мне никуда не уйти от него. Не так быстро, во всяком случае. Вот так вот у нас.

Из города видны горы. С горы виден город.

Приятно думать, что мы каждый праздник отмечаем в горах. И что вообще у нас есть праздник гор. Нет такого.

Мы боимся их. Оглядываемся.

Говорим — горы могут проснуться.

Значит, сейчас они спят. Может, набираются сил.

Я качаюсь на изогнутом удобном стволе. Мне уже не хочется подниматься даже на этот холм. Станет темно и страшно. Звуки сменяются совсем другими. Внизу замигают разноцветные глаза города, и мне захочется туда немедленно. Но это будет уже сложно.

Нужно возвращаться, пока автобусы возвращают людей с дальних остановок.

Думать, что у меня что-то случилось, значит, совсем меня не знать.

Я доезжаю до городского района. Он называется «Горный гигант». Здесь дышат свежим воздухом гор все иностранные посольства. Обернувшись, вижу, как солнце сползает лучами по леднику. Высоко, у подножия снежной вершины. Где-то там базовый лагерь альпинистов. Будка на склоне.

От меня пахнут горными травами. Эфедрой, может быть. Сзади джинсы уделаны землей. Вся штанина. В таком виде не хочется садиться в автобус.

Тепло. Август.

А в августе не принято торопиться. В городе — атмосфера приморского курорта. Многие уехали в отпуск, остальные расслабляются здесь, отдыхая от тех, кто уехал.

Хочется ходить по улицам. Так все и делают, и я люблю это.

Шведский стол

Закрываю глаза и вижу.

Я у входа в просторный зал со стеклянной стеной, вдоль которой стоят накрытые белоснежными скатертями столики. Столики выставлены так, чтобы большинство было с видом на город.

Не могу понять, правда, какой.

Верхушки деревьев маячат в окне. Значит, ресторан примерно на третьем этаже. Дальше крыши, крыши, окна таких же гостиничных ресторанов в стеклянных высотках.

Что-то отливает солнцем справа. Может, море? Или поверхность солнечной батареи на черепице. Город кажется умывшимся и почистившим зубы. Видимо, там недавно прошел дождь, которого я почему-то не слышал. Иначе открыл бы окно в

номере. И снова лег, включив телевизор на иностранном языке. Или просто слушал капли и голос просыпающегося города.

Подаю талончик на завтрак кланяющемуся официанту и вхожу внутрь.

Стиль завтрака — всегда белый и металлический. Я беру средних размеров тарелку. Начинаю задумчиво бродить и, стукаясь посудой, извиняться. Все заняты выбором. Мы в окружении шведского стола. В зале преобладает единственный запах, перебивающий все остальные, даже запахи духов пожилых леди.

Это запах утреннего вареного кофе. Музыка завтрака — звон вилок и харкающее шипение кофейных машин.

Я люблю бекон. Считаю, что все эти колбасные и мясные нарезки в холодном виде на подносах — украшение. В металлической откидной посудине с прожаренными до хруста полосками бекона попадаетесь вымоченный в жиру хлеб. Он бесподобен.

Однажды в Африке я встретил за завтраком в отеле шведа из какой-то делегации. Присел с ним рядом, а это вполне допускает этикет завтрака, и похвалил в его лице всю изобретательную нацию.

Оказалось, английское значение слова буфет не имеет ни намека на Швецию. Он раскрыл мне глаза.

Еще я обязательно беру безвкусный йогурт и добавляю туда ложку меда. Есть такие специальные пиалки под это дело. Они стоят рядом с тарелками. Много я на завтрак не ем, и мне странно видеть, как некоторые набирают здесь все подряд. Опускаются даже до китайских супов и шоколадных хлопьев с подогретым молоком.

Раньше я думал, что так завтракают шведы. Теперь не знаю.

Может, китайцы? Или американцы?

Я говорил об этом с американцами. Многие вообще не завтракают. Бегают вместо этого.

Официант наливает кофе. Это ритуал с белой салфеткой на согнутой в локте левой руке и поклоном. Кофе можно попросить еще.

Получается, никто у себя дома так не завтракает, кроме тех, кто живет в отелях?

Платить за завтрак не нужно, он всегда входит в стоимость проживания. Замечательно придумано. Я зову официанта.

— Еще кофе, пожалуйста.

Ольга Добрицына

Крестики-нолики

* * *

Здравствуй, прошлое надзирательство.
Здравствуй, пришедшая благодать.
Здравствуй, тихое помешательство,
позволяющее летать!

Здравствуй, ангел мой незадачливый,
неуклюжая моя речь.
Вышний, душу-перо оттачивай! —
Что бумагу твою беречь?

Здравствуй, радость моя воздушная,
окрыленная высотой!
Оболочка моя бэушная —
то ли прах, то ль сосуд пустой.

Как бы ни было, ясно — грешное
тело-дело найдет конец.
Здравствуй, небо мое поспешное.
Здравствуй, облачный мой венец.

* * *

Включить в ушах сирену
невыносимый вой
подушку втиснуть в стену
в подушку с головой
забиться по ключицы
забыться отключить
от силуэтов лица
и души отлучить
по образу сличая
по случаю влача

в ладони заключая
подобие ключа
клин клином вышибая
нести за дичью дичь
себя перебивая
пустить из горла клич
вскричать как склочный кочет
всклокочен и колюч
чтоб уловить: клокочет
сквозь вой Кастальский ключ.

Добрицына Ольга Николаевна — поэт, прозаик, художник. Родилась в 1962 г. Окончила художественно-графический ф-т Московского пединститута. Публикуется с 1982 г. Автор книги стихов «Росчерк света» (М., 2001), прозы «Роман несуществующего животного» (М., 2001) и др. Работает учителем в школе. В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Москве.

* * *

Господи! — Уйми меня.
Как ненужного ребенка,
что мешает под ногами
вечным ревом ни о чем...

Что мне сделать,
чтобы Ты
мне придумал наказание?
Может, яблоко в саду
мне сорвать,
забыв «нельзя»?!

* * *

Крестики-нолики — злая игра,
проигрыш не уследить...
Хочешь не хочешь — идешь со двора,
и начинаешь водить.
Воли небесной набраться? — изволь!
Свой не проспи Благовест.
Крест зачеркнешь — и прибавится ноль,
ноль — и прибавится крест.
Купол небесный разбился окрест,
падает в ноги земля.
Новорожденный младенческий перст
тянет воронка нуля.
Вот и очнулся, пора — не пора:
жить, и следить, и верстать.
Время пришло — идешь со двора,
и — начинаешь искать...
Свой золотой, свой предел, беспредел,
ключ, замыкание, провал.
Место, где можно блажить не у дел,
голос, который пропал.
Крестики-нолики, белая мгла,
Вдоволь всего и в обрез!
Только гудели бы колокола
В синие уши небес.

* * *

Солнечная нимфетка,
речки родной стажерка,
Рыбка-марионетка.
Удочка-дирижерка.

У водяной отчизны
не рыбаки, а черти!
Рядом граница жизни,
рядом граница смерти.

Можно ли — лишь отчасти
душу отдать влечению?

Как лупоглазо счастье —
радоваться течению!

Дышат водою поры.
Ах, золотые струйки!
Ряби речной узоры
словно твои чешуйки.

Рыбка моя, не бейся! —
вечная блажь кормушки.
Ты червячок, не вейся,
над головой подружки.

Этот крючок с наживкой
в хитром значке вопроса:
быть иль не быть — ошибкой
жареной на подносе?

Как же вкусны подвески! —
хочется, между делом,

ей невесомость лески
смерить весомым телом.

И не спасет от боли
сей — серебро кольчуги.
Вот и душа — на воле.
Вот и враги — как други...

* * *

Зима засыпает все исподволь хлопьями белыми.
И я засыпаю в ее безволии.
Счастье мое!
Может, и за пределами
Неба —
не будет более...

На пустяки и трагедии прошлое трачено,
Дольше ждать сил не было...
В снежном исходе будущее заначено,
Как свет бело!

По облакам и сугробам — в легкое никуда,
В изморозь вечности...
И не будет ни холода, ни суда.
Всем — прости.

Иева Толейките

Горчичный дом

Рассказ

С литовского. Перевод Георгия Ефремова

Я живу в многоэтажке горчичного цвета, и эту историю надо бы рассказывать при помощи механической печатной машинки и розовой плотной бумаги.

Возле нашего дома растут впятером липы, есть, наверное, и другие деревья, но сейчас навряд ли их назову — я мало что подмечаю. Столько лет не могла различить, какого цвета наш дом! Видела: много балконов, люди — порознь и группами, говорят, смеются, пьют вино, курят, порознь молчат, куда-то глядят, курят, просто молчат, много молчат, люди неторопливо пьют черный кофе и ждут. В июльскую пору дом обретал теплый розовый отсвет, а после дождей он казался грязным. В мареве над асфальтом пыль и пыльца прикипали к запотевающим стенам.

Я не умела найти слова для их цвета.

Мне двадцать лет, и я этим летом решила вернуться в Преряй. Преряй — такой крохотный городочек, его настоящее имя совсем другое, но, поскольку в детстве я читала кое-что об индейцах, — едва завидев коней на выгоне, я назвала городок «Преряй». А может, причина другая; но так мне казалось красивее. Луга и кони. Я верхом никогда не ездила, высоты боюсь, но всегда ходила за жеребьями, «жеребьята» было мое любимое слово, — я их кормила антоновкой и гладила бурые ласковые загривки. В Преряй жила моя тетка Веруника.

Я там не хотела бывать.

Это родители решили, что мне на пользу пожить у тети, на свежем воздухе, но я там себя ощущала совсем одиноко. Тетю я близко не знала. У нее был друг, Альберт, который, как говорила тетя Вероника, «пишет». Я не читала его сочинений, но тетя называла его великим писателем, на что сам Альберт с улыбкой говорил: *Вероника, ну не надо...* У него имелась рабочая комната с большим старинным столом — книги, полки и все такое. Он писал от руки.

В Преряй я проводила июль. Тетка не отличалась болтливостью, вот и я привыкла разговаривать мало и редко. Всеми владело странное настроение, *нет времени*, говорила тетка, *есть только времена года*. Мне казалось, я нашла путь в прошлое, где каждый сохранил на лице историю, ибо у малословных она не успевает стереться. Потому и казалось, что люди — это ходячие повествования, которые можно лишь попытаться предугадать.

Иева Толейките — родилась в Вильнюсе в 1989 г. Учится в Вильнюсском университете (датская филология). В 2008 г. окончила вильнюсскую среднюю школу Св. Христофора. Первый рассказ опубликовала будучи ученицей 12-го класса.

Как-то я спряталась у Альберта в рабочей комнате. Он два часа просидел на стуле, смотря в одну точку, потом несколько мгновений дремал, но, заслышав приближение Вероники, проснулся. Было чрезвычайно странно, когда на ее вопрос, как ему нынче пишется, он ответил, что замечательно и уже готова тридцать вторая глава. Вероника приторно улыбнулась и благодарно на него посмотрела, после чего присела к нему на колени со словами *расскажи, что там дальше, мне так интересно*, и он с выражением рассказал, она улыбалась и казалась счастливой, потом поцеловала его в лобик и пошла на кухню готовить обед.

Однажды я спросила у тети, когда у Альберта появится книга, а вдруг уже вышла, но она сказала:

— Лаура, он великий писатель, тебе этого не понять.

Через какое-то время я увидела, как тетя листает его пустой блокнот. Потом — на другой день, и еще на другой. Она каждый день пролистывала этот блокнот, но там ничего не бывало написано, и она каждый день все садилась к нему на колени и спрашивала, что там дальше.

Она была великой читательницей.

В Преряй царило озеро. Я не была хорошей пловчихой, но с ним утратила даже каплю водобоязни. Я всегда купалась одна: тетя плавать не умела, Альберт неотлучно писал. В городке почти не было детворы, поэтому вокруг озера торжествовал нерушимый покой. Иногда возникали ветхие лодочки с престарелыми рыболовами. Они все меня знали.

Именно в том июле я могла плыть куда мне угодно.

Озеро было огромное, а вода — прозрачная и ледяная. По пути к нему я пересекала проселок и потом спускалась по лугу вперегонки с жеребьями. Думаю, тетя никогда не подозревала, как я плаваю. Рыбаки сначала ворчали на меня, зачем заплываю так далеко, но потом только заговорщицки подмигивали и демонстрировали улов со словами: *вот это красавица, не, я такой красоты еще не видел*, — и каждая новая рыба для них была прекраснее всех.

Остров среди озера мне казался недостижимым; с какого берега к нему ни плыви, приходилось одолевая почти километр. Этот остров притягивал как магнит, он для того и был, чтобы я думала и гадала, каким способом до него добраться.

На озере было у меня свое место. Больше всего я любила плавать к липе на другом берегу, дно там было приятное для ступней — мелкий, белый песок; при солнце отражения листьев на водной глади мерцали перламутровыми чешуйками. И почему-то все это напоминало мне дом, оставленный в Большом городе, липы и лоджии, людей, медленно пьющих кофе после трудного дня и глядящих вдаль, на мреющие дома и деревья.

Тогда казалось, будто меня и Большого города вовсе нет — только много-много воды, мелкие волны, прохлада от старых тенистых деревьев, солнечные зайчата на взъерошенных гребешках воды, песок, старые лодки и рыбы.

В середине июля разразился многодневный ливень.

Альберт отлучился по делам в город, а я с тетей Вероникой все время сидела дома: дождь если переставал, то на минуту-другую. Бурлила и хлопала зябкая влага, на дворе пахло озоном. В те дни мы слушали старые диски «Битлз» и много читали. Помню, тогда тетя Вероника начала мне нравиться, или — скорее — я понемногу научилась ее понимать.

Во второй вечер мы сидели в гостиной. Тетя читала. Она всегда читала одну и ту же книгу. Это было «Вино из одуванчиков» Рэя Бредбери. Когда я спросила, нравится ли ей книга, она с улыбкой ответила: если б не нравилась, не читала бы в двадцатый раз. Некоторые места она помнила наизусть.

— Как вам не надоест? Так много замечательных книг!

— На что они мне? Конечно, я иногда читаю другие, но свою книгу уже нашла. Ее и буду читать до самой смерти. Ты еще молодая, ты пока ищешь. Некоторые вообще не находят свою книгу.

— Альберт?..

— Альберт — великий писатель, — она усмехнулась.

Эта фраза бывала ее заключительным словом.

Мы пили кофе и ели антоновку. А дождь без устали барабанил по крыше. Кошка не просыпалась целые дни, и чудилось, что наступила осень. Тогда-то Вероника и рассказала мне про Горчиный дом. Почему-то я у нее спросила:

— Тетя, вы верите, будто что-нибудь есть после смерти?

Этот вопрос был совсем не нужен, но тетя не любила говорить «просто так», ей требовалась уверенность, что слушателю интересно.

— Отец умер, когда мне исполнилось пять. Мне было нелегко усвоить, что такое смерть. О Горчином доме мне рассказала сестра. И теперь помню, как она говорила: «папа отправился в Большой город. Там есть Горчиный дом, в нем живет много-много людей. Там есть внутренний двор, где они выращивают горчицу, делают из нее соус, на это и живут. Всюду пахнет бассейном и горчицей. По вечерам все усаживаются на балконах, пьют пахучий кофе и рассказывают друг другу истории. Люди смеются, пляшут, поют, слушают музыку. В Горчином доме все свободны, а папа ушел просить, чтобы его пустили в Горчиный дом. Он пошел первый, ведь у него много разных историй, теперь он там нас ждет и рассказывает о нас».

Тетя умолкла.

— Он отправился занимать вам места, так?

— Да, — ее взгляд застыл и остался где-то за окном.

— Так он был очень хороший человек!

— Да.

Я все это говорила не слишком серьезно, и мне стало даже стыдно, что я не верю ее фантазии.

— Лаура, я отлично знаю, что это — неправда, но в мире бывает всякое. Надо жить так, чтобы тебя взяли в Горчиный дом.

На другой день дождь перестал, и Альберт вернулся. Он вел себя странно. Я ночью слышала его плач, а утром встретила Веронику с почерневшими глазами.

— Что это с Альбертом?

— Кризис, у великих писателей так бывает.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, просто так. Ему, видишь ли, мерещится.

— Что мерещится?

— Ему кажется, что за ним кто-то наблюдает в рабочей комнате.

Холодок прошел у меня по спине. Я пряталась в шкафу только раз, но все равно ощущала себя виноватой.

— Он больше не может писать.

Лишь через много лет я поняла, что Альберт — немного *того*.

У меня было чересчур сильное воображение, и порожденные им картины душили меня. Вероника знала об этом всегда. Вот как рождались эти истории, все эти главки. Она знала, но ни разу виду не подала, что все это так. И я не поняла: тетя предчувствовала хоть что-нибудь, когда Альберт позвал меня на рыбалку?

Альберт был игриво настроен, шутил, проказничал, и что-то в его поведении меня пугало. За завтраком он возбужденно произнес:

— Я сегодня решил отдохнуть, работать не буду.

— Отличная мысль, Альберт, ты выглядишь утомленным, — тетя ему улыбалась сияющими глазами.

— Лаура, я хочу на рыбалку, составь мне компанию!

Меня охватил необъяснимый ужас, но я не смогла отказать.

— Поплыли! Я уже подготовил лодку, червей накопал. Сегодня как раз чудесная погода, давай сплавляем на остров.

— А тетя разве не хочет?

— Нет, я себя неважно чувствую. Плыви с Альбертом, не упускай случая.

— Ну хорошо...

Мы продолжили завтрак, Альберт был на изумление разговорчив, и мне это

совсем не нравилось, но тетя была в отменном настроении: при взгляде на Альберта ее глаза лучились.

Был полдень, и я пробовала вспомнить, видела я хоть однажды рыбаков на озере в эту пору? Мы плыли, и глаза Альберта горели особенным пламенем, ему чуть не семь раз послышалось, будто я что-то сказала. Ветра почти не было, летнее солнце палило. Мы оставили за кормой мою липу, и я увидела, что за те дни, пока я не плавала, она пожелтела. Я поняла, что уже скоро начнет блекнуть древесная зелень и грянет осень.

Мы удили на середине озера. Солнце пекло нещадно. Рыба не клевала, и приблизительно через час Альберт начал грести в направлении острова. Там росло несколько осинок и дикая красная смородина, но внезапно остров, куда я так хотела попасть, стал пугать меня.

Когда мы подплыли, Альберт велел мне собирать смородину. Помню, как мне полегчало, едва я выскочила из лодки. Альберт чуть-чуть оттолкнулся от берега и снова забросил удочки. Солнце палило по-прежнему, но было уже не так душно. Вечерело. Несколько минут я рвала ягоды, было тихо, и вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. Я обернулась. Лодки не было.

Я сперва не могла поверить, что он меня бросил. Я обошла весь остров, звала, кричала. Воскресный вечер, и на озере я не видела ни одного рыболова, за исключением великого писателя, который все удалялся и удалялся, пока не скрылся за горизонтом. Темнело, я начала плакать. Ревела, не могла успокоиться, а потом уснула прямо в траве.

Проснувшись от собственной дрожи, кругом была зябкая, влажная ночь. Холодно, страшно. Я сначала решила ждать кого-нибудь, вздумавшего порыбачить, а вдруг меня хватятся, или меня уже ищут, или Альберт вернется... Через какое-то время я вошла в воду. Никогда в жизни я так не боялась плыть. Вода была не очень холодная, но меня после ночи трясло. Я плыла, и в моих ушах звучали слова тети Вероники о Горичном доме. Это вело и поддерживало меня. Я не могу заплакать. Главное — не спешить. Спокойно.

Казалось, будто я плыла целый час. Когда остались какие-нибудь три сотни метров, уже так болели все мышцы, что пришлось стиснуть волю в кулак, иначе бы я перестала плыть. Иногда я ложилась на спину, но это не очень-то помогало. Потом голова совсем опустела, и я плыла как сквозь сон. В ста метрах от берега у меня стемнело в глазах, но я доплыла. Лежала у самой воды и не могла поверить, что подо мной земля. Приподнялась и медленно поползла, чтоб сердце немного утихло.

По пути домой я не могла отвязаться от мысли, что, наверное, уже умерла и все вокруг — не на самом деле. Помню тетин взгляд, когда я вошла. После долгой воды я почти посинела, и она скорее всего подумала, что перед ней привидение. Я поражаюсь ее самообладанию. Она оставалась спокойной все время, пока была у меня на виду.

Альберта уже увезла похоронная служба.

Дальше в моей голове все еще хуже запуталось. В тот же день за мной примчались родители. Мама очень плакала. От ужаса, который мне и всем пришлось испытать, и от радости, что все-таки я жива.

Так вот внезапно я оставила Преряй. Луг с жеребятами, озеро, острова, тетю Веронику с ее книгой «Вино из одуванчиков», Альберта, который повесился под окном, в саду. Перед отъездом домой я пошла в его кабинет, потому что была уверена: после рыбалки он был обязан что-нибудь написать. И в блокноте действительно валким почерком был записан тетин рассказ о Горичном доме.

Этой историей занялись журналисты, у меня еще долго хотели брать интервью или снимать в какой-то там передаче, но я ни разу не согласилась. Я не могла предать тетю Веронику. Даже спустя несколько лет, бывает, кто-нибудь вдруг да вспомнит об этом случае, но единственное, что я высказала репортерам, звучало обыкновенно и даже немного смешно: «Альберт — великий писатель».

С того июля я больше не ездила в Преряй. В сентябре опять началась школа, и там я встретила нового учителя литературы. Он знал наизусть отрывки «Вина из одуванчиков». Через несколько месяцев я послала письмо тете Веронике. Рассказала о литераторе и одуванчиковом вине.

Она отозвалась через месяц, когда я уже отчаялась что-нибудь получить в ответ. Письмо было короткое. Тетя писала, что сейчас в городке очень яркие времена года и завтра она пойдет собирать красную смородину. Под конец добавила то, что когда-то предназначалось Альберту: *«P.S. Расскажи, что там дальше, мне так интересно!..»* И я стала рассказывать. Я это восприняла как обязанность и необходимость — продолжить рассказ Альберта.

Теперь мне уже двадцать лет, и я по-прежнему шлю тете письма. Пишу раз в месяц, поэтому у меня всегда есть время на сочинение собственных и пересказ чужих историй. На этот раз я в конце приписала: *«P.S. Еду в Преряй»*. Родителям я ничего об этом не говорила, как и раньше не говорила про письма. Все, что связано с Преряй, было болезненной темой для мамы и папы. Маме ничего не стоит расплакаться при слове «прерии», в этом звуке таится детская гибель и воскрешение. Пока я не приплыла, все успели подумать, будто Альберт убил меня.

Это очень странно — явиться на место, где не была пять лет, но которое не уставало расти и всю тебя пронизало корнями. По приезде я поняла, что Преряй — в моей крови, и этого никогда и ничем не изменишь. Я ехала поездом, и мне чудилось, будто еду в небытие. А приехала — в маленький городок при озере. Как чужак-человек, словно я пилигрим, я пешком топала от станции по улочкам странного городка.

Но к тете я все равно не зашла.

Озеро мне показалось впятеро больше, а вода — ледяной, до ломоты в костях. Но я поплыла на остров, ибо так не терпелось вернуться в те дни, когда еще ничего не случилось. Я плыла, и рыбаки мне показывали рыбу, *глянь, какая красotka*, говорили они. Я плыла, и меня не было. И все осталось — а ведь осталось много: много воды, рыбы, ловецкие лодки, липа, июль, просторное небо и зной. Я в том дне утонула. И вернулась, ведь возвращаются только так. Доплыви я до острова, я бы назад не вернулась, потому что в Преряй не возвращаются. Единственное на свете место, куда я могу вернуться, это Горичный дом.

Так я к тете и не пошла, потому что это жестоко — спрашивать, предчувствовала хоть что-нибудь, когда Альберт меня уводил. Даже если бы я говорила что-то другое, в каждой фразе сквозил бы этот вопрос.

Я посидела у озера и вернулась на станцию. Позднее я получила конверт, она писала, *я тебя видела*, писала она, *все в порядке. Альберт знал слишком много историй, для них не хватало места. Теперь он их рассказывает в Горичном доме, и он свободен. Там люди смеются, временами молчат или плачут, но эти их слезы — хорошие, там они слушают много пластинок, Лаура, не забывай о Горичном доме.*

Потом пришел август, был теплый вечер. Дети гоняли мяч во дворе, на балконах неторопливо пили свой кофе. Я шла домой и тогда увидела: а живу-то в Горичном доме! Мы уже в нем живем.

Сергей Календа

Одетые истории

Литературный проект

С белорусского. Перевод автора

Что касается золотых украшений, то они, переплавленные в массивный слиток, из Визеля-на-Рейне перекочевали в подвал № 3 баден-баденского отделения Дойчебанка. Слиток этот в числе прочих попал в руки лейтенанта Харпша, направлявшегося в Больцано, но небрежное вождение и, как следствие, авария привели к тому, что это золото было перераспределено в швейцарских финансовых кругах.

Peter Greenaway. GOLD

Одетые истории — это художественно-литературная игра в стили и направления; игра с метафорами, намеками и цитатами; игра с историей, концептами и географией; игра в реализм и абсурд жизни.

Это проект, «играющий» в литературу, и эта игра часто с грустным началом и (или) концом, и (или) все совсем наоборот.

Это авторская интерпретация романа Питера Гринуэя «Золото», тут одежда становится способной на метафору, а человек на настоящие переживания и чувства.

Сергей КАЛЕНДА

Клубничное варенье

Грета была литовских корней, чем очень гордилась, рассказывая всем вокруг, что ее дед был аристократом, и никогда не сунул бы свой гордый нос в провинциальную часть Польши, если бы не отец.

На самом деле, как бы она ни гордилась своими историческими корнями, им было суждено еще при ее отце глубоко войти в польскую землю и прорасти на целых сорок два года вглубь, давая жизнь Грете, которая неожиданно перерубила корни, не дав им расти дальше на чужой земле. Ее топором был отказ от беременности, дабы не производить на свет потомков литовских мужей на этой Земле, потому что она считала себя излишне толстой для данной процедуры, да и ко всему не видела в детях никакого смысла.

Сергей Календа — белорусский писатель, культуролог, автор сборника рассказов «Памятник отравленным людям» (2009) и книги «Сказки: истории (не) про нас» (2010). Сборник рассказов вошел в шорт-лист премии Адама Глобуса «Залатая Літара 2009», а также в «Пятерку лучших книг 2009 года» по независимому рейтингу литературного критика Ганны Кислицыной на Радио Свобода. Лауреат конкурса молодых литераторов имени Ларисы Гениуш Белорусского ПЕН-центра (2010 г.). Живет в Минске. В «ДН» печатается впервые.

И надо заметить, у нее это славно получалось — сохранять целомудрие, в этом деле ей помогали черные усики над верхней губой, совсем как у Сальвадора Дали, только не такие длинные, чрезмерная полнота и стремительный бег времени, ей было уже сорок два.

Грета жила в Нижнесилезском воеводстве, что на юго-западе Польши, в городе Свидница, и исправно ходила в протестантский храм Мира, построенный кровью и потом, огнем и мечом несчастным людом еще в семнадцатом веке.

Храм она не любила, его барочное убранство снаружи тем более, находя его излишне импозантным, да-да, именно — «импозантным», этим словом она характеризовала почти все, что ей не нравилось, правда, совершенно не отдавая отчета тому факту, что слово это было на таком далеком расстоянии от ее понимания, как, впрочем, например, и термин «интертекстуальность» для ее интеллекта, а именно как звезды на расстоянии многих световых лет друг от друга. Но, она была молодец, потому что не обращала ни на расстояния, ни на соотношения, ни на смысл и ни на терминологию никакого внимания, ее мир состоял из очень простых, но крайне необходимых вещей: плюшек, клубничного варенья, пижамы и телевизора.

Грета ходила в храм, потому что там не особо таращились на ее усики и на, так сказать, довольно широкое тело с какой стороны ни посмотри. И почти никто не лез к ней под юбку, если только не брать в расчет одного прыщавого подростка с крайне угловатым лицом, но симпатичным курносый носом и раскосыми глазами, который каждый божий воскресный день пожирал ее таз влажным взглядом в моменты молитв и коленопреклонений. Подросток хоть и был не во всем привлекателен, но все-таки будоражил ее пухлое сердце. И смущало ее как раз именно то, что она начинала засматриваться на его курносый нос и раскосые глаза, и дабы не войти в искушение, она, проклиная все на свете, называла себя сорокалетней дурой, душу которой будоражит пятнадцатилетний молокосос.

Грета решила больше не ходить в храм, ну или по крайней мере не появляться там до тех пор, пока у нее не износятся одежды, которые она приобретала только в церковной благотворительности, а точнее, от гуманитарной помощи Красного креста, филиал которого находился в Варшаве, а уже в Варшаву Красный крест выписывал «гуманитарку» в виде еды и одежды из Парижа, Праги и Берна, хотя бывали моменты когда и Варшава проделывала данную процедуру в обратном направлении. Таким вот чудесным образом протестантский Бог с помощью Красного креста кормил и одевал всех страждущих.

Но у Греты была одна вещь, а точнее, две в одном комплекте, которую она купила сама и которой очень дорожила. Это была широкая, даже огромная пижама, состоявшая из рубахи и штанов, сидевшая на ней до того плотно и туго натянута, что казалось бы еще секунда — и все разойдется по швам...

Пижама была нежно-молочная, совсем как ее пухлые руки и грудь, шелковая и в забавные розово-красные клубнички с зелеными коронками, очень похожими на ее соски, растянутые блюдцами на грудях на почтительные семь сантиметров в диаметре. И когда она погружала свое тело в диванные покрывала, пледы и подушки, создавалось впечатление что это не диван, а глубокая чаша, которую только что наполнили сливками и опустили туда клубнику с зелеными хвостиками.

А ведь Грета была полной не от конституции фигуры, как всем вокруг утверждала, просто она обожала те самые вечерние часы, когда оставалась в одной лишь своей любимой пижаме, на диване-кровати перед телевизором, показывающим ее любимый сериал «Возвращение рабыни Изауры» — в правой руке плюшка и на груди тарелка с еще такими же симпатичными девятью штучками, а в левой руке чашечка с клубничным джемом... пятки вместе, носки врозь, а вот и между носками квадратный ящик — отображающий весь эмоциональный мир ее души, ящик, в котором люди любят друг друга, предаются, не доверяют, рожают, бросают, обманывают и жарко обнимаются, стремясь удержать в объятиях, и умирают, и болеют, и просто живут...

И Грета всегда рыдает, как белуга, когда видит нераздельную любовь героев или коматозные состояния их возлюбленных, но особенно она льет слезы в моменты просмотра любимого сериала, когда рабыня Изаура ведет жаркий диалог с Лукасом, а он, наглец, не хочет ее даже понимать в этом сложном пространстве «тележизни».

Слезы льются по щекам ручьями, прокладывая путь к усикам, и дальше обязательно стекают на плюшку с клубничным джемом, но она уже не замечает этого солонуватого привкуса любимой еды, она — олицетворение чуткого внимания в сериал...

Так Грета и засыпает с недоеденной плюшкой, крошками на груди, тарелкой, съехавшей под бок, наплаканная в волю с клубничным вареньем в краешках губ...

Грета, испытывавшая некий катарсис, а может, и наоборот, спит мирным сном всех беспечных людей на планете, тело еще содрогается как студень от всхлипов, а она уже видит сны...

И вот однажды, когда она по обыкновению своему лежала в любимой шелковой пижаме размера XXL, по телевизору Лукас в очередной раз бросал Изауру, на прощание отвесив ей пощечину... Для Греты это обернулось неожиданным шоком, она такого поворота событий никак не предвидела... И, от неожиданности, поперхнувшись плюшкой с клубничным джемом, задохнулась, на успев перевернуться со спины на бок... А рабыня Изаура на цветном экране пузатого телевизора все еще потирала щеку от удара, пуская очевидные липовые слезы даже для слепца.

Грете обнаружил почтальон на пятый день.

Все ее вещи, в том числе и пижама, достались протестантскому храму Мира, можно сказать, что вещи вернулись обратно, откуда пришли, кроме, конечно, пижамы. И из храма вся одежда отправилась в варшавский Красный крест, потому что пастырь посчитал неблагоразумным и уж точно не богоугодным делом раздавать в родной Свиднице одежду покойной соседки-прихожанки.

Таким образом, пижама, проделав крючковатое путешествие, оказалась в той самой ста пятидесяти килограммовой куче, собранной из разных стопок на одном из главных складов Красного креста в швейцарском городе Берне и прибывшей в белорусский Минск, где осела тряпичной массой в протестантской церкви «Врата Рая» по улице Калиндова, и сему факту пастырь Игнат был очень рад...

А на следующий день в церковь Врата Рая пришла Гиля, ей всего-то тридцать пять, белокура, игрива и непоседлива, особенно факт непоседливости для нее примечателен, учитывая, что весит она целых сто тридцать кило, и этакий «слон», если он непоседлив, то обязательно задевает мелких собратьев. Поэтому, когда она зашла в церковь, пастырь Игнат старался держаться чуть в стороне от быстрого, но смертоносно неповоротливого тела Гиля.

Гиля, как увидела кучу одежды, так сразу и погрузилась и поникла, вспомнив ненароком, что на ее тело надо из парашютов шить вещи... и тут на глаза ей попала материя, шелковая, не абы какая, да ко всему еще и молочного цвета с изображением клубники.

Гиля, перед тем как доставать из завалов одежды эту ткань, отыскала бирку и, увидев размер XXL, чуть не потеряла сознание от счастья... быстренько вытянула в свои объятия все это молочно-клубничное полотно и опять, приобретя былой задор и прыть, бросилась к выходу, по пути чуть не пригвоздив к стене в виде распятия отца Игната. Отец Игнат нервно выдохнул, перекрестился и его взгляд вдруг наткнулся на удивительнейшее терракотовое пальто, раскинувшееся поверх кучи развороченной в полном хаосе одежды...

Гиля, уносимая ногами восторга, добежала, наконец, домой, скинула с себя всю одежду и примерила находку, это, к ее удивлению и восхищению, была пижама, и не одна, а со штанами. Всем пижамам пижама — сидела на ней, как литая...

Гиля не стала ее мыть, а как есть, в пижаме, забралась на перину, как она называла кровать в три матраса толщиной, и включила свой любимый сериал, в котором по развитию сюжета догадалась, что Лукас и рабыня Изаура снова вместе. Гиля была рада, что отношения в телевизоре наладились, и во время рекламы, сбегав за клубничными берлинерами, приготавлилась к поглощению пищи, с трепетом наблюдая за чужой жизнью на экране...

А одетая пижама удачно сливалась со светлым ковром, висевшим на стене за ее спиной, как будто бежевое пространство наполнялось молочными сливками, с милыми клубничками внутри...

Китель Воеводина

Анна до сорока лет жила в белорусском Белоозерске и ни о каких переездах даже не мыслила, пока ее дочь, названная в честь бабушки, как собственно по традиции и матери, Аня, не стала совершеннолетней и не познакомилась на сайте интернет-знакомств с одним симпатичным и относительно молодым немцем, радикальной арийской внешности, правда, с острым носом горбинкой, но крайне гуманных и демократичных взглядов на жизнь. У немца было имя как и у его отца и по традиции деда — Фриц, а фамилия Райнер, и был он (если в славянской традиции) Фриц Фрицевич Райнер, служащим Volkswagen motors в Лейпциге.

Фриц влюбился до беспамятства если не во внешность Ани, ведь фото в интернете на сайте было не из лучших, а влюбился он, допустим, в жаркие слова, адресованные ему на грамматически ломанном немецком. И так он влюбился в Анины слова, что решил отдать ей свои руку и сердце и сделать эти отдачи немедленно.

Надо сказать, что Аня жарко писала Фрицу не от любви плавающей, а от невыносимой полусельской жизни в Белоозерске. Райнер взял законный отпуск на месяц, получил двадцать тысяч евро отпускных и был таков из Лейпцига напрямик в Берлин, а оттуда на автобусе через Польшу добрался до Бреста, где на автовокзале стояла Аня, ее мать Анна и бабка Анна Францевна, настроенная крайне озлобленно к немцам-фашистам, — прошедшая с мужем, и дедом для Ани, Георгием Николаевичем, всю войну.

Фриц Райнер конечно же не знал всех фактов о бабушке Анне Францевне, с отчеством крайне еврейским, не знал он о ее недружелюбном настрое и не знал о дедовом кителе, увешанном не только на груди, но даже и на спине многочисленными наградами, ведь дед Георгий Николаевич Воеводин прошел не только Вторую мировую, он первым водрузил советский флаг на место фашистского на часовне в освобожденном Гамбурге, он был смел, молод и красив и таким и помер восьмидесяти трех лет, дослужившись до полковника в мирное время.

А не знал об этом Фриц в силу того, что фантазерка Аня решила, что на сайте знакомств данный представитель немецких кровей не должен знать таковых фактов про ее деда, и она взяла, да и добавила, будто дед ее был коллаборационистом на войне и что будто дядя его и того пуще, был чуть ли не в СС, отчего ей плохо на этой земле и так хочется увидеть Лейпциг. Фриц был ошарашен и, надо сказать, он совсем не приветствовал идеи национал-социализма, но, что поделаешь, признавал ошибки собственного народа. Райнер не обратил должного внимания на вымышленные факты Ани, решив разобраться обо всем позже по приезду.

Хоть Фриц и не одобрял пережитков истории собственного народа, но боялся он бывшей советской армии как огня, сгноившей его деда в плену под Сталинградом, а отца, еще подростком служившего в последние месяцы войны в гитлер-югенде, сделавшей калекой осколочной гранатой.

Китель Георгия Николаевича после его смерти почетно, но одиноко висел под целлофановой накидкой в стенном шкафу-купе, с него были сняты все медали, кроме ордена первой степени, погоны полковника тоже отсутствовали, и все это добро с необходимыми документами хранила его жена Анна Францевна у себя в комодке около кровати, по ночам раскладывая заслуги по одеялу и проливая восьмидесятилетние слезы любви и одиночества к своему мужу.

И вот тебе утро, довольно морозное для осени, брестский автовокзал, они троим, две вдовы и одна молодая невеста, стояли, жались друг к другу одетые не по погоде, зато красиво и нарядно, и выжидали прибытия автобуса Берлин—Варшава—Брест, бывшего в пути вот уже пятый день.

Фриц Райнер сразу почувствовал, что уже прибыл до необходимого места, по

непонятному волнению, пробиравшему изнутри, и дрожи в коленях и локтях. Его встретили три продрогшие женщины моложе, старше, старше, и он сразу попал в жаркие объятия Ани. Она лепетала на «немецко-английско-белорусско-русском» языке и вела его на маршрутное такси до Белоозерска, где была готова еда, частично припрятанная в холодильнике и на плите. Аня планировала отправиться со свежеполученной визой уже через день в Лейпциг, прихватив с собой мать и бабуку, которые, по хорошему знакомству, тоже имели свежее испеченные визы, каждая была честно приплачена по сто евро плюс, наверх, пятьдесят килограммов свинины.

Райнер по инерции, ошеломленный определенной городской пустотой и унылым видом люда, добрался, наконец, до Белоозерска в коричнево-желтом бусе Volkswagen, сопровождавшем всю дорогу отменным шансоном. На остановке его подхватили четыре женские руки и, бледного, уставшего бедолагу, доставили до дома кормить и поить, бабка же Анна Францевна плелась сзади, не одобряя этих новых демократических взглядов внучки и дочери. При «Советах», считала она, кто бы что ни говорил, ВСе было проще и определеннее, если немцы, значит — фашисты, если коммунизм, значит — процветание, не то, что сейчас творится, беспредельщина одна, да и только!!!

Мать Ани припрятала дедов серый китель поглубже в шкаф, дабы не случилось какого казуса, так сказать, кто былое помянет, тому глаз вон.

Китель Георгия Николаевича Воеводина томился серым пятном за двумя коричневыми дубленками и синим пальто, его нещадно ела моль, жирнея и размножаясь прямо в рукавах и под клапанами карманов по бокам. Этот китель прошел не одну историческую битву. Бывал он и в канавах, и на лужайках летних лесов, припорошенный семенами цветов. Этот китель любили женщины, к этому кителю прикасались дети, и на этом кителе испускали последний свой вздох проткнутые штиком-ножом враги. Китель Георгия Николаевича был из грубой материи и оберегался им тщательно, а по окончании войны одевался только по особым дням, поэтому все его заслуженные медали кочевали от серого кителя к еще двум черным пиджакам с такими же погонами полковника.

Но этот китель еще обожала его верная жена и хранительница очага Анна Францевна, прознав о припрятанном кителе, она надулась на свою дочь и, достав его со шкафа, сложила аккуратно под медали, которые уже гордой стопкой были в походном черном чемодане «Samsonite», с ручкой и на колесиках — подарок Фрица Райнера.

Так, вся женская часть — остаток семьи Воеводиных, добиралась автобусом через Польшу в немецкий Лейпциг. И все было бы прекрасно, но вот на длительной остановке в Варшаве мать Ани, Анна, ненароком прознала, что в черном бабушкином «Samsonite» едет помимо медалей военный дедов китель, и ее чуть не хватил удар. Она по странному мифологическому страху вдруг подумала, что такие вещи им на немецкой границе не дадут провезти, хоть это и был суеверный страх, однако он был сильным. Странно, что она не подумала о том, что могут запретить провоз медалей, хоть на них были нужные документы. Поэтому дождавшись, пока Анна Францевна не начнет дремать в двухчасовой остановке в Варшаве, Анна достала китель и, оглянувшись по сторонам, обнаружила Красный крест, прямо через дорогу, не узнать его было бы сложно, очень доступный и простой символ — красный крест. Анна прямоком бросилась в его двери и без слов, а лишь жестами, протянув серый китель женщине — сотруднику благотворительной организации, дала понять, что это она отдает даром, отказываясь от такой славной и прославленной военной одежды...

Позже, когда все Воеводиные и Райнер в придачу доберутся до Лейпцига, Аня успеет трижды поругаться с Фрицем из-за пустяков — таков итог знакомств и любовей на данных интернет-сайтах. Анна наревется ностальгическими слезами по белорусской родине и по дедовому кителю, а бабка Анна Францевна, обнаружив пропажу кителя, помрет, сраженная ударом горя, так до конца и не узнав судьбу столь важной вещи в ее жизни и жизни мужа.

А китель добрался через красный крест в качестве гуманитарной помощи на один из общих складов, в швейцарский Берн, откуда был расфасован в одну из трех куч одежды, почти равных по весу и направлявшихся в одной фуре Map в три разных места: в Прагу, Варшаву и Минск.

И когда фура пересекала немецкие земли, она остановилась на стоянке дальнобойщиков в пятнадцати километрах от Мюнхена на ночлег. Хоть водителей и было двое и они меняли один одного, но чувствовали они себя крайне уставшими, а, как нам известно, европейцы народ крайне педантичный и аккуратный, соблюдающий правила, и из этого выходит простая формула — если устал — дальше за руль не садись, подумай об ответственности и будущем.

Оба друга-дальнобойщика приобрели на стоянке в небольшом киоске по хот-догу и бокалу пива и, удобно расположившись на скамье возле фуры Map, с красными крестами по бокам, принялись за еду и разговоры.

Но их перебил один бродяга, очевидных средних лет, с иссиня-красным прыщом на носу, бесцветными глазами и нечесаными патлами, как на голове, так и на подбородке. Бродяга всегда знал, что фура с крестами по бокам обязательно чем-нибудь да даст поживиться...

И каково было его удивление, когда двое дальнобойщиков на его жалостливую просьбу о еде или материальной помощи вместо этого достали для него серый плотный китель, поеденный местами молью, но крайне теплый и надежный. Просто водители были в хорошем расположении духа, а так как было прохладно той ночью, они решили согреть продрогшего и побитого жизнью человека.

Бродяга Томас, так его звали, укутался с головой в великоватый военный китель Георгия Николаевича, героя Второй мировой войны, первым водрузившего на гамбургскую часовню советский флаг на место фашистского. И китель этот грел его немощные кости жарким огнем, грел этого бомжа Томаса, отец которого был во время войны известным по жестокости немецко-литовским эсэсовцем Никасом Гимелеромсом, дослужившимся до унтер-офицера. И в ту ночь Томасу снился непроходимый лес, и болота, и самолеты, и бомбежки, и он даже во сне чувствовал пороховой запах, намертво въевшийся в серую, грубую материю кителя.

Бирюзовый шарф

Хиппи верят в то, что мир может стать лучше.
Битники знают, что лучше ничего не станет, и говорят — да пошел он, этот мир, к черту, будем отрываться и хорошо проводить время.

Janis Lyn Joplin

Франциск Ассизский, будучи на Небесах и пребывая в прекрасном здравии, наслаждался статусом Святого на Земле и всячески этим гордился. Нам всем известно, что на Небесах титул Святого приравнивается к получению Оскара или Нобелевской премии на Земле, но там у многих еще не было этого титула, по этой причине Франциск позволял себе некоторые вольности в виде шуток про плотников, рыбаков и про бороды.

Но недолго ему было радоваться, всего лишь до начала двадцатого века, а именно примерно в сороковые годы ему сильно досталось на Небесах вначале от Отца, потом от Сына и в конце от Святого духа. А проблема заключалась в том, что Франциск был ответственен за один город, он курировал названный в его честь Сан-Франциско в штате Колорадо США. И ответственность его была в том, чтобы следить за культурой и благосостоянием города, а он не только недоглядел землетрясение и

пожары в начале века, так еще и упустил тот факт — появление на земле непонятных, диких и крайне развязных любителей наркотиков — битников и хиппи.

Он бы все отдал, даже титул Святого, лишь бы все наладилось в городе, который на небесах уже изрядно позорил его имя, но после шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых — проказников, трансвеститов, наркоманов, гомосексуалистов, лесбиянок и хиппи — Франциск начал даже подумывать о самоубийстве, так ему было не по себе от всего, чем насаждался этот город, и от тех, кто в нем плодился.

Но, будучи на Небесах, покончить с собой невозможно, лишь только можно поругаться с Господом, и тогда он тебя, как Падшего Ангела, отправит под землю, где не очень хотелось бы Ассизскому находиться — не та компания, так сказать, ведь он не пьет, не прелюбодействует и не слушает Britney Spears, так что чист он как утренняя роса.

Но оставим нашего Франциска с угрызениями совести и позором перед коллегами за неумение оберегать собственный город, наедине с самим собой, с мыслями о суициде и о Всевышнем чуде...

Майя, надев видавшую виды белую мужскую рубашку, которая ей очень шла, и заправив ее в старые протертые джинсы клеш, и закатав рукава, ехала на канатном трамвае на тусовку хиппи, которая собиралась в честь памяти Woodstock'69. Ей было двадцать шесть — ее прекрасная кудрявая головка ни о чем в мире не тревожилась и ничем не интересовалась, кроме коллекционирования очков от солнца и старого доброго секса после марихуаны или кокаина.

Вечерело, и Город у залива покрывался золотой охрой, тепло и нежно ласкавшей все, на что она попадала, особенно выгодно в такое время смотрелся мост Золотые Ворота, где на его шпиль с тросами беспокойный дух Франциска час от часу да спускался. Майкл прекрасно знал такие часы дня, поэтому с этюдника выложил вещи в парке, недалеко от компании хиппи, заметно постаревшей, дряхлой и полуспившейся, хоть и разбавленной молодой кровью; она, компания, уже давно пристрастилась к некультурным излишествам и довольно пассивно лепилась к жизни.

Майкл начал этюд — будучи в хорошем расположении духа, несмотря на некоторое отвращение к хиппи, он все же решил написать именно эту «хипповую» компанию в парке (он еще подумал, что все они как на одно лицо патлатые, и грязные, и на геев смахивающие). Поэтому, долго не думая, его кисть начала выводить маслом расплывчатые силуэты, дабы в этюде подчеркнуть экспрессию цвета, а не настроенные компании старых детей цветов.

Майклу тридцать три — возраст Христа, но живет он не по-христиански: постоянная погоня за очередным уколom мешает ему полностью отдаться живописи. Он много пьет, колется, в перерывах создает картины, и еще отовсюду подбирает, покупает и находит разнообразные шарфы, это его большая страсть. И если в толпе людей попытаться найти Майкла, то ориентироваться следует на оригинальный шарф, небрежно накинутый на тонкую, исполосованную венами шею. Его любимый шарф — шерстяной, бирюзовый, пять метров длинной, очень тонкий, любовно связанный его милой матерью еще шестнадцать лет назад.

С каждой новой минутой на холсте вырисовывались очертания окружения парка, пастозными мазками накладывающиеся друг на друга, и Майкл не заметил, как за его спиной, торопясь и пробегая мимо, Майя вдруг остановилась как вкопанная и уставилась на картину. Потом, разглядев всего художника с ног до головы, отметила его шарф, широкие плечи, очевидную несвежесть одежды и трясущиеся руки, как по волшебству приобретающие контроль и ловкость перед самым началом письма на холсте. Майя уже не спешила на тусовку по поводу Woodstock, достала из кармана завернутую в фольгу марихуану, скрутила длинный толстый косяк и, молча раскурившись, протянула Майклу, который по запаху давно уже понял, что происходит за его спиной.

Майкл с жадностью накиннулся на траву и, почувствовав нежное головокружение и любовную эйфорию, кинул недописанную работу, кинул этюдник, кисти, краски,

кинул все это в парке. Он предложил девушке прогуляться до одного знатного дилера и направился из парка, даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть, идет ли за ним Майя, потому что хорошо знал таких, как она, хиппи-нимфоманок.

У одного знатного дилера он прикупил немного «ширки» для себя и кокаина для девушки.

Потом Майя, взяв его за руку, молча повела к канатным трамваям с целью ехать к ней домой, потому что от травы у нее давно сладкой тяжестью тянуло желанием низ живота.

Пудря ноздри порошком, они долго и под конец уже мучительно занимались сексом до самого утра: Майкл не расставался со своим шарфом даже в постели, привязывая ее руки к кровати, связывая ноги, завязывая глаза, затыкая ей, как кляпом, рот. Она даже во время секса начала подумывать, что он вполне приличный любовник. И, кто его знает, может, ему удастся усмирить ее желание?!

К утру Майкл понял, что, если он срочно не остановится, умрет от истощения, столько секса было ни к чему, учитывая, что от наркотиков он почти ничего не чувствовал, а его промежность только дико горела от трения.

Прекратив эти уже давно бессмысленные движения, Майкл развязал шарф на ее руках, обмотал им шесть раз свою худую шею и как есть, голый в шарфе, отправился в уборную, по дороге достав из сумки необходимую «кухню», для того чтобы после испражнения уколется.

Спустя пять минут, его сердце остановилось, он так и не успел довести весь состав в вену, оставив в шприце последний из десяти «кубиков». На унитазах, голый, с перемотанной бирюзовым шарфом шеей и перетянутой тем же шарфом рукой, Майкл умер, так и не успев закончить свой этюд под названием «Памяти Woodstock'69», который, возможно, стал бы шедевром, если бы не...

Майя его тело обнаружит через тридцать минут и долго еще будет смеяться, обкуренная марихуаной, настолько забавной покажется ей смерть на унитазах...

«Скорая» впоследствии долго допытывалась у Майи, как его зовут, но она не успела познакомиться, поэтому после доставки в морг тело художника было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а после на кладбище и похоронено как «Неизвестный» в кругу таких же безымянных горемык.

Тонкий бирюзовый шарф длиной пять метров, любовно связанный матерью для сына-художника, будет три года кочевать по рукам разных национальностей и цветов кожи, в поисках нового хозяина, и через Красный крест найдет его, хозяина, в Минске, обмотавшись аж десять раз толстой змеей вокруг хрупкой шеи православной старушки Агафьи.

Бирюзовый шарф остановился на ней, на новой хозяйке — Агафье и стал согревать ее длинными темными вечерами, когда Агафья бродила в поисках пустых бутылок по дворам, чтобы обменять их в Пункте приема стеклотары на деньги, и купить себе хлеба, а мужу дешевого портвейна.

Муж, Порфирий, как обычно, как последние десять лет, парализованный по пояс и тем самым прикованный к постели, неизменно ждет свою старушку-жену с бутылкой дабы, испив ее до дна, подобрать и заснуть безмятежным младенцем.

Порфирий парализован, если можно так сказать, «благодаря» гололеду и залившему дворнику Васе, который вовремя не проснулся одним зимним утром и не посыпал солью с песком дворовую дорожку, отчего на его худые плечи судебным делом о халатности повисли — Порфирий, теперь уже инвалид, сломавший при падении позвоночник, соседка Анна с переломами обеих рук, да первоклассник Егор с сотрясанием мозга.

Старушка Агафья в свои почтенные шестьдесят два с детства ни о каких битниках, хиппи, да Францисках отродясь не слышала. Вот только Joe Cocker, который еще на Woodstock'69 выступал, был ей знаком и мил ушам и сердцу.

Слушала старушка его на кассетном «магнитоэлектрофоне стереофоническом РОМАНТИКА МЭ-222С». Магнитофон был давно куплен ее сыном и водружен в центре зала, памятником советскому магнитофоностроению, а сам сын уже десять лет как в Москве менеджером работает, оставив после себя лишь «Романтику» и кассету Joe Cocker.

А Агафья обматывает теперь все десять раз тонким бирюзовым шарфом свое тощее тело и, улавливая легкий запах жженой марихуаны от шерстяных ниток, устраивается у ног пьяного парализованного мужа, и долго смотрит на стену с облупившимися рыжими обоями, засиженными мухами. А из магнитофона протяжно тянет Cocker: «Babe take off your clothe...», с легким, шуршащим пленочно-кассетным фоном. Жаль только, что старушке никогда не понять смысла его слов, этого приятного голоса, с достойной мужской хрипотцой.

Смех

Я никогда не видел, чтобы чьи-нибудь глаза так смеялись, можно сказать, хохотали во все горло, это было ужасно шумно.

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

«Мсье Ибрагим и цветы Корана»

Адэля появилась на свет во время грозы, аккуратно спустя три дня после трагедии на Чернобыльской АЭС, говорят, что, когда взорвался реактор, дети плакали сутки напролет, как будто чувствовали, что случилось что-то непоправимое. Конечно же ни белорусы, ни украинцы, которые жили в радиусе заражения, об этом не знали много дней, и только спустя несколько суток их эвакуировали. От трагедии «Чернобыля» до сегодняшнего времени соседние страны не могут оправиться, рожая на свет уродов.

Но Адэля родилась здоровая и милая, и вместо того, чтобы заплакать после докторского шлепка по розовой попке, она рассмеялась, да так задорно, так сладко, что сердца у врача-акушера и медсестер рассыпались на сотни маленьких и звонких смешков. Впоследствии Адэля никогда не плакала, она росла и своим смехом оживляла улицу и двор в родном городе Минске. Она была пухленькой и все ее детское тело сияло здоровьем, ее постижение мира сопровождалось искренним удовольствием, хоть этот мир и открывался ей в не совсем выгодном свете — она росла в районе Шабаны, который имел дурную славу среди минских районов как самый грязный, промышленный, бандитский и необразованный район, куда даже таксисты не решались ездить по ночам.

Наступали школьные годы, времена, вполне счастливые и беззаботные для большинства детей, и Адэля своей первой линейки ждала с интересом и нетерпением. Но как же она была разочарована, спустя три дня, когда на первых же уроках обнаружила себя тугодумкой, которой тяжело давался даже алфавит. Но она недолго расстраивалась, прошло буквально пять минут, и Адэля уже безмятежно бегала на перемене за мальчишками и девчонками, играя в задорные детские игры. Именно ее беззаботность и открытая радость с самых ранних лет спасали ее от двух страшных вещей: от высмеивания одноклассниками и разочарования собственной недалекостью и отсутствием незаурядного ума. Но на свете нет глупых или неодаренных людей, и именно Адэлин смех во много раз превосходил умы многих гениев, потому что этот смех оживлял серую и умирающую природу и таких же людей. Адэля росла как цельница, весь район Шабанов был влюблен в нее, потому что она, сама того не ведая, помогала многим людям жить, настраивала их на оптимистический лад.

Она росла, ее бедра округлялись, грудь тяжелела и наливалась соком молодости, даже слепец не мог не заметить, как волшебю преобразалась в считанные дни

Адэля-подросток. Ее смех по мере взросления уже не выглядел таким беззаботным и умиротворяющим, ее смех будил изнутри страсть, ее смех превращался в оружие любви, в похоть, которая манипулировала мужчинами, и Адэля вдруг поняла, что в мире мозги, интеллект или талант не так важны, многое решает матушка Природа, и если ты рождаешься с прекрасными физическими данными, сексуальным телом с твердыми, похожими на каштаны сосками, и когда стоит тебе лишь усмехнуться и мужчины возбуждаются в считанные секунды, то можешь считать, что ты в жизни состоялся и преуспел. Именно с такими мыслями Адэля росла до девятого класса, после чего, кинув учебу, она переехала к своему возлюбленному, которому было двадцать пять лет, и он был вполне успешным сотрудником в консалтинговой компании и безумно любил Адэлю. Он любил ее самоотверженно и нежно, хоть и понимал что ей всего пятнадцать лет и в некотором роде его жизнь в ее подростковых ручках. Но что тут поделаешь, ее любимый мужчина забывал обо всем при виде ее стройного тела, молодой и нежной груди, и слыша этот заигрывающий смех...

Но любовь не длится вечно, ее ожидают два пути, затухание или же переход на духовно более высокий уровень отношений, когда она, любовь, приобретает черты заботы, нежности и взаимоуважения, именно когда любовь становится сложнее, она приобретает бессмертие. Но, к сожалению, любовь Адэли начала затухать, и не с ее стороны, а со стороны ее возлюбленного, который за три года пообвык жить с ней. И ее тело, и задорный смех обжились в его душе. Потому что Адэля, как и многие прекрасные вещи, по мере частого употребления, перестала быть изысканным напитком и утратила свою уникальную марочную «выдержку». Ее возлюбленный настоял на том, чтобы она вернулась к себе домой, и они постарались побыть вдалеке от друга, мол, необходимо обо всем подумать.

Адэля, с детства следовавшая великим идеям культа тела над разумом, вдруг засомневалась в собственной правоте и, сидя в своей детской комнате в Шабанах, впервые в жизни заплакала, и слезы, вместе с всхлипами, стерли ее улыбку, задушили ее прекрасный смех...

Возлюбленный так и не позвонил, возможно, он просто любил ее тело, а не ее саму, возможно, это было просто увлечением, в котором главным была страсть и сексуальность, а вовсе не любовь ради любви данного человека, любви открытой, почти библейской, которая все терпит и все прощает, которая любит просто, потому что ты есть...

Адэля все чаще стала появляться в своем дворе и вечера проводить среди похотливых и бестолковых подростков, которые кроме того, что заплевывали асфальт шелухой от семечек и прослушивали бездарный и хамский шансон на своих мобильных телефонах, и больше ничего во дворе не делали. Адэля сразу для них стала непривлекательной, и они повесили на нее ярлык «тупой бабы», возможно, они не рассмотрели в ней ее уникальность, потому что эта самая уникальность перестала существовать, и Адэля сделалась простой девушкой, из очередного запущенного района, которых в мире сотни тысяч.

Адэля полюбила «лузгать семки», полюбила слушать отвратительный бандитский шансон из мобильного и обвыкла проводить вечера в своем дворе, перекидываясь словами с парнями и девушками и вспоминая прошлые годы.

Постепенно она подзабыла о том, что было у нее раньше, и в свои двадцать лет, напившись, переспала с одним из местных «пацанов», после чего прослыла проституткой, потому что длинный язык этого парня наговорил лишнего, когда хвалился своими сексдостижениями.

Адэля, так и не найдя себе подруги, осознав, что ее жизнь бестолково тянется к старению и смерти, вдруг неожиданно даже для себя самой решила найти работу. Но где можно отыскать приличную работу, если у тебя только девять классов образования. И Адэля, выманив у родителей деньги на приличную одежду, отправилась в соседний подъезд к бабке Дабрадзее, что приторговывала подержанной одеждой, которую собирала в церкви Врат Рая по улице Калиндова.

Адэля, порывшись в одежде, нашла для себя вполне приличную зеленую мини-юбку, слегка великоватую, ту самую мини-юбку, которая прибыла в стапятидесятикилограммовой куче гуманитарной помощи от Красного креста из швейцарского Берна. Эту мини-юбку в свое время носила Каролина, девушка Адэлиного возраста, которая, приехав из чешского города Брно в Прагу, училась там в университете. Каролина изучала философию и искусство, она мечтала стать искусствоведем, и ее мечты исполнились спустя четыре года, когда она вернулась в родной Брно и там открыла частную галерею.

Адэля дома подшила зеленую мини-юбку и, истоптав за две недели множество компаний, фирм, представительств и заводов, наконец, приняла предложение Минского автобусного парка номер 18493 продавать билеты на проезд и проездные на маршруте автобуса номер восемнадцать (ост. Восточная — ост. Больница). Восемнадцатый автобус славился своим маршрутом, потому что его конечная остановка была не просто Больница, а Областная психиатрическая больница, в народе называемая «Новинками» в честь соседней деревни — «Новинки».

Сказать, что Адэля за время работы на данном маршруте насмотрелась разных людей, это значит ни о чем не сказать. Как ни странно, именно в динамике работы к ней вернулся прежний смех, который сразу же преобразил ее, сделав не просто очередной контролершей автобуса номер восемнадцать, которая продает талончики, а окутал ее женственностью.

Правда, за Адэлей остались несколько грешков, точнее, вначале эти грешки неожиданно возникли на работе, а уже потом укоренились в ней. Адэля полюбила, когда с ней заигрывают нетрезвые мужчины в автобусе, она, конечно, их осаживает, отстраняет от себя, но потом сама начинает смеяться и оставлять свой телефон, и второй грешок — ее зеленая мини-юбка открыла для нее целый мир мини-юбок, которые она до этого никогда не носила, Адэля вдруг поняла, что не только тело как таковое может быть привлекательным, а смех — возбуждающим, но многое зависит от того, как и во что ты одеваешь свое тело. И так как ее ноги были прекрасны и стройны, то мини-юбка их выставляла только в лучшем свете, одновременно обтягивая сексуально попу.

Так Адэля нашла свое место во Всемирной Истории, так она поняла, в чем заключается ее счастье, и, оставшись продавать талончики в автобусе номер восемнадцать, уже навсегда забыла свою прежнюю жизнь, вернув себе задорный смех и периодически оставляя свой номер телефона нетрезвым пассажирам автобуса, лузгая семечки в кармашек опознавательной куртки контролера и смеясь жизни в лицо.

Таня Малярчук

Aurelia aurita*

Рассказ

С украинского. Перевод Елены Мариничевой

1.

Белла нерешительно присаживается на стул. Белле не по себе. Женщина в белом халате, очевидно, врачаха, с аппетитом поедает персик, принесенный кем-то в качестве взятки за анализ мочи. Другая тоже в белом халате, очевидно, медсестра, уткнулась в журнал учета. Медсестре персик никто не принес, хотя именно ей — есть за что. Врачиха и медсестра сидят за столом напротив друг друга. Белла — на стуле рядом.

— Добрый день, — говорит Белла, но на нее никто не смотрит.

Зачем я сюда пришла, думает Белла, они мне все равно не помогут, только деньги сдерут. Мне денег не жалко, я заплачу, но они не помогут. Посмотри на них: эти две женщины не любят людей. А те, что не любят, не могут помочь в принципе, даже если б чудом этого и захотели.

Сквозь большое немытое окно шарашит солнце.

— Ну и жара! — говорит врачаха своей медсестре. Капля персикового сока стекает ей в декольте. — Хочу на море. — Белла негромко откашливается, и врачаха, нервно тряхнув головой, наконец соглашается принять чье-то присутствие. — Год рождения! — Белла понимает, что обращаются к ней, но не понимает зачем. — Ваш год рождения!

Белла радостно всплескивает в ладоши.

— А! Вот что! Семьдесят восьмой.

— Полностью, пожалуйста!

— Тысяча девятьсот.

Врачиха недовольно смотрит на Беллу.

Наконец увидела меня, думает Белла. Есть врачи, которые могут установить диагноз по внешнему виду пациента. Что у нее болит, думает врачаха, аккуратно вытирая салфеткой руки и губы. Наверное, муж бросил, и все начало болеть. Головная боль неясного происхождения. Да-да.

Медсестра протягивает врачахе журнал учета. Говорит:

— Вчера слышала по радио, что температура воды в Черном море 27 градусов.

— Ох! — театрально стонет врачаха. — 27 градусов! Кипяток! Хочу в купальнике, и на море, и на месяц!

Таня Малярчук (Малярчук Татьяна Владимировна) — прозаик, эссеист. Род. в 1983 г. в Ивано-Франковске. Окончила филфак Прикарпатского университета им. Василя Стефаника в 2005 г. Автор пяти книг прозы. Лауреат украинской премии «Книжка года». Эссе и рассказы переведены на польский, румынский, немецкий и английский. Живет и работает в Киеве.

* Медуза (лат.).

- Так поезжайте, — робко вклинивается Белла.
- Поезжайте! Поедешь тут! Если очередь за дверью с утра до вечера!
- А у вас нет отпуска?

Врачиха искоса взглядывает на Беллу. Запор, думает она. Наверное, не может выкачаться. Я таких, как эта, насквозь вижу. Боже, и чем я думала, когда решила стать терапевтом?!

- Так, — врачиха деловито берется за работу, — как зовут?
- Белла.
- Белла? Вы венгерка?
- Нет-нет, — Белла смущается. — Но я там два раза была.
- Где?
- В Венгрии.

Врачиха с медсестрой обмениваются кривыми ухмылками. Все понятно. Диагноз — психушка, первый этаж, второе отделение, шестая палата.

- Ну и как там, в Венгрии? — изображая приязнь щебечет медсестра.

— Я была давно, честно говоря, плохо помню. Но купила там себе такую красивую бирюзовую куртку. — Белла мечтательно вздыхает. — Ту куртку зажевало в стиральной машине, и пришлось выбросить все вместе.

Дверь кабинета приоткрывается и в щель просовывается чья-то лысенькая, но очень усатая голова.

- Можно? — спрашивает голова.

— Не, ну что за люди пошли! — срывается врачиха. — Подождите в коридоре! Не видите, у меня жен-щи-на! — Дверь поспешно закрывается. Врачиха решительно берется за Беллу. — Белла, семьдесят восьмого года рождения. Тысяча девятьсот. Почему вы пришли? ЧТО У ВАС БОЛИТ?

— Понимаете, у меня... у меня так чтоб болеть, ничего не болит... Просто... не знаю, сможете ли вы помочь... могут ли мне вообще помочь врачи, не знаю...

- Женщина! Или говорите, или никого не задерживайте! Люди ждут под дверью!

- Да-да, я уже говорю.

- Ну?

- Мне снится мужчина.

- Ваш?

- Нет.

- Знакомый?

- Нет.

- Как часто снится?

- Каждую ночь.

- И давно?

- Не знаю. Год. Два.

Диагноз: психушка, первый этаж, второе отделение, шестая палата.

Врачиха молча смотрит в окно. В окно видно трамвайное депо и кладбище старых трамваев.

- Наверное, не надо было так... — бормочет она себе под нос.

— Григорьевна, не вините себя! Все мы люди! — Аллочка только и ждала момента, чтоб высказаться. — И у людей нервы не железные. Ну, сорвались, всякое бывает...

— Да я не то чтобы... Просто... Знаешь, я откуда-то ее знаю... Где-то уже ее видела...

— Григорьевна, сделать чай? Чтоб расслабиться! Я сделаю! Вам какой? Черный или зеленый?

Григорьевна — миниатюрная астеническая блондинка лет сорока пяти. Напоминает экземпляр саранчи, засушенный меж страниц толстой книги.

— Может, и хорошо, что вы в этом году не поедете на море, — угодливо тарыхтит Аллочка, заваривая обещанный чай.

- И почему же это хорошо?

— Я слышала, что в этом году на Южном берегу нашествие за нашествием. Сначала медузы, которых развелось у побережья столько, что невозможно было

купаться. Понимаете, впечатление такое, будто болтаешься в медузах, а не в воде. Ужас сколько. А потом — саранча. Фу. Летала везде, и на пляжах тоже. Целые тучи саранчи. Несколько раз даже нападала на отдыхающих.

— Ну, Алла, ты же медсестра...

— Ну и что, что медсестра? — обижается Аллочка.

— Саранча не нападает на людей. А медузы — та же вода. На девяносто девять процентов вода.

— Григорьевна, — Аллочка ставит на стол перед врачом ее чашку чаю, без сахара и без лимона, — я говорю лишь то, что слышала по телевизору. А медуз, чтоб вы знали, я никогда в жизни не видела.

— Я ее вспомнила! — вскрикивает Григорьевна за пятнадцать минут до окончания смены.

Столетняя бабушка, что сидит перед ней, откликается:

— А? Что говорите? Я ветеран войны, мне полагается бесплатно.

— И кто она? — без особой охоты спрашивает медсестра Аллочка, выпроваживая столетнюю бабушку в коридор.

— Эта Белла... Она из дома напротив. Точно. Я вспомнила.

— Соседка ваша, выходит.

— Я поставила правильный диагноз, — Григорьевна с облегчением вздыхает, — она действительно сумасшедшая.

— И как ее сумасшедство проявляется?

— Врачу иногда хватает одного взгляда, чтобы все понять про пациента.

Медсестра объявляет отбой оставшейся за дверью части очереди. На сегодня прием окончен.

— Она не опасна? — спрашивает Аллочка, закрыв дверь изнутри на ключ.

— Кто, Белла? Нет. Она кошатница. Кормит всех котов в районе. И котов, и псов, не удивлюсь, если и крыс она кормит. Развела целый зоопарк возле дома. Ее все не любят. — Григорьевна причешивается перед зеркалом, потом переобувается — из шлепанцев в туфли на высоких каблуках, снимает белый халат — а под ним тонкое синтетическое салатное платье, — такое, как носила бы саранча, превратись она случайно в человека. — Ха, Белла, — говорит Григорьевна, — какое дурацкое имя. Очень ей подходит. Как бы я рано ни встала — а она уже у подъезда, отбросы раскидывает по пластмассовым мисочкам. Зверья собирается тьма-тьмущая! Страшно пройти, честное слово, псы огромные, по пояс. Я живу на первом этаже, мне все видно. Люди с ней ругаются, но какое там! Не помогает. Смотрит, будто с креста снятая, моргает и молчит. Вызывали и санэпидстанцию, и собачников-шкуродеров, и в ЖЭК заявления писали — все напрасно.

— Смотришь на таких, — с досадой замечает Аллочка, — думаешь, боже, какие хорошие, котиков-собачек кормят, а если копнуть глубже, то почему кормят? Потому что мужика давно не имели. У бабы крыша едет лишь по причине отсутствия мужика.

Григорьевна удивленно таращится на свою медсестру. Никогда бы не подумала, что Алла способна сказать что-то настолько... хм... вульгарное. Вслух же произносит:

— Котики, псы — лишь внешнее проявление вытесненного сексуального влечения.

— Я так и хотела сказать, — Аллочка густо краснеет.

Поздно, думает Григорьевна.

2.

Григорьевне снится война. Она с трудом разлепляет веки. Ей кажется, что вся она — руки, ноги, — все ее тело испачкано чужой кровью. В ушах еще продолжает звенеть от разрывов снарядов.

— Да что же это такое! — выкрикивает в предрассветные сумерки Григорьевна. — Я же никогда войны не видела, фильмы про войну никогда не любила. Откуда это? —

Босая семенит она в ванную, чтоб там ополоснуться холодной водой. Постепенно приходит в себя. — Снова встала слишком рано.

Подходит к окну.

Возле дома напротив Белла кормит кошек и собак. Обьедки аккуратно разложены по разноцветным пластмассовым мисочкам. У каждого своя мисочка, и никто не лезет в чужую. Какой у нее порядок, невольно думает Григорьевна. Слушаются ее.

Чайник кипит. Григорьевна заваривает себе большую чашку кофе. Запах кофе приятно щекочет в носу, и Григорьевне очень хочется закурить. Хорошо, что дома нет сигарет, а то бы не удержалась. С чашкой кофе в руках встает возле окна.

Там все без изменений — Белла продолжает копошиться со своим зверьем.

Котики-песики, думает Григорьевна, а на самом деле секса хочется.

— А ведь хочется, — выговаривает вслух.

Белла никогда не гладит котов и псов, которых она кормит. Некоторые, особенно благодарные создания, лезут к Белле ласкаться, лижут туфли, но Белле их благодарность не нужна.

Я просто их кормлю, думает Белла, сидя в скверике возле подъезда, а кормить — значит поддерживать жизнь и ничего более. Я поддерживаю в них жизнь, а они уже пусть с этой жизнью делают что хотят. Я кормлю их, думает Белла, чтоб оправдать свое бездействие, чтобы хоть что-то делать.

Полвосьмого утра. Григорьевна спешит в поликлинику на работу. То же самое салатовое платье, подпоясана тонким ремешком из кожзаменителя. Ноги, худые и кривые, на каблуках выглядят еще более худыми и кривыми. Огромная блестящая сумка через плечо. Глаза подведены черным. Губы плотно сжаты, кажется, что их нет вообще.

Григорьевна быстро, с высоко поднятой головой проходит мимо Беллы.

Мне нечего мучиться угрызениями совести, думает Григорьевна, я сказала ей правду. Сумасшедшим иногда полезно для профилактики сказать, что они сумасшедшие. Они, конечно, не верят, но зерно сомнения уже посеяно.

— Извините, — Белла трогает Григорьевну за плечо. Григорьевна резко, словно ее ударило током, останавливается. — Извините, — повторяет Белла, — вы терапевт из районной поликлиники, правда?

— Я? — Григорьевна недоверчиво указывает на себя пальцем. — А! Я. Терапевт.

— Вы, возможно, уже не помните меня, — быстро говорит Белла, — я к вам вчера приходила...

— Действительно, не помню, знаете, сколько пациентов за день, всех невозможно запомнить...

— Да-да, это ничего...Я просто хотела извиниться...

— Извиниться? За что?

— Я вас, — говорит Белла, — поставила в такую ситуацию, когда вы вынуждены были повести себя плохо. Но вы не виноваты. Виновата я. Не нужно было приходиться. Врачи не могут мне помочь. Извините. Наверное, я просто хотела с кем-нибудь об этом поговорить.

Григорьевна как-то сжимается сама в себе, уменьшается, открывает свою большую блестящую сумку, заглядывает в нее, а потом, словно убедившись, что спрятать там не удастся, перекидывает сумку через плечо.

— Я вспомнила, — Григорьевна говорит чуть слышно. — Вам снится незнакомый мужчина.

— Извините, — повторяет Белла, давая понять, что разговор окончен. Она отходит назад в свой скверик, где как раз заканчивает утреннюю трапезу бездомный зверинец.

Григорьевна еще какое-то время смотрит вслед Белле.

Какая наглая, думает Григорьевна, врачи не могут помочь... Да врачи все про тебя знают!

* * *

Григорьевна вскрикивает, вытирает горячий пот со лба.

Быстро встает с кровати.

Надевает застиранный банный халат и выбегает из квартиры на улицу.

На улице свежо. Тихо. Белла раскладывает по мисочкам еду псам и котам. Григорьевна усаживается на скамейку рядом и молчит. Белла тоже молчит, хотя сразу замечает гостью. Самый большой из псов, рыжий, с белым кончиком хвоста, недовольно рычит в сторону Григорьевны.

— Тс-с... — Белла гладит пса по спине, и тот успокаивается.

— А мне снится война, — ни с того ни с сего говорит Григорьевна. — Постоянно снится война. Не знаю, почему и откуда. Глупость какая-то. — Белла садится рядом. Такая на удивление спокойная, думает Григорьевна, от нее веет покоем. — Полно крови, полно трупов, бомбы, танки, — говорит Григорьевна. — И откуда? Я вообще никогда не думала про войну, не была, не видела, не слышала. Никто из моих родственников или знакомых не умирал на войне. За всю жизнь ни одного фильма про войну не видала. Ну, может, лишь «Дом, в котором ты живешь». Да, только один этот фильм. Но самой войны там нет. Все умирают за кадром.

Григорьевна беспомощно всхлипывает.

— Может, вам просто нужно отдохнуть, — выдает Белла. Но на самом деле она не знает, что сказать, потому что не разбирается в снах.

— Я уже боюсь ложиться спать... А вы?

— Я нет. Не боюсь. Я жду свой сон.

Белла внезапно меняется в лице, становится мечтательной.

Фу, думает Григорьевна.

— А что он с вами делает во сне... ну, ваш мужчина?

— Он учит меня плавать.

— Что?

— Мои сны всегда одни и те же. Я по пояс в воде, и он в воде, и учит меня плавать.

— Вы не умеете плавать?

— Не умею.

— Во сне не умеете?

— Вообще не умею.

Она-таки сумасшедшая, думает Григорьевна.

— Он дотрагивается до вас? — спрашивает почему-то.

— Никогда. Только стоит рядом и говорит, что делать.

— Странно.

— Ничего странного. Мне хватает того, что он говорит. Я почти уже научилась плавать.

Псы и коты повылизывали свои мисочки и улеглись отдыхать неподалеку. Самый большой пес, рыжий, с белым кончиком хвоста, лежит подле Григорьевны. Будто сторожит.

— Может, когда вы научитесь плавать, все изменится.

— Изменится?

— Ну, может, он как-нибудь изменит свое отношение к вам. Вы же его, ну... он же вам нравится?

Белла краснеет.

— Он хороший, — говорит с грустью. — Очень хороший. Но, понимаете, я его совсем не знаю. Мы с ним никогда не говорили о чем-либо другом, только про плавание. Ничего личного. Может, он ужасно глупый. Как-то все так по-дурацки...

— И вы точно никогда не встречали его в реальной жизни?

— Нет, не встречала. Если б встречала, то запомнила бы.

— Странно.

Григорьевне вдруг показалось, что она в одном из тех хороших запутанных детективов, которые любила читать подростком.

— Понимаете, Белла, вы должны были его где-то видеть. Ваш мозг не смог бы придумать его просто так.

— Почему это мой мозг не смог бы?... — Белла сжимает кулачки.

Ого, думает Григорьевна. Некоторое время они сидят молча.

— А о чем вы хотели поговорить с врачом? ЧТО ВАС ВООБЩЕ БЕСПОКОИТ, БЕЛЛА? — Белла не знает, как ответить, ерзает на лавке, кусает ногти.

— Честно говоря, — продолжает Григорьевна, — можно было бы и попробовать полечиться. Приходите опять, сдайте анализы — я выпишу направления. А потом будем думать. Посмотрим потом. Может, проблема лежит на поверхности. Но мне нужно знать все. Ну, Белла? Что вы еще хотели мне сказать?

Белла чуть не плачет.

Этого только не хватало, думает Григорьевна, сейчас устроит истерику несчастной любви, мне это надо?

— Я хочу большего, — говорит Белла.

— Но, дорогая, это невозможно, он вам снится! Он ненастоящий!

— Почему это ненастоящий?! — Белла трет покрасневшие глаза. — Он просто стесняется. Он нерешительный.

— Он вам снится, Белла, он в вашей голове. Он — это вы.

— Не может этого быть, — и Белла начинает тихонько всхлипывать, — он совсем другой.

* * *

Белла заходит по пояс в воду и ждет. Вода голубая и теплая. Белла видит сквозь нее свои пальцы на ногах, видит крошечных мальков форели. Они крутятся вокруг Белиных ног, легонько, едва ощутимо покусывают, но Белле это приятно.

— Вы готовы? — вдруг слышит его голос где-то сзади.

— Да, — отвечает.

— Как сегодня будем плавать — кролем или собачкой?

— Если можно — собачкой... Я, знаете, больше люблю собак.

Он едва заметно улыбается. Но ему нельзя улыбаться. Он учитель. Серьезный учитель. Снова я сказала глупость, думает Белла.

— Пойдем на более глубокую воду, — говорит он.

— Я боюсь.

— Не нужно бояться. На мелководье вы никогда не научитесь плавать, всегда будете бояться. Пойдем.

Белла делает шаг вперед. Вода уже по грудь. Еще один шаг — по шею.

— Я боюсь. Я дальше не пойду.

— Вы не утонете. Я рядом.

— Я не боюсь утонуть.

— А чего вы боитесь?

Вас, думает Белла, но вслух ничего не произносит.

— Ну же!

Белла делает еще один шаг и беспомощно замирает в воде. Она видит свои хаотически болтающиеся, разведенные в стороны ноги и уже взрослую форель в прогалинах подводных лугов. Глаза рыб время от времени взблескивают против солнца.

— Я не могу плыть. Меня слепят глаза рыб, — в панике шепчет Белла.

— Что?

— Ничего.

— Двигайте руками. Забудьте, что у вашего тела есть вес. Двигайте руками и ногами. Рассекайте ими воду.

— Я тону, — Белла набирает полный рот воды.

— Я вас держу. Вы не тонете, вы плывете.

Беллу обжигают его ладони на талии.

— Оставьте! Не дотрагивайтесь до меня! — кричит Белла.

— Извините, но я думал, вам нужна помощь.

— Мне не нужна ваша помощь. Мне хватает вашего голоса.

Белла, паникуя, разворачивается в воде, чтоб добраться до мелководья.

— Куда вы?

— Я уже поплавала.

— Трусиха.

— Что вы сказали?

Белла уже стоит и тяжело дышит. Выплевывает изо рта воду.

— Собачкой трудно, — говорит она.

— Да, собачкой трудно. Вам нужно научиться плавать по-человечески. Люди умеют плавать по-своему.

— Я не умею.

Он вздыхает. Я уже надоела ему, думает Белла. Он устал от меня.

— Я сочувствую вам, — говорит Белла.

— Почему?

— Вам приходится нянчиться со мной, хоть вы этого и не хотите.

— Кто вам сказал?

— Я вижу.

— Это моя работа. Она мне нравится.

Белла на мгновение взглядывает на него. Думает: «Ему нравится работа, но не нравлюсь я. Так и должно быть. Я хочу слишком многого».

— Вы очень хороший, — вдруг говорит Белла.

— Спасибо.

— Вы меня простите. Я родилась с камнем в груди. Я никогда не научусь плавать.

— Это вам кажется. У меня были сотни таких, как вы. И все научились. Это нетрудно, просто нужно избавиться от страха воды.

— Я не боюсь воды.

— А чего вы боитесь?

«Вас».

* * *

Григорьевна не находит себе места.

— Сегодня так много народу, — говорит она Аллочке.

— Хотите, я их всех отправлю? Скажу, что вы заболели.

— Нет-нет. Скажи, что у меня перерыв. Я пойду куплю себе какой-нибудь пончик. Я голодная.

Григорьевна выходит в коридор поликлиники и быстрым шагом, чтоб не слышать недовольных реплик пациентов, выходит на лестницу. Перед ступеньками останавливается. Раздумывает.

«Я только на минутку. Я по делу».

Бегом поднимается на третий этаж и открывает дверь, с табличкой «Хирург».

— Можно?

— Григорьевна? Конечно, можно!

Седоватый человек, тоже в белом халате, поднимается из-за стола.

— Артем Николаевич, я на минутку. По делу.

Артем Николаевич приглашает Григорьевну сесть на стул. При этом он умышленно касается ее руки, и Григорьевна ощущает холодок, но совсем в другой части тела.

— Григорьевна, вы можете и не по делу, а просто.

— Я по делу, — бормочет Григорьевна. — Ну, это не очень существенно, но я думала, может, вы что-нибудь посоветуете.

— Конфету? — Артем Николаевич вынимает из ящика стола коробку «Вечернего Киева».

— У вас всегда наилучшие, — говорит Григорьевна.

— Для вас — все наилучшее!

— Артем Николаевич, вы флиртуете со мной?

— С такой прекрасной женщиной грех не пофлиртовать, — Артем Николаевич широко улыбается, а Григорьевна берет из коробки одну конфету. — Григорьевна, я весь внимание.

Григорьевна откашливается.

— Такое дело, — говорит она. — Одна моя знакомая... ну ей снится мужчина. Уже два года. Незнакомый мужчина.

Артем Николаевич, кажется, ничуть не удивился тому, что услышал.

— Обычное дело. У женщины без мужчины активизируется фантазия, Григорьевна, — голос Артема Николаевича становится интимнее, — я вам давно говорил: вам нужен мужчина.

— Вы меня не поняли, — вскрикивает Григорьевна, отодвигаясь вместе со стулом поближе к двери, — я не про себя говорю!

— Не стесняйтесь меня, я ваш друг, — говорит Артем Николаевич.

— Я не стесняюсь и поэтому пришла рассказать вам про эту знакомую. Может, вы что-нибудь посоветуете.

— А в чем проблема вообще?! Снится, и пусть снится. Всем хорошо.

— Белле не хорошо.

— Кому?

— Знакомой. Белле. Мою знакомую зовут Белла.

— Странное имя. Она венгерка?

— Нет, но два раза была там.

— Где?

— В Венгрии.

Артем Николаевич задумчиво откидывается на спинку кресла.

Он импозантный мужчина, думает Григорьевна, и волевой. За его спиной чувствуешь себя в безопасности. Он такой, что решит все проблемы.

— Григорьевна, — наконец произносит Артем Николаевич, — все равно суть проблемы такая же. Этой женщине, Белле, как вы ее называете, нужен мужчина. Другого лекарства нет. Причем чем быстрее, тем лучше. На почве сексуального неудовлетворения может развиваться шизофрения.

— Шизофрения?

— Ну да. Мужчина из сна переберется в реальность.

— Как это?

— Она начнет видеть его вживую — вот как. Может, уже видит. Вы спросите у нее.

— Нет-нет, — возражает Григорьевна, — Белле он только снится. Это точно. Но...

— Что «но»?

— Но она хочет большего.

Артем Николаевич поднимается с кресла. Встает сзади Григорьевны и кладет руки ей на плечи. Григорьевна замирает.

— Я вот думаю, — шепчет она, — может такое быть, что медицина не все знает. На уровне физиологии, я согласна, знает, но на уровне душевном? Ведь это все очень индивидуальные вещи. Все зависит от психики, от конкретного человека. Белла не скрывает, что он ей нравится. Он ей нравится. Но Белла боится признаться ему в этом.

— Григорьевна, — так же шепчет Артем Николаевич, — вы делаете ту же ошибку. Вы говорите про него как про реальную особу.

— А вдруг он где-то есть?! Даже в этом городе?! И нужно только помочь Белле его найти. Такое возможно. На свете часто случаются чудеса. Я когда-то читала книжку с похожим сюжетом... Что женщине снился мужчина, а потом она его нашла...

Артем Николаевич склоняется над Григорьевной и целует ее в правое ушко. У Григорьевны перехватывает дыхание. Она понимает, что это нужно прекратить как можно быстрее, но не сразу, не в ту же минуту. Может, в следующую.

— Дорогая, — Артем Николаевич целует ее в изгиб шеи. — Меня не нужно искать. Я здесь.

— Артем...

— Белла... Так ты себя называешь, когда фантазируешь?

Григорьевна подхватывается с места, словно ошпаренная.

— Я ничего не фантазирую! Белла моя знакомая! Я не Белла!

Артем Николаевич смущенно засовывает руки в карманы белого накрахмаленного халата.

— Мне уже пора. Я говорила, я на минутку. Спасибо, что выслушали, Артем Николаевич.

— Не за что.

В дверях кабинета Григорьевна оборачивается еще раз:

— И передайте Алине от меня привет.

— Обязательно передам.

Теперь он выглядит не таким всесильным, думает Григорьевна, глядя на сгорбленную фигуру Артема Николаевича. Мужчины сразу становятся беспомощными, когда неожиданно в разговоре упоминаешь об их женах.

* * *

— Почему ты не пришла сдать анализы, как я тебе говорила? — спрашивает Григорьевна у Беллы.

Они сидят на лавочке в скверике в окружении сытых псов и котов.

— Не знаю, — отвечает Белла, — сомневаюсь, что они мне помогут.

— Не говори так. Иногда одни анализы уже лечат. Я терапевт. Я знаю, что говорю. Такое часто бывает. Сдашь все анализы и уже здорова.

— Но я не чувствую себя больной. Я скорее несчастна. Это же не болезнь — быть несчастной?

— Наверное, нет. Но мой знакомый хирург говорит, что так и до шизофрении недалеко.

— Как?

— Ну, начнешь видеть своего мужчину вживую, не только во сне.

Белла молчит, гладит облезлого кота, а тот мурлычет в ответ.

— Ведь ты еще не видишь его в реальной жизни, правда? — Григорьевна тревожно следит за Беллой.

— Мне это не нужно, — отвечает та. — Мне достаточно сна.

— Ты смотри. Как увидишь, сразу мне скажи. Иначе могут быть проблемы.

— Нигде его здесь нет...

* * *

Воскресенье. Григорьевна идет по Крещатику. Движение автомобилей перекрыто. Григорьевна идет по самому центру дороги, по разделительной полосе. Ей хорошо. У нее есть тысяча гривен, и она собирается прикупить себе что-нибудь из одежды — свитерков, может, даже несколько коротких юбок. Зайдет на первый этаж Центрального универмага, в косметический отдел. Купит шампунь, гель для душа, дезодорант, а то уже все позаканчивалось. Григорьевна очень любит ходить по магазинам, когда есть деньги. В такие моменты она чувствует себя уверенной. Красивой. Такой, что еще принадлежит к активной части этого мира.

Григорьевна в сладком предчувствии покупок. Уже представляет себе, как вернется домой, разложит пакеты с обновками на кровати и по одной начнет их примерять. И все ей будет к лицу (потому что Григорьевна умеет покупать вещи, которые ей к лицу). Все будет таких коричнево-зелено-салатных оттенков, как Григорьевна больше всего любит.

Как бы женщине ни было плохо, думает Григорьевна, у нее всегда останутся ее магазины. Примерять Григорьевна будет гораздо больше, чем в результате купит. Она всегда так делает. Меряет все, что нравится. Даже то, что ей не по карману.

Послеобеденная пора. До закрытия магазинов времени еще много.

Григорьевна идет медленно, без спешки. Она знает, что предвкушение — это самое лучшее. Возможно, она плюнет на все и купит в «Аптеке матери и ребенка» возле пассажа какой-нибудь неприлично дорогуший крем в бледно-розовом тюбике. И потом с этим дорогушим кремом на лице ей будет легче высиживать в поликлинике часы терапевтического приема. И когда станет тоскливо, как это порой случается, она вспомнит про крем.

Такие вещи, думает Григорьевна, облегчают нудную в целом жизнь женщины.

На пересечении Крещатика и Прорезной Григорьевна замечает толпу людей. Ей сразу становится беспокойно. Конечно, это может быть какой-нибудь концерт самодеятельности и толпа вездесущих зевак вокруг. В воскресенье на Крещатике такое часто увидишь. Но эта толпа вовсе не выглядит счастливой, наоборот, чем ближе Григорьевна подходит, тем больше убеждается, что там происходит что-то не очень приятное. На лицах людей Григорьевна читает растерянность и страх.

Ноги Григорьевны наливаются свинцом, в животе начинает бурчать. Еще не поздно, думает Григорьевна, возвращаясь на площадь Незалежности и ныряя в подземку. Еще не поздно. Однако неведомая сила, возможно, инстинкт самоуничтожения, тянет Григорьевну все ближе к центру толпы.

— Что случилось? — спрашивает у кого-то Григорьевна.

Никто не отвечает. Люди топчутся посреди улицы, как слепые куры. Они не знают, куда бежать, потому что не знают, откуда именно надвигается опасность.

— Нам всем пиздец! — выкрикивает длинноволосый человек с гитарой. — Убегайте!

Люди с криком отчаяния бросаются врассыпную.

О боже, думает Григорьевна, снова ничего не удастся купить.

Тетечка, которая продавала на Крещатике механических песиков, умеющих светиться и гавкать, бросает песиков вместе с коробкой на асфальт и бежит куда-то в сторону Золотых ворот. Песики все разом начинают истошно скулить в коробке, словно живые.

Бедные, думает Григорьевна. Ей тоже нужно бежать. Однако ноги приросли к разделительной полосе и не желают повиноваться. Григорьевна хочет закричать, позвать на помощь и не может выдать из себя ни звука.

Помогите, думает Григорьевна, помогите мне! Не бросайте меня здесь! Мне страшно! Возьмите меня на руки и отнесите в безопасное место. Спрячьте меня под прилавком «Аптеки матери и ребенка» — эта аптека совсем близко!

Крещатик молниеносно пустеет. Неестественная враждебная тишина заполняет Григорьевну с головы до пят. Она вся — тишина. Немога и немочь. Стоит совершенно одна посреди широченной улицы, с тысячей гривен в кошельке и, как выхваченный из сумрака светом автомобильных фар кролик, ждет своего конца.

На балконах ближних домов беззвучно, по одному, появляются военные. Григорьевна сразу узнает в этих людях военных. Она видела их по телевизору. Григорьевна тогда, раньше, соврала. «Дом, в котором ты живешь» — не единственный военный фильм, который она видела. Был еще фильм «Битва за Москву». И там была война. Там были танки, и бомбы, и мертвые солдаты в окопах. Там были Гитлер и Сталин. И Жуков. И Зоя Космодемьянская.

«Панфилов погиб», — проносится в голове Григорьевны цитата из фильма. — «Панфилов погиб». «Та-ва-рищ Ра-ка-совский, Красная Паляна, далжна быть взята!»

Григорьевна плачет. Военные на балконах достают свои карабины (или как там называется их оружие) и прицеливаются прямо в Григорьевну. Григорьевна падает ничком на раскаленный полуденным солнцем асфальт Крещатика и накрывает голову руками.

Они меня не увидят, успокаивает себя Григорьевна.

Ага, не увидят! Зачем было надевать это салатовое платье?! Сейчас они меня пристрелят.

Со всех сторон на Крещатик съезжаются танки. Григорьевна всем телом ощущает, как дрожит земля. Григорьевна тоже дрожит.

«Рак-к-ка-с-совский! — Почему-то хочет что есть силы завопить Григорьевна, — Рак-к-ка-с-совский!»

Танки окружают Григорьевну и глушат моторы. Вокруг опять становится тихо.

Григорьевна поднимает голову. Гигантские дула, словно хоботы слонов, повернуты прямо на нее.

— Послушайте, — говорит танкам Григорьевна, — у меня есть тысяча гривен. Хотите?

Танки качают хоботами в знак несогласия.

— А чего вы от меня хотите? Что вам от меня нужно? Я обыкновенный врач с

маленькой зарплатой. У меня ничего нет, даже семьи. Я никому ничего плохого не сделала.

— Никому, говоришь?!!

Верхний люк ближайшего танка открывается и оттуда высовывается маленькая крашеная головка Алины.

— Я тебя сразу па-няла! — кричит Алина. — Ты бегаешь за Артемом Николаевичем! Я тебя сразу па-няла! Разлучница!

Григорьевна встает на ноги, отряхивается. Долго смотрит на жену хирурга Алину Сергеевну, а потом спокойно говорит:

— Пошла ты на х...

И с высоко поднятой головой оставляет поле боя.

3.

«Что я за человек?» — думает Белла.

Заходит в воду.

Сегодня вода темная, аж черная.

«Что я здесь делаю? Чего от него хочу? Мне нужно оставить его в покое. Его и себя».

— Сегодня вода какая-то черная, — говорит Белла.

— Вам нужно научиться плавать в любой воде.

Его голос кажется Белле равнодушным и далеким, словно противоположный берег.

— Зачем мне вообще учиться плавать?

— Вас никто не заставлял. Вы сами захотели.

— Я не хотела.

Белла разворачивается к нему лицом. Он теряется.

— Я думал, вы хотели...

Белла делает над собой усилие и улыбается.

— Я шучу, — говорит она, — конечно, хотела. Это я так шучу. Вы не обижайтесь.

— Начнем, — видно, что он не понял шутку. — Держите спину прямо. И расслабьтесь. Вода вас не съест.

— Но в воде может быть что-то такое, что съедает...

— Помолчите. Вы слишком много говорите. Не говорите и не думайте. Только плывите.

— Я не могу не думать. Я думаю непрерывно...

— Тихо!

Он берет Беллу за руки и тянет на себя. Белла теряет равновесие.

— Оттолкнитесь от дна и работайте ногами. Я вас держу. Не бойтесь. Двигайте ногами, как ластами.

— Что такое ласты?

— Делайте, как я говорю!

Белла повисает на его руках.

— Ну почему вы совсем не двигаетесь, Белла?! Вода вас удержит, только немного помогите ей! Вы идете на дно, как деревянная колода.

Он впервые назвал меня по имени, думает Белла.

— Я никогда не научусь. Оставьте меня.

— Я вас не оставляю.

— Правда?

Он вдруг останавливается и, глядя черными глазами в черную воду, говорит:

— Чего вы от меня хотите, Белла?

* * *

Медсестра Аллочка врывается в кабинет и садится напротив Григорьевны.

— Вы слышали?

— Что? — Григорьевна чувствует себя слабой и как будто больной. Григорьевну раздражает Аллочка и этот ее непонятно откуда взявшийся ажиотаж.

— Помните ту сумасшедшую кошатницу, что к нам приходила? Вы еще говорили, что она ваша соседка. Какое-то странное имя — французское или итальянское...

— Венгерское.

— Ну да, венгерское.

— И что? Говори, не интригуй.

Аллочка выдерживает паузу.

— Сделать вам чай, Григорьевна? — говорит.

— Алла! Что там случилось?! Что ты знаешь?

— Сегодня утром ее забрали.

— Кто забрал? Куда?

— Ну, в психушку. Мне водитель «скорой» рассказал, а я сразу поняла, что это она.

Григорьевна поднимается и нервно ходит вокруг Аллочки.

— Вряд ли это она. Зачем бы ее забирать?

— Григорьевна, здесь сомнений быть не может. Сто процентов наша кошатница. Все как вы и сказали: первый этаж, шестая палата!

Аллочка достает из сумки два пряника, один начинает есть сама, другой дает Григорьевне.

— Возьмите, скушайте, подкрепитесь. Небось, еще ничего не ели, правда?

— Алла, расскажи все, что ты знаешь.

— Да что тут рассказывать. Разгуливала по улице в чем мать родила!

— Что?

— Да-да. Голая, совсем голая ходила по вашей Петропавловской в сопровождении двух десятков бездомных псов и котов. То еще зрелище! Двоих санитаров псы покусали, — защищали свою хозяйку. Такой был шум, что даже сигнализация на машинах сработала.

— Этого не может быть, Алла...

— Ну да, не может... Я вам говорила: баба без секса дуреет.

Григорьевна без сил опускается в кресло и закрывает руками лицо.

— Григорьевна, с вами все в порядке? Я хочу сегодня отпроситься пораньше. У моей тети день рождения.

— Да, конечно.

Григорьевна нервно дышит, хватая ртом затхлый медикаментозный воздух.

— Слушай, Алла, я у тебя кое-что попрошу взамен. Стрельни для меня у кого-нибудь сигарету.

— Вы же два года держались, Григорьевна...

— А толку-то?

* * *

В белой льняной рубашке, с растрепанными волосами, с широко раскрытыми от удивления и страха глазами Белла выглядит даже привлекательно.

Если б я была мужчиной, думает Григорьевна, то могла бы влюбиться в нее.

Белла, съежившись, сидит на больничной койке. В палате еще шесть коек, но пациенты на них не шевелятся и как будто не дышат. Просто глядят в потолок.

— Белла! Что случилось?! — Григорьевна присаживается на краешек Беллиной кровати. — Как это произошло?!

— Я не знаю, — отвечает Белла.

Два здоровенных мужика в зеленых халатах слоняются по коридору, время от времени заглядывая в палату. Вот в чем разница между нами и ними, думает Григорьевна, мы ходим в белых халатах, а они в зеленых.

— Здесь нельзя делать резких движений, — говорит Белла. — Нельзя бегать, прыгать, кричать, чихать, петь.

— Ну... — Григорьевна мнетя, — без всего этого можно обойтись.

— Я и не жалуюсь. Нет-нет. Мне здесь неплохо.

Григорьевна молчит. Из окна палаты видно церковь.

- У тебя красивый вид из окна, — говорит.
- Мы можем ходить в церковь молиться.
- Отпускают?
- В заборе есть дырка. Больные лезут через дырку в заборе.
- Никто не сбегает?
- Никто. Все возвращаются назад.

Григорьевна подсаживается ближе к Белле.

- Белла, что случилось? Ты же вроде была нормальной?

- Нормальной?

Наверное, нельзя так сразу, думает Григорьевна. Нельзя на нее давить. Сама расскажет.

— Мне так неловко... так неловко из-за всего этого, — глухо бормочет Белла. — Я веду себя как настоящая идиотка. Хорошо, что я сюда попала.

- Ну, не наговаривай на себя. Никакая ты не идиотка.

- Но я с ума схожу от этой тишины.

Григорьевне нечего ответить.

— Тишина и вокруг и внутри, — продолжает Белла. — А я хочу закричать, завизжать во весь голос. Чтобы люди не знали, куда меня деть и как закрыть мне рот.

- Успокойся, Белла.

- Ненавижу покой. Ненавижу все, что находится в покое. Ненавижу себя.

Только теперь Григорьевна замечает, что Беллино лицо приобрело какой-то болезненный, синюшный оттенок.

- Ты себя недооцениваешь, — говорит Григорьевна.

— А нечего оценивать. Меня, если подумать, на самом деле и нет. Только сгусток дрожащего, перетекающего вещества, без цвета, запаха и вкуса.

— Расскажи мне, что случилось, Белла. Это как-то связано с мужчиной, который тебе снится?

— Наверное, я смотрела на него не так, как нужно. Это его рассердило. И правда, почему он должен меня терпеть? Он спросил, чего я от него хочу. И я сказала, — Белла запинаясь, — что всего. Что хочу от него всего.

- Ох, Белла, зачем ты это сделала?!

— Потому что я больше так не могла — быть с ним и без него. Я сказала, что хочу всего, а он лишь криво усмехнулся, не глядя на меня, и пошел прочь. Ничего не ответил. Даже не посмотрел на меня на прощание.

— Тебе нужно его забыть, — категорически заявляет Григорьевна. — Забудь о нем, Белла! Господи, да что же он за мужчина?! Настоящие мужчины так себя с женщинами не ведут! — Тело на соседней койке зашевелилось, и Григорьевна переходит на шепот. — Имей гордость, Белла, забудь о нем. Знаешь, сколько еще их у тебя будет? Ого-го сколько!

- Бреешь ты все, — доносится с соседней кровати.

Белла ложится на койку так же, как остальные пациенты. Кажется, что даже не дышит, просто смотрит в потолок.

Григорьевна неловко топчется рядом. Наконец решается спросить о том, о чем ее подмывало спросить с самого начала:

— Белла, а почему ты ходила по улице голой? — Та не отвечает. — Белла, ты меня слышишь? Скажи мне. Я твой друг. Я должна знать.

— Оказалось, что у меня нет купальника, — спокойно отвечает Белла и закрывает глаза.

4.

- Григорьевна, вы курите?

Артем Миколаевич с пластиковым стаканчиком растворимого кофе в руках возвращается после обеденного перерыва в поликлинику. Григорьевна стоит возле парадных дверей, как раз рядом с урной, и наспех докуривает десятую за сегодня сигарету.

- А что?

Григорьевна старается на него не смотреть.
— Нехорошо, когда врачи курят.
— Терапевтам можно.
Артем Миколаевич улыбается и встает рядом с Григорьевной.
— Хотите глотнуть моего кофе? К сигарете кофе — как раз хорошо.
— Спасибо, — Григорьевна берет у него пластиковый стаканчик.
Как будто поцеловались, думает надпивая.
— Как у вас дела? Что не заходите ко мне?..
— Времени нет. Так много всяких дел. Не хочу вам голову морочить, Артем Миколаевич.
— Григорьевна, вы мне никогда голову не морочили, потому что я ее теряю, когда вас вижу.
И как мне это выдержать? — думает Григорьевна.
— Может, зайдете ко мне в конце смены? Поговорим. У меня есть ваши любимые конфеты.
— Не знаю... Наверное, не смогу..
Артем Миколаевич берет Григорьевну за руку.
— Вы что-то похудели или мне кажется?
— Кажется. Куда мне еще худеть? Я и так как саранча.
— Если и саранча, то очень хорошенькая.
Артем Миколаевич еле заметно гладит Григорьевне ладонь. Ладонь печет огнем.
— Как ваша знакомая... Белла? — с загадочным видом спрашивает Артем Миколаевич.
— Хорошо.
— Ей больше никто не снится?
— Вы знаете, больше не снится.
— Как жаль, — Артем Миколаевич разочарован.
— А знаете что, Артем Миколаевич, — Григорьевна подходит к нему вплотную, — а знаете что? Поцелуйте меня прямо сейчас. Здесь и сейчас. Поцелуйте меня.
Артем Миколаевич испуганно вытаращивается на Григорьевну.
— Зачем здесь, — бормочет, — приходите ко мне в кабинет... В конце смены... Там спокойно, без свидетелей..
— Здесь и сейчас, Артем Миколаевич, — Григорьевна закрывает глаза и подставляет ему губы.
«Все или ничего».
— Григорьевна, что вы делаете? На нас люди смотрят.
— Пусть смотрят.
— Так нельзя. Нужно знать приличия.
Григорьевна отходит в сторону и закуривает одиннадцатую за сегодня сигарету.
— Как Алина? — спрашивает спокойно. — Передавайте ей привет.
— Обязательно передам, — говорит Артем Миколаевич и, ошарашенный, заходит в помещение поликлиники. — До свиданья.
Нужно хоть раз в жизни от чего-то отказаться, думает Григорьевна, впуская в легкие облако дыма.
«Да-да. То, от чего мы отказываемся, делает нас сильнее».

* * *

Григорьевна быстро идет по Крещатику. Солнце слепит глаза. Григорьевна щурится и ничего, кроме солнца, не видит. Что-то подгоняет ее. Что-то внутри нее шепчет, что нужно спешить, что в конце пути ее, Григорьевну, ждут. И она почти бежит. Вокруг, вдоль всего широченного Крещатика, лежат мертвые окровавленные тела. Григорьевна аккуратно через них переступает. Не обращает на них никакого внимания.

Не добежали, думает, не успели.

Еще немного, и я буду счастлива, думает Григорьевна. Когда война заканчива-

ется, хоть кто-то да остается. И тогда этот кто-то становится по-настоящему счастливым. Да. После войны приходит счастье.

На углу Крещатика и Прорезной Григорьевна останавливается. Шеренга военных с автоматами перекрывает ей дорогу. Военные в шлемах. Григорьевна не видит их лиц.

— Эй, вы! — кричит им Григорьевна. — А ну, расступитесь! У меня нет на вас времени. Мне нужно пройти дальше. Там меня ждут.

— Никто тебя там не ждет, — отвечают военные.

— Вы врете. В конце концов вы ничего не знаете. Вы тупые, как деревяшки.

Военные шепчутся между собой. Григорьевна нервничает.

— Расступитесь, — повторяет она. — Мне нужно пройти дальше.

— А почему ты так уверена, что нужно?

Какие невоспитанные, думает Григорьевна, тыкают мне, будто я с ними свиной пасла.

— Нужно, я знаю, что нужно.

Военные расступаются, и вперед выходит Артем Николаевич. На нем офицерский мундир. Мудир ему очень к лицу.

— Красивый мундир, — говорит Григорьевна.

— Григорьевна, что вы здесь делаете?

— Я? Прогуливаюсь.

— Врет, — говорят военные.

— Ну хорошо, — Григорьевна краснеет. — Я шла к вам, Артем Николаевич. Ведь вы меня ждали, правда?

— Ждал, но не так чтобы очень, — тихо отвечает он.

— Ну, главное, что ждали. Теперь все будет иначе.

Военные подталкивают Артема Николаевича в спину, мол, скажи ей, не тяни.

— Григорьевна, — начинает Артем Николаевич, — все это, знаете, было несерьезно.

— Несерьезно? Не вижу в этом ничего страшного. Я люблю шутки и люблю, когда шутят. Я вообще думаю, что людям нужно больше смеяться. — Артем Николаевич молчит. — Я, Артем Николаевич, знаете, как думаю? Что главное между людьми — это взаимный интерес. Чтоб люди интересовались другими людьми. Вот возьмем нас с вами. Вы мне интересны. Мне любопытно, что вы за человек. Как и о чем вы думаете. Как ведете себя в разных ситуациях. Я вас еще совсем не знаю, но уже очень вам рада. Я в предвкушении узнавания, понимаете меня?

— Я не совсем вас понимаю, Григорьевна.

— Все очень просто, Артем Николаевич! Вот скажите, я вам интересна? Интересно вам, кто я такая?

— Я вроде знаю.

— Ничего вы не знаете! — Григорьевна чувствует, как у нее по лбу стекает капелька пота. — Артем Николаевич, скажите, что вы хотели от меня, когда так часто приглашали меня к себе в кабинет, когда дотрагивались до меня, целовали меня в ухо или шею? Скажите, чего вы от меня хотели?

— Ничего, — отвечает Артем Николаевич.

Он жестом отдает своему войску какую-то команду. Григорьевна ее не понимает. Она стоит посреди дороги, расхристанная, распатланная, на кривых ногах и высоких каблуках, и в груди у нее что-то ужасно громко бухает.

Артем Николаевич исчезает за шеренгой солдат. Те прицеливаются и все разом, залпом стреляют Григорьевне в грудь. Прямо в сердце.

«Панфилов па-гиб!»

Григорьевна падает на колени и краем глаза замечает большое багряное пятно на своем любимом салатном платье. Пятно становится все больше.

— Мое сердце, — шепчет Григорьевна, — оно так болит. Так болит.

Солнце затягивает черным туманом.

Кому же я тогда интересна? Кто будет меня любить?

Прислушивается к своему сердцу. Еще мгновение, и я умру.

Но сердце, простреленное, все равно бухает.

5.

— Григорьевна, куда мы пришли?

Белла робко заходит в незнакомое здание. Григорьевна радостно хлопает в ладоши.

— Как куда, Белла? Мы пришли плавать!

— Плавать?

Григорьевна уверенно ведет Беллу за собой. Они проходят через холл, минуют черные коридоры и раздевалки и оказываются перед гигантским бассейном с голубой-голубой водой. Бассейн разделен на четыре дорожки. Теплый хлорированный пар щекочет Белле ноздри.

— Но, Григорьевна, я... у меня... у меня нет купальника.

— Я обо всем позаботилась! На! — Григорьевна вынимает из сумки купленный для Беллы купальник. — Он не ахти, но на первое время хватит. Мы будем здесь плавать каждую субботу. Пойдем переодеваться.

Белла растерянно застыла на месте.

— Но я не могу. Я не умею плавать.

— Не умеешь? Белла, мы с тобой знаем, что это неправда. И сейчас мы покажем, на что мы способны!

* * *

— Я никогда не спрашивала вас, что это за море?

— Море? Вы думаете, это море?

— Ну да, я не вижу противоположного берега.

— А сейчас? — Он делает шаг по направлению к Белле.

— Не вижу.

— А сейчас? — он уже на расстоянии вытянутой руки.

— Что-то еле заметное виднеется над линией горизонта. Но я не знаю, земля ли это. Может, это земля. Может, это тень моря.

— А сейчас? — Он встает совсем рядом с Беллой. Его губы касаются ее лба.

— Зачем вы меня мучаете? — шепчет Белла.

— Потому что вы до сих пор не научились плавать.

— Я уже научилась. Я умею плавать.

Белла ложится спиной на воду, отталкивается и так, на спине, плывет на глубину. Видит сквозь поднявшиеся брызги его — удивленного и обескураженного. Плышет все быстрее, аж пока его фигура не исчезает в седьмых водах. Вода становится холодной и тяжелой.

Теперь я одна, думает Белла.

Она лежит на воде и колыхается на морской поверхности. Без движения. Без боли. Без слез.

И миллионы медуз, больших и маленьких, розовых и фиолетовых, так же колыхаются рядом. Без движения. Без боли. Без слез.

Елена Одинокова

Жених

Рассказ

— Понюхай. — Баhti подставляет мне ухо. — Что, лучше пахнет, чем твой хиюго бос?

Я смотрю в окно:

— Лучше, лучше. Отвянь.

— Ка... кантарафакт. — улыбается Баhti. — Прошлый месяц я и Шахриер в город ездил, сто рублей на площадь продавали. А ты свой хиюго бос за тыща рублей брал.

— Тысяча девятьсот пятьдесят.

Баhti взвизгивает по-девчачьи — то ли от радости, то ли от ужаса перед такими деньжищами. У них на родине юрист в месяц получает пятихатку, а сапожник — штуку в пересчете на наши рубли..

Хуршед берет его за ворот и быстро-быстро лопочет что-то на фарси. Баhti pinaет его кроссовками:

— Сам он Хуршеда, блять. Что он мне женское имя называет? Скажи ему! Баhti — женское имя.

— Отвянь, Баhti. — Я вытягиваю ноги и кладу свернутую куртку под затылок. Мне по барабану, как его называют — Баhti, Баhtiер или вообще Гульнара.

— Саша-джян... — Баhti пристраивает голову мне на плечо. Бесцеремонная жопа, вечно лезет, трогает мои вещи — диски, мобильник, одежду.

— Дома плюс тиридцать, тепло. — Баhti зевает.

Автобус подпрыгивает на ухабах, мы сидим на местах в конце салона. Еще немного — и я пробью макушкой потолок. Какая-то девка впереди обернулась, косится на моих таджиков розовым глазом, шепчет что-то подруге. Вторая говорит: «Кавай!», обе хихикают. Хуршед поджал губы и отвернулся к окну, как будто едет один.

— Саша-джян? — Баhti хлопает меня по бедру.

— Чего?

— Сматри, что я придумал. Если положить золото внутри мыло, его металлоискатель не найдут?

— Кому ты нужен с твоим золотом...

— Не, сматри, у нас золото дороже. На таможня искать будут. Я ложу внутри мыло и зубная паста другой конец. Никто не найдет.

— Это еще у Артура Хейли было, дурак. Там бабу поймали с кольцом в зубной пасте.

— Щто, правда поймали? Штраф платил? — Баhti грустнеет.

— Это в книге. — гавкает Хуршед.

Елена Одинокова — прозаик, магистр гуманитарных наук, родилась в 1979 году. Возглавляет творческое объединение «Неоновая литература» на базе одноименного сайта, совместно с Н.Зыряновым издает бесплатную газету «Художественная литература и другие хроники нашего времени», где печатает талантливых малоизвестных авторов. Участница форумов молодых писателей России, международного конкурса современной драматургии «Евразия». Публиковалась в журналах «Один из нас», «День и ночь», «Гипертекст», антологии «Современная литература народов России» и «Антология альтернативной литературы». Живет в Санкт-Петербурге. В «ДН» печатается впервые.

Он сын дипломата и стыдится кузена из деревни. Хотя чего стесняться, если оба тут заливают бетон? Хуршед — высокий, видный мужик, чем-то напоминает актера из старых индийских фильмов. Огромные глазщи, шнобель — настоящий ариец, а не какая-то там «белокурая бестия». По-русски говорит без акцента, потому что учился в хорошей школе, а потом в вузе, пока не отчислили.

Баhti маленький, худенький и похож на девочку. Он, конечно, всеми силами пытается доказать, что крут. В прошлом году на каком-то празднике участвовал в соревнованиях по борьбе и выиграл козу. Хуршед тогда назвал его деревенщиной и получил от Баhti по морде.

Мне нужно довести две эти черные задницы до аэропорта, упаковать, обвешать бирками и отправить на родину. Баhti выдают замуж, то есть женят на приличной таджикской девушке. Он заработал на свадьбу, он не какой-то там кунте. Сейчас папа срочно достраивает его новый дом, мама печет всякую херню к свадьбе, а специально нанятый повар закупает продукты для плова на сто человек. Баhti, несомненно, крут.

— Слышь, — говорит Хуршед. — Золото — это детские игрушки. Я когда был маленький, у нас героин возили в поезде Душанбе — Москва. А героина было хоть жопой ешь. Ну так вот, проводники придумали его в горячей воде размешивать и пол в плацкартном вагоне мыть. И прикинь, заходят туда менты с собакой, а она ничего не может унюхать, потому что героин повсюду. Посидит, побалдеет — и все, дальше бежит. А если в обморок хлопнется, подумают, что тепловой удар, вроде как намордник слишком тесный, собаке дышать трудно.

— Что ты мне зубы заговариваешь, выезаем! — Автобус пронесется мимо здания аэропорта.

— Не ссы. — Хуршед хлопает меня по колену. — Самолет не сегодня. Вещи у тебя положим, погуляем, а завтра полетим.

— Заткнись, мы едем обратно. — Я вскакиваю. — Остановите, пожалуйста!

— Саша-джян! — Баhti виснет на моей шее. — Саша-джян, мы будем тихо. Еще невеста подарок купить надо.

Хуршед начинает ржать непонятно над чем.

— Ну? — Я заглядываю в его наглые глаза.

— Ничего, ничего, потом скажу. Ты один живешь?

— Один, и что?

— Короче, этот долбодон еще девственник.

— Ты охренел? — Я пинаю его в бок. — Все, едем обратно! У меня не таджикский бордель.

— В багаж. Ты не сдашь духи и лак, — напевает Хуршед. Он и не думает вставать.

— Саша-джян, пожалуйста! — Баhti пританцовывает как левретка и пытается усадить меня обратно.

Пожилая тетка с ведром нарциссов рвякает:

— Молодые люди, хватит скакать, вы и так своими вещами весь проход заставили!

Другие пассажиры перестают клевать носом и смотрят на нас исподлобья. Мы едем дальше молча, глядя в окно.

— Откройте заднюю дверь, — требует Хуршед.

— Писец, уже ведут себя как хозяйева, — цедит сквозь зубы водитель и смотрит на меня, как будто я тоже таджик и «понаехал».

Мы вываливаемся из автобуса как бараны, ручки сумок цепляются за чьи-то ноги, пластиковые пряжки трещат, Хуршед матерится, Баhti постанывает от натуги.

— Нахуя тебе столько барахла? — я даю ему подзатыльник.

Вещи брошены в коридоре, Баhti с Хуршедом забились в ванную, торчат там уже полчаса. Стучу им:

— Пол не залейте, вы уедете, а мне с соседями разбираться.

Хуршед оприходовал мой фен, Баhti отталкивает его от зеркала и старательно зачесывает свою волосню. Брызгается моим парфюмом:

— Ну, мы пашли?

— Куда это вы пошли?

— Саша-джян, ты обещал! — Баhti смеется и подмигивает мне. У него хорошее

настроение. У таджиков всегда хорошее настроение, потому что они курят много травы. — Я тебе все что хочешь привезу. Я вернусь через месяц. Я быстро женюсь. Слушай, Саша-джян, полети со мной, а?

— Что мне там делать?

— В гости... — Они всегда приглашают в гости. Им это раз плюнуть. Гостеприимный народ. Я еще не видел ни одного русского, который бы хотел к ним в гости, но они нам всегда рады.

* * *

— Видел, как этот мудака магазин назвал? — хихикает Бахти. — «Сикаман»! Значт, он всех ибят будет.

— Скажи ему «каракет маймун», — шепчет Хуршед. — Ну, скажи.

Хозяин-узбек щурит и без того узкие глазки. Бахти берет пиво и презервативы, хозяин лыбится:

— У меня вчера таджичка отсосала за двести рублей. На тебя похожа.

— У меня вчера твоя мамаша отсосала за сто рублей, — отвечает Хуршед. — И сам ты конченный пидор.

— Бар кутак та! — Узбек показывает ему вслед средний палец.

Телки водятся недалеко отсюда, в «кармане», где стоят фуры. Вести переговоры приходится, конечно, мне. Чуваки хотят снять одну на двоих. Почему не двух за ту же цену? Меня всегда волновал этот вопрос. Может, они думают, что две возьмут дороже?

Фуры выстроились в ряд, водители полулежат в кабинах, дреплются друг с другом, дремлют, скучают. Здесь как-то особенно жарко и пыльно, воняет выхлопными газами, на жухлой траве валяются старая резина, посеревшие бутылки, ветошь. Я в этом пекле за полдня сошел бы с ума, а эти еще и пистонятся.

У проститутки обычная внешность: худая, на вид лет тридцать, волосы плохо помыты и отливают красным. Похожа скорее на продавщицу или уборщицу. Там стояла и другая, помоложе, но чуваки выбрали эту. Логично: если страшная, значит, меньше берет.

— А может, у вас там еще семь человек? — Она мнетя. — Не, не пойду. Я еще жить хочу.

— Девушка! — ей свистят сверху. Дверь кабины старого «Вольво» открывается, оттуда падают резиновые шлепанцы. — Девушка, идите к нам!

— Идите на хуй, — тихо отвечает она.

Водила спрыгивает за тапками, на нем мятая клетчатая рубашка и треники, мокрые волосы торчат сосульками. Таджики разглядывают его и смеются.

— Чего это они? — удивляется блядь.

— Настроение хорошее.

* * *

Хуршед предлагает мне первому.

— Каракет маймун, ты за кого меня принимаешь?

— Как хочешь. — Он расстегивает штаны.

Жопа у него знатная — крепкая, ровного золотистого цвета, как из солярия. У белых порноактеров на задницах бывают прыщи, синяки, шерсть, а этот чистенький, хоть сейчас снимай. Я сижу в кресле напротив, пью пиво и наблюдаю, как его темный член въезжает в тело русской дуры. Гастер вставляет продавщице. Тоска...

Бахти примостился рядом, курит, ждет. Этот знай себе долбит, даже не вспотел, только джинсы с трусами снял, чтобы не мешали.

— Саша-джян? — шепчет Бахти. — Пошли на кухню, у меня один пакет ест.

— Сидеть! — командует Хуршед. — Смотреть, учиться!

Бахти закатывает глаза.

— Давай. — Хуршед слезает с бабы и брезгливо снимает презерватив.

Бахти потерянно смотрит на меня, на нее, на двоюродного брата.

— Слушай, может, ты мне скидка сделаешь? У него большой, а у меня маленький.

Тетка трясется от смеха, сжимая коленки.

Баhti тоже хохочет и пытается надеть презерватив, резинка соскальзывает и шлепается на простыню. Хуршед что-то говорит, Баhti вспыхивает и кидается вон из комнаты.

— Отстань, он, наверное, не хочет.

— Не хочет? Такого не бывает!

Тетка миглом одевается и исчезает, я едва успеваю сунуть ей деньги.

Хуршед на кухне орет что-то по-таджикски, Баhti влетает обратно в комнату:

— Ты ее тоже ибат не стал, она уродина! Зачем джальяб, когда меня невеста ждет! Скажи ему!

Хуршед, мерзко хихикая, отвечает что-то обидное, Баhti снова кидается на кухню, через секунду я вижу его с ножом.

— Э, э! — Хуршед отбивается табуреткой.

— Э-э-э, стоп!

Маленькие руки Баhti мелькают быстро-быстро, у Хуршеда на плече сочится кровью тонкая царапина.

— Прекрати сейчас же!

Баhti так же внезапно приходит в себя, сует нож обратно в деревянную подставку и начинает рыться в сумке.

— А если бы ты его зарезал? Нахуя мне дома мертвый таджик? Думаешь, мне охота с милицией разбираться?

— Я не зарезал, он же мой брат. Саша-джян, он мне херню говорит.

— Почему херню? — Хуршед садится голой задницей на табуретку. — Если у него на женщину не встал, это не херня, а объективная реальность. Бегаешь за тобой как собачка. Японский хин.

— Трусы надень. — Баhti вытаскивает свой пакет. — Саша, у тебя бумага есть?

— Курите залупу, — скалится Хуршед.

Мы курим, он смотрит. Забирает медленно, мы с Баhti за зиму скурили хренову тучу этой травы. Правда, я на этом все равно ничего не сэкономил, для знакомых у них те же расценки.

— Лохи. — Хуршед так и сидит в одной майке и черных носках, от него воняет спермой, дезодорантом и псиной. — Ло-хи. Мудозвоны.

— Он мне завидует. — Баhti выдыхает облачко конопляного дыма. — Восемь лет старше. Дома нет, жена нет, ничего нет.

— Ага, завидую. — Хуршед кривит губы. — Мне тоже нужен дом в ебенях, чтобы жить там две недели в году. И страшила из соседнего села, с которой я даже не знаком.

— Она не страшила, я фотография видел. — Баhti снова роется в сумках и достает мятую фотку. Девушка низенькая, жирная и узкоглазая.

— Красавица, — я цокаю языком.

— Ага, и по росту ему подходит. — Хуршед вытягивает ноги. Всю кухню своими копытами перегородил. — Зачем тебе жена? Ты с ней ничего не сможешь. Русского мужика себе найди.

— Саша-джян, можно, я его убью?

— Нельзя.

Хуршед уставился на меня наглым взглядом.

— Чего? — спрашиваю я. — У тебя же реально нихуя нет.

— У тебя тоже, — отвечает. — У тебя даже машины нет. Будь у меня российское гражданство, я бы давно в офисе сидел и за те же деньги ни хрена не делал. Я женюсь на русской. Сейчас времени нет на дискотеки ходить, а то давно бы нашел. У вас тут все девушки красавицы...

У меня в животе разливается неприятный холодок. Чурка расселся на моей кухне, свесив яйца, и ржет надо мной в открытую. Русскую блядь он уже натянул, теперь пытается и мне показать, кто в доме хозяин. Я вышибаю из-под него табурет:

— Одевайся.

— Саша-джян! — Баhti влезает между нами. — Не слушай его, он долбодон хренов.

— Не он тут самый умный.

Я выкладываю из бумажника большую часть денег. Иду чистить ботинки, в сра-

ной области повсюду глина и навоз. У меня уже четыре пары нечищенных, потому что возвращаюсь и сразу падаю в койку, а утром не успеваю. Новые — и те испачкал, пока до автобуса бежали.

— Саша-джян? — Баhti взваливает одну сумку на плечо и поднимает вторую. — Мы тебя достали, да?

— Не, мы едем твоего братца женить.

— Что, серьезно? — Баhti делает большие глаза. — Ты ему невеста найдешь?

— Он сам себе найдет.

* * *

Хуршед тупой. Даже не потому, что его вышибли из РУДН, в который пристроил папа. Оттуда и поумнее выгоняли. Он тупой, потому что думает, что таджики могут дружить русских. Татары дрючили — теперь у них от национальности остались одни фамилии. Грузины и евреи дрючили. Конкретно так. Полстраны отправили в лагерь, а потом еще полстраны продали. Почему-то никто даже не вспоминает, что страной руководил грузин — мол, русские сами себя истребляли, потому что это нация рабов и стукачей. Нет больше грузин и армян, нет татар и евреев, нет чукчей и немцев, есть только русские.

Единственная заслуга таджиков — в том, что они дешевле азеров. Они дешевле всех и не пьют. На самом деле, конечно, пьют, но стыдливо, по ночам, когда Аллах спит. Или под крышей, когда Аллаху не видно. И эти дешевки думают, что тоже могут вставить русским. Хрена те! Они помогают любому русскому ваньке чувствовать себя хозяином большой страны. Даже русские бомжи считают, что они круче таджиков. Даже русские бляди знают, что у таджиков маленький хер. Короче, Хуршед, ты лох.

— Наим? — Бла-бла-бла по мобиле. — Щас Наим за нами заедет, он «восьмерку» купил. — Хуршед пританцовывает у автобусной остановки.

— Ой-ой-ой, «восьмерка». Спортивное купе. Почти «порше».

— У тебя и такой нет.

— Да нахуя она мне, в пробках стоять?

— У тебя и прав нет.

— Надо будет — куплю.

Наим действительно подруливает минут через десять на «восьмерке» с дырявыми порогами. Владелец тачки молодой, узкоглазый, выражение лица отрешенное.

— Родственник?

— Не, пазнкомилс прошлм гаду. — Наим надменно щурит глаза.

Баhti берет его правую руку, прижимает к животу и обнимает Наима левой, Хуршед делает то же самое, но при этом косится на меня — мол, не так поймет.

Мы с Баhti втискиваемся на заднее сиденье, Хуршед на переднем вытягивает ножищи. Сзади он бы просто не поместился. Двери провисают, как во всех восьмерках; когда Наим вставляет ключ зажигания, сама собой включается печка. Клевое зубило купил у русских свиней крутой таджик.

— Ехт куда? — Наим выключает свою позорную печку.

— Хуршеда спроси. Он знает, на какой дискотеке русских телок снимать.

— Я на прошл неделя русски девушк пасадил, — говорит Наим. — Отвез ее куда-то в ебенья, Приморск район. Ана ксива дастал и пистолет мне в голову тикат, типа в милиц работает. Хрен знаит, можът, правда в милиции. Так и довез бесплатн.

— Наш Хуршед найдет не такую. Ему нужна порядочная девушка, правда, Хуршед?

Он выбирает диско-бар в спальном районе. Тоже мне, танцор диско. Я бы на его месте поехал куда-нибудь в Центральный район или на Петроградскую, там публика толерантная, половина — голубые. Эти тебя не вытянут, по морде не дадут, а кавайного мальчика Баhti еще и угостят сладеньким.

Наим обещает заехать часов через пять. Спускаемся по бетонной лестнице, в подвале сыро, музыка бьет по барабанным перепонкам. Лет десять назад я бы от такой параша блевал, а сейчас уже ничего не воспринимаю, таджики на объектах слушают смесь «Энигмы» с русской попсой и Шабанами Сурае, мне все равно.

В кабаке довольно мило: чистый туалет, голые крашеные стены, низенькая

сцена, микшерный пульт, четыре шеста. На столиках крупными буквами написано «Балтика», и пиво относительно дешевое. Тут уже сидят пацанчики, которые его пьют. Их много, они прилично одеты, выглядят здоровыми и веселыми. Короче, то, что нужно. Девки тоже имеются. Вечер только начался, девицы заказывают себе по маленькому пиву, достают тонкие сигареты. Хуршед сразу дал прикурить двум телочкам, которые сели в углу за барной стойкой, подальше от колонок. Тетки не первой свежести — это правильно, у них стабильная работа, жилплощадь, биологические часы тикают. Официантка приносит пиво. Хуршед складывает ладони рупором:

— А это мой двоюродный брат, он собирается жениться!

— Как интересно! — Тетка причмокивает, вынимая изо рта сигаретный фильтр. У нее мелированные волосы и широкое русское лицо, косметики мало, одета достаточно скромно для гопницы.

— У нас до сих пор сохранился обычай, когда жених и невеста друг друга не знают до свадьбы! Вот он завтра летит домой и женится на девушке, которую ему нашла мать! Видел ее только на фотографии! — Хуршед пристально смотрит на тетку.

— Бедный мальчик! — улыбается другая. — Но у вас же, кажется, можно потом второй раз жениться?

— Да, но какой смысл жениться, если между людьми нет духовной близости? — кричит Хуршед. Не зря эта черная жопа три курса отсидела в своей дружбе народов.

— Это точно, в семье главное — взаимопонимание! — кричит тетка с мелированными волосами.

Бедный мальчик зевает и забирается в угол мягкого дивана. Хуршед втирает теткам про межкультурную коммуникацию, я допиваю первый поллитровый бокал. Потом Хуршед идет отплясывать с той теткой, у которой мелированные волосы. Ее зовут то ли Таня, то ли Катя, я не расслышал. Работает кассиршей в строительном магазине. Хрен знает, может, и правда уложит в койку.

Минут через сорок Хуршед тянет меня к себе и орет в ухо:

— Пустишь, если они согласятся?

Смешная чурка, у бабы должна быть своя квартира, иначе это все не имеет смысла.

— К ней поедешь. Ты же крутой. — Я ухожу в туалет.

Закрываю дверь, музыка становится потише. Тут уже ссут какие-то гопчики, целятся в кнопку наверху. Им весело. Я отворачиваюсь и листаю сообщения на мобиле. Звонил один из боссов.

* * *

— Уходите? — спрашивает охранник.

— У вас тут сигнал плохо проходит. — Я помахиваю телефоном.

— А я думал, уже все. Ваши друзья вышли.

— Они мне не друзья. — Ишь ты, запомнил. Правильно, азиаты не шляются по кабакам, они даже в новый год пьют на улице из горла.

— Эт правильно. — Охранник щурится. — Их вон туда повели, там пустырь за забором. Если вам интересно.

Мне не интересно. Кризис, мало заказов. Таджиким больше, таджиком меньше — без разницы. Боссам насрать.

Я достаю пачку «парламента», выщелкиваю сигарету.

Где-то орет баба:

— Он не приставай! Отвали! Ааааа!

Охранник дает мне прикурить. Я глубоко затягиваюсь и выдыхаю колечки дыма в пахнущую сиренью ночь.

— Помогите! — голосит тетка. — Помогите, убивают! Вызовите милицию!

— Вызвать? — Охранник вопросительно глядит на меня.

— Не надо.

Я иду вдоль забора, спотыкаясь о торчащую из земли проволоку и арматуру. Где-то там слышны мужские голоса, кто-то матерится, баба воеет не переставая.

— Заткнись! — говорит кто-то. — Все, пошла отсюда. Сама не понимаешь, во что лезешь.

Внезапно вылетает Таня или Катя, ее словно выхаркнули из стены.

— Помогите! — Она кидается мне на шею. — Вызовите милицию!

Ее волосы лезут мне в рот, ноги подгибаются, морда заревана.

— Вызывайте, что вы стоите? — Она роется в сумочке. — Какой тут адрес?

Я отталкиваю тетку и ныряю в проем.

— Саша-джян! — визжит Баhti.

Хуршед лежит на земле, его нехотя пинают четыре мужика лет тридцати. За-мечают меня, подходят вразвалочку. Один сообщает:

— Он к русской девушке полез. Ну, вы понимаете.

Я киваю.

— Мы же не хотим, чтобы он ее под нашими окнами изнасиловал, задушил и спать рядом завалился.

— Не хотим, — подтверждаю я.

— Пусть это будет ему уроком, — говорит другой.

Баhti зачем-то нагибается, шарит пальцами в грязной траве.

— Сука, блять! — Он взвизгивает как чертик и чиркает мужика по горлу. — Сука, убью!

— Совсем, что ли? — Парень зажимает шею. — Блять, уберите этого чурку!

Баhti мечется между парнями, вырывается, пытается сделать кому-то подсечку, его валят на землю и стелют ногами — по ребрам, по яйцам, по печени. Раненый въезжает ему носком ботинка в челюсть:

— Все, хватит.

Он подходит ко мне, протягивает скользкую от крови руку:

— Короче, нас тут не было.

Яжимаю плечами.

— Мы не хотели, ты же понимаешь. Пацан еще.

Они исчезают в проеме один за другим. На пустыре тихо, ветер шелестит пакетами, вдоль забора не спеша трусит большая крыса. Их тут, наверное, много, не боятся людей. В области я как-то заглянул к таджикам в бытовку, а там в старом кресле кошка спит. Пригляделся — еж! — это же крыса, здоровенная, как кошка. Показал Хуршеду, он схватил плоскогубцы — первое, что под руку попало — и шею ей прижал. Она пищит, царапается, хвостом дергает. Я ее сначала отверткой проткнуть пытался — не попал, потому что она елозила туда-сюда. Тряпкой руку обмотал, чтобы не укусила, и начал этой крысе башку откручивать. Мягкое, хрустит. Я не садист какой-то, но не отпускать же ее просто так? Баhti проснулся, смотрит на нас и говорит: «Ей же больно». Как будто сам никогда баранов не резал и курам головы не сворачивал. А кресло пришлось выбросить, крыса его обмочила.

Я правда не хотел, чтобы все случилось ТАК. Я об этом как-то не подумал. Нужно перезвонить боссу.

— Промысловский, отдыхаешь? Чурок своих отправил?

— Еще как отправил.

— Вот и чудно.

Хуршед лежит неподвижно, мордой вниз. Я просовываю пальцы за воротник его рубашки, чтобы нащупать пульс. Он шепчет:

— Руки убери, да?

Потом со стоном поднимается на четвереньки, встает, расправляет плечи. Отряхивает землю с колен, поправляет челку. Ему даже в пятак не дали — наверное, сразу кверху жопой лег, чтобы уйти с минимальными потерями.

— Баhtiер, вставай. — Я торможу мелкого.

— Не хочу. — Он морщится как капризный ребенок.

— Хоть ногами пошевели.

— Зачем? — Баhti скребет землю подошвами кроссовок.

— Ну, слава богу.

Хуршед отходит подальше от забора:

— Алло, Наим?

Наим, хуим. Я осторожно беру Баhti за руки и тяну на себя.

— Не надо, больно. — Его губы медленно вспухают, темнеют, истекают соком, как треснувшая черешня. — Посмотри, зубы шатаются?

— Не плачь, детка, мы тебе золотые вставим. — Я сую ему палец в рот — вроде

не шатаются. Надеюсь, челюсть не сломана, как ему тогда невесту целовать? Или они на своих свадьбах не целуются?

— Саша-джян, мне дышат больно.

— Давай, я тебе «скорую» вызову.

— Не надо! — Он перекачивается на бок. — Не надо, я дома Точикистон пойду.

Паспорт нерусский.

— Дурак, они всех обязаны брать.

— Не надо. — Баhti пытается улыбнуться, у него выходит не очень. Правая бровь рассечена, глазками теперь не постреляешь. — Эт ирунда. Мне два год назад солдат из поезд выкинул, сотрясение мозга.

По траве проплывает полоска света. Хуршед первый понимает, что случилось, и бежит через поле, размахивая телефоном.

— Стоять! — Серая фигура срывается за ним.

Второй мент приседает на корточки рядом с Баhti:

— Ты пострадавший?

Баhti щурится, прикрываясь ладонью:

— Нет.

— Документы.

— Дома лежит.

Мент переворачивает Баhti лицом вниз и шарит у себя в заднем районе, где висят наручники.

Я откашливаюсь:

— Не надо, у него, наверное, ребра сломаны.

Мент поднимает удивленные глаза. Щелк!

— Саша-джян, мне больно лежат, скажи ему.

— Че ты там лепечешь, баран? — Мент выпрямляется и поддевает его носком ботинка.

— Не трогайте его, ребро может легкое проткнуть. Или печень.

— Может, может. — Мент чешет бритую щеку. — Он вообще откуда?

— Из Таджикистана.

— Ну, понятно, — отвечает мент. — У преступности есть лицо. И это лицо — таджикской национальности.

Его напарник возвращается, тяжело дыша:

— Быстро бегают, сука... Короче, подозреваемый скрылся.

— Ну и заебись, — отвечает наш. — Ты тут посторожи чурку, я с молодым человеком поговорю.

Он деликатно берет меня под локоть и отводит на несколько шагов в сторону. Где-то в районе солнечного сплетения появляется приятное чувство страха.

— Итак, молодой человек. Насколько вам дорог ваш таджик?

* * *

Восьмера катится непривычно тихо, Наим курит и стряхивает пепел в окно:

— Эт херня. Я, когда на пятерк ездил, падрэзл ментовск тачку. Ани в бардюр заехли. Из мащины виташили, отпиздили нахуй, дэвть тысч атабрали. Все шт с собой было.

Баhti косится на меня:

— Саша, ты сколько дал?

— Не помню.

На самом деле, конечно, помню. Две тысячи восемьсот пятьдесят рублей. Столько стоит один таджик.

Хуршед оборачивается на переднем сиденье:

— Сам виноват, нехрен было рыпаться.

Баhti шепчет:

— Саша, пердай ему, он мудака, я с ним не разговариваю.

Старший, конечно, снова пристроил жопу впереди. Его ведь «тоже избили». Младшего заставил пробираться на заднее, через спинку кресла, согнувшись в три погибели. Баhti рухнул мне на руки, я сам его втащил — он даже рта не раскрыл. Я бы, наверное, так заорал, что у Наимовой тачки повылетали все стекла.

* * *

Я режу простыню. Нужно было, наверное, купить бинты, я постеснялся сказать Наиму, он и так нас довез бесплатно. Баhti лежит на моей кровати и смотрит дивиди, где немецкая телка ссыт в рот пьяному бомжу. Это, кстати, не мой диск, мне их дал один друг-азербайджанец, сразу штук десять, потому что у самого их немерено, некуда складывать. Краем глаза я замечаю, что Хуршед включает мой ноутбук. Таджики любят раскладывать пасьянсы, с важным видом, как будто работают на Билла Гейтса.

— Слышь, сделай мне интернет.

— Не «слышь», а «Александр Евгеньевич». Совсем оборзел.

Он сам находит модем, я продолжаю резать простыню.

— Во я дурааак... — Хуршед цокает клавишами. — Бляяать, какой я идиот!

— Я даже не сомневался, что ты идиот.

Он щелкает мышью и ржет:

— Слышь, иди, посмотри.

Я читаю:

Качественный евроремонт, быстро и недорого.

Одиноким женщинам — скидки.

8 905 580 13 33, Хуршед.

Карие глазищи Хуршеда масляно блестят, он ждет, что я тоже засмеюсь. Он вспотел, от недавно мытых волос тянет овчиной. Закусил губу, постукивает беспроводной мышью о стол — молчание затянулось. У него красивые белые зубы, никакого золота. Золото носят только дикари, он выше этого, он белый человек.

Я закрываю ноут.

— Хуршед, его нужно раздеть.

— Тебе надо — ты и раздевай.

Моя рука с ножницами застывает в воздухе.

— Вон из моего дома.

— И куда я пойду? — Он развалился в кресле, не верит, что я смогу его выгнать.

— К Наиму, к Тане, Кате. На хуй.

Баhti на кровати ойкает — наверное, повернулся неловко. Так и есть, приподнялся на локте, хочет слезть. Я укладываю его обратно, он послушно откидывается назад и смотрит, опустив веки, мутными глазами-половинками, маленький, несчастный обкурыйш. У таджиков всегда хорошее настроение, я еще ни разу не видел грустного таджика. Нужно загадать желание.

Хуршед лютует в коридоре: пинает сумки, вжикает молниями, раскидывает обувь. На кухне что-то обваливается с жутким грохотом, я бегу посмотреть. Плитка вылетела над раковиной, три ряда, клали год назад мои же таджики. Сверху мне на голову падает еще один кусок кафеля. Хули от баранов ждать, не руки, а копыта.

Хуршед кидает мне в лицо три скомканные бумажки:

— Это за твоего кюнте.

Он хлопает входной дверью, еще один ряд кафеля вылетает из стены, я едва успеваю прикрыться локтем.

Я беру Баhti за руки и помогаю ему сесть, расстегиваю и снимаю рубашку. Он дышит едва-едва, глубже не может. На месте печени темное пятно. Наверное, просто синяк, иначе он давно бы потерял сознание. Ребра нащупывать не нужно, они и так видны. Я вожу пальцами по его груди, Баhti постанывает, когда я попадаю на место переломов.

— Выдохни.

Я туго обматываю его грудь полосками ткани. Надеюсь, я все делаю правильно. Несколько слоев вокруг торса и еще один крест-накрест, на шею. Закалываю английской булавкой. Баhti сидит смешной, как стриженная девочка в белом топики:

— Можно дышат?

— Можно.

Прикладываю ватку со спиртом к его губе, прижигаю рассеченную бровь. Баhti жмурится, по лицу текут слезы:

— Саша, мне больно.

Я не знаю, что ответить. Наверное, когда ломают ребра, это и правда больно.

— Я не хочу домой. Мне там нечего делать. — Его забинтованная диафрагма вздрагивает от рыданий. — А здес я никому не нужен.

— Подумаешь, я тоже никому не нужен. Что из-за этого, вешаться?

— Неее, нихуя. — Он улыбается разбитыми губами. — Ты мне нужен.

У Баhti невероятно тяжелые сумки, я чуть коньки не отбросил, пока тащил. Пришлось ловить машину до аэропорта. Он хотел позвонить Наиму, но я запретил. На самом деле мне самому нужна машина, я бы давно ее купил, но меня останавливают две вещи. Во-первых, я не хочу зависеть от кредита, а во-вторых, я жалкое ссыкло, мне страшно, что я помну кого-то или получу в морду от братка, который не хочет уступать дорогу. Если совсем начистоту, мне вообще тут жить страшновато.

Два молоденьких мента облизывают Баhti жадными взглядами. Один русский, второй не очень. Наверное, татарин. Постояли, поглазели на разбитое лицо Баhti, подумали, направились дальше хозяйской походочкой, на полусогнутых.

Я сдаю вещи Баhti в багаж, он в это время сидит на металлической скамейке и сосет кока-колу через соломинку. Надеюсь, его там встретят или хотя бы помогут донести все это барахло до камеры хранения. Еще я надеюсь, что он стиснет зубы и родит сына своей узкоглазой жене, станет настоящим мужчиной и уважаемым человеком в своем селе. Он хороший мальчик, и я хочу, чтобы хороший мальчик счастливо жил у себя дома.

Смуглые парни с сумками уже подтягиваются к стойке регистрации, держа билеты и паспорта наизготовку. Баhti оглядывается на них, потом вопросительно смотрит на меня.

— Будь счастлив, — говорю я.

— Точно. Баhtiер — значит, счастливый.

За огромными стеклянными окнами темнеет — похоже, скоро начнется дождь, это очень некстати, потому что такси тут дороже раза в два. Я вспоминаю, что мы так и не купили подарок невесте. Надо будет найти за те три тысячи какую-нибудь цацку и послать бандеролью.

— Саша-джан?

— Что?

— Приезжай ко мне.

Глупенький Баhti, не могу же я все бросить, хоть у тебя дома и плюс тиридцат, и козы с овцами патриархально пасутся на газонах, и плов на сто человек.

Аксана Спрынчан

Птицы

С белорусского

Перевод Светланы Буниной и Натальи Бельченко

* * *

Щедрой кукушкой
накую тебе годов.
Жаворонком спою —
узнаешь небо.
Ласточкой буду летать над землей —
упреждать несчастья.
Мудрой совой
окунусь в закрытые дни ночей.
Красными снежками
на белом снегу
расскажу о прошлом Отчизны.
Белым аистом, также и черным
жизнь поделю на полосы.
Только птицей счастья
стать для тебя
не смогу.

* * *

Придите вы к костелу Анны,
Там сгинет горечь тяжких дум.

М. Богданович

Горечь моей души
не любит сидеть на месте,
вечно ей хочется ехать
в звонкие города.
Чуть запылают каштаны,
рвется в Софию Киевскую.
Вспыхнет на сердце рана,
путь ей к Виленской Анне.
Мчится с первой любовью
под купола Москвы.
Но если горько совсем,
спасают звоны Немиги.

Спрынчан Аксана — поэт, прозаик. Родилась в 1973 г. в г. Лунинце Брестской области. Автор ряда книг на белорусском языке, в т.ч. «Вершы ад А.» («Стихи от А.», 2004), «Жывая» («Живая», 2008), «Дарога і Шлях» («Дорога и Путь», 2006, — в соавторстве с философом Алесем Анципенко) и др. Лауреат специального приза премии «Содружество дебютов» в номинации «За философскую лирику» (2008), победитель конкурса «Литература — детям» (2009). Директор поэтического театра «Арт.С». В журнале «Дружба народов» печатается впервые. Живет в Минске.

* * *

На проспекте Скорины
ты целуешь меня на прощанье
столько раз,
сколько книг напечатал
белорусский первопечатник
в виленский период...

«Птицы имеют гнезда свои...»
И я лечу домой
и рисую под месяцем в небе
солнце по снегу...
И хочется жить оттого лишь,
что наши гнезда
на одной земле...

Ласточка

Никто тебя не понимает, мама...
А ты все ласточкой меня зовешь...
И я летаю низко над землею,
чтоб дождь пошел
и немощь смыл твою.
А перья падают, как буквы или слезы, —
я зацепилась крыльями
за этот свет,
где невозможно никого понять,
но кто-то все же пробует понять...
И я летаю низко над землею
не только для того, чтоб дождь пришел, —
чтоб понимание
открылось людям.
Я ласточка,
летающая за болью.

* * *

У нее была стройность сонета,
у лестницы,
ведущей к тебе.
Но я
перескакивала ступени,
останавливалась,

возвращалась назад
и снова вперед возносились...
Так выступал из следов,
мокрых от первого снега,
верлибр
моего явления.

* * *

Напротив дом,
как будто крематорий,
и голуби над ним взлетают,
словно души.

А кто-то вниз слетел вчера,
не захотел сгорать
в пыли бесцветной
собственной квартиры.

* * *

А выпить бы
чашу вина,
настоянного на радости...
Да, видно,
жизни не хватит,
чтоб успело
перебродить
вино,
настоянное на радости...

Перевод Светланы Буниной

Бунина Светлана — поэт, переводчик, филолог. Родилась в Харькове в 1974 г. Доктор филологических наук. Автор книги «Поэты маргинального сознания в русской литературе XX века». Автор и ведущая программы «Частная коллекция» на Литературном радио. Лауреат премии им. Б.Чичибабина (2009). Живет в Москве.

Время листокоса

1

За лето я потеряла три колечка.
Июнь нашел серебряное,
июль — золотое,
август — обручальное.
А осень ничего у меня не забрала —
у нее и так много
и серебра, и золота, и свадеб.

2

В Минске — время листокоса:
осень косит, а дворники
собирают листья
в стожки.

3

Как ни удивительно,
взмах метлы дворника —
последняя возможность
полета для листьев...

4

Бабье лето
сгорело вместе с листьями
в пламени осенних костров.
Наступила пора
снежной бабы.

* * *

Ты опускаешь весла,
и разлетаются брызги,
радужно-радостные
от недавней встречи с дождем
и чуть-чуть грустные,
как твоя улыбка,
когда садится солнце.
Небо и лозы глядятся
в живое зеркало реки
и не узнают себя
вместе с нами.
А мы — лодка,
уплывшая на свободу
от зимы...
И до ближайшей еще —
несчетно радостных брызг.

Счастье детства

А в припятской траве
гуляет мое детство,
плывет к кувшинке,
наблюдает за стрекозой.
И не знает, что оно —
последнее детство
без Чернобыля.

* * *

Липа цветет.
Прилипаю к воздуху,
пока пчелы
не перенесли его
в свои соты.

* * *

Даже когда полетят в огонь
все письма, которые мы получили,
останутся стихи с твоим дыханием,
написанные мной.
Даже когда уплывут за водой
все слова, что сказали мы,
останутся стихи с твоим дыханием,
написанные мной.
Даже когда судьба нам
покинуть эту землю,
останутся стихи с твоим дыханием,
написанные мной.
Даже когда полетят в огонь,
уплывут за водой,
покинут эту землю
все стихи с твоим дыханием,
написанные мной,
будет легче аистам
лететь в воздухе,
которым когда-то
дышала любовь...

Перевод Натальи Бельченко

Моше Шанин

Мои семнадцать

Рассказ-айсберг

Верхушка

Дворовые пацаны, мы дружили истово, люто и яростно. Полутона в нашей палитре не держались. Мы знали белое, мы знали черное, мы знали, кто чего стоит, мы знали — что почем.

В тот влажный осенний вечер впятером сидели во дворе дотемна. Острые крыши домов рвали на клочья набухшее, мечущееся небо. Солнце, бледное наше северное солнце, запуталось скоро в них и задохлось. Скука выгнала нас из теплых квартир, вымела из-за сытных столов и — сейчас — настигала. Возвращаться в унылые кельи не хотелось.

Веня достал коробок и показал простой фокус: чиркнул спичкой, сунул в рот и достал ее уже потухшей, тянущей тонкий дымок. Я тоже достал коробок и повторил фокус, но с двумя спичками¹.

Веня вынул три спички, чиркнул, сунул. Я — четыре. Он пять, я шесть. Он семь, я восемь. Так мы дошли до одиннадцати. Веня резко зажег плотный пучок, но в последний момент отдернул руку ото рта: испугался. Он уронил слипшиеся спички, качнул головой и досадливо сплюнул. Длинная его слюна затрепетала, свистя и изгибаясь.

Пацанва² гоготала. Я выиграл³.

Я посчитал оставшиеся спички, кладя в ряд на скамью: семнадцать. Пацаны отговаривали, шутя и подзуживая.

Взмокшие от пота спички выскальзывали из щепоти — надо решаться. Надо решаться и перестать гадать и бояться.

С десяток спичек вспыхнуло сразу, остальные огненно взрывались уже внутри. Я сразу ощутил, как по правой стороне горла расплзается, вскипая, ожог.

Следующую неделю во дворе говорили обо мне в степенях исключительно превосходных.

Так я познал счастье, простое мальчишеское счастье.

Слой 1

¹ Девочкам не понять: глупости. Но мы уже читали про Муция Сцеволу. Мы читали про спартанского мальчика и лису. Я смотрел на Веню и думал, думал громко и явственно:

— Давай. Давай-давай. Ну же. Ведь это так просто: ты и я. Только ты и только я. Один на один. Правила просты — покажи, что ты можешь.

Моше (Михаил) Шанин — прозаик. Родился в 1982 году в городе Северодвинске Архангельской области в семье школьного библиотекаря и преподавателя шахматного кружка. После окончания средней школы недоучился на строителя, доучился на бухгалтера. Ни тем, ни другим так и не стал. Работал мойщиком стеклотары, продавцом-консультантом, администратором компьютерного клуба, веб-дизайнером. Печатался в журналах «Октябрь», «Знамя». С нынешнего года проживает в Санкт-Петербурге. В «ДН» печатается впервые.

Мы уже догадывались: дальше так не будет. Не будет этой простоты, ясности, черно-белости. Живой пример — дядя Толя — стоял перед нашими глазами. Однажды дядя Толя перечислил свои профессии и нам, четверым, едва хватило пальцев на них всех. Еще дядя Толя умел делать множество вещей, от которых сердце мальчика заходится, воспаленное. Дядя Толя обычным перочинным ножиком вырезал деревянные кораблики — простоватые, но изящные, гладкие и обтекаемые, как пуля. Еще он умел делать петарды-ракеты, что, взмывая с шипением, оставляли за собой широкий цветной хвост. А еще дядя Толя знал все, что могло нас интересовать: чем отличается шпага от рапиры, как в одиночку убить медведя, кто придумал танк.

Но все это не помогло дяде Толе. Как и для всех простых рабочих людей, для него в середине 90-х настали тяжелые времена. С зарплатой тянули четвертый месяц, начальники разводили руками и избегали встреч. Дядя Толя затосковал и запил. Запил крепко, начисто отказавшись от еды, да и не оставалось на нее денег. Он поднимался к себе, на второй этаж, и тихо пил. Толина соседка, Люда, давнишняя «разведенка», заводская уборщица, приходила домой на час раньше. Дома ее ждали двое детей; они не научились еще, не захотели еще научиться не требовать от матери невозможного, и голодный, злой блеск их глаз освещал мертвую комнату. Но безошибочным, бабьим своим чутьем Люда все поняла; и дядя Толя шел домой, бережно неся бутылку под пальто, как раненый несет в себе пулю, как несут оторванную руку: доктор пришьет; а на площадке его ждала она, с тарелкой в руках. На тарелке остывал бледный шлепок картофельного пюре, с краю лежала худая, скучная котлетка.

— Толя, — говорила Люда.

— Люда, — отвечал Толя. — Я чайку, нормально.

Он не брал еды, проскальзывал мимо, стараясь не скрипеть ступенями. Люда терла лицо фартуком и уходила. И дядя Толя все-таки умрет на пятой неделе водочной диеты. Но это — потом, потом; а пока — живой еще пример стоял перед нами, и множество его отражений танцевало, вилося, гнулось в наших немигающих, восторженных глазах.

² Пройдет время, лет десять, центробежные силы раскидают нас щедро и широко. С Веней мы встретимся в десятом классе, в школе, не родной ни мне, ни ему, и сядем за одну парту. На большой перемене будем бегать на рынок, перекусить. В ларьке продавали пирожки, и мы дружно предпочтем жареные, с картошкой. В один из дней у Вени не оказалось денег, я угостил — купил по пирожку. На следующий день Веня угостил в ответ меня, двумя пирожками. Остро пахло матчем-реваншем, и обозначила себя колея новой борьбы. На следующий день я купил по три пирожка. Мы соревновались в щедрости, и мы преуспели. Мы дошли до восьми пирожков за раз на брата, на двадцать минут перемены, и я помню, как сдался.

...Сидели на лавочке в ближнем дворе, пакеты на коленях, бутылка лимонада у ног. Двигали челюстями, не шевеля языком: очень важно было съесть побольше, не насытившись, не разобрав. Я принялся пропихивать в себя пятый пирожок и понял: не идет, нет во мне больше места, и нет такой силы, не придумано такой еще, чтобы я смог.

— Послушай, — просипел я сбитым, сжатым голосом. — Я сдаюсь, не могу больше, тошнит.

Мы бросили пухлые ошметки диким собакам и заспешили на урок.

Прозрачный пресный жир на наших пальцах и губах скоро высох.

³ Но и ничья — тоже будет. Дворовая наша компания¹ к тому времени станет мифом, сказом, былью-небылью. Веня крутился недалеко своего отца, тот работал в собственной макетной мастерской, делал модели подводных лодок и кораблей. Веня пытался наладить сбыт. С этим он и пришел ко мне и предложил поставить одну модель на продажу в антикварной лавке моего отца. Я скептически кривил лицо и мычал, Веня аргументировал.

— Ну что тебе стоит? — спросил Веня.

Мне не стоило ничего, и мы поставили. И как-то быстро она продалась, и я

получил на руки свою долю. Долю я пересчитал на немывые бутылки² и получил в итоге цифру стыдную и кричащую, кричащую на весь мир о моей никчемности. Я решил не мыть больше бутылок, а заняться продажей моделей. И мне повезло, многое сложилось удачно, и я перепродал их уже с полсотни, когда мне позвонили из крупной проектной организации. Разговор был короткий: не телефонный, и меня доставили, довели, усадили и плеснули кофе.

Организация хотела заказать несколько макетов мобильного цеха. Я неаккуратно сиял и пел размывчатые песни. Мне дали пачку чертежей на изучение, вывести стоимость, и пожали руку.

Я выпал на улицу: зимний выходной день, мне весело и жарко, и кругом такие приятные, добрые люди. Я несея по проспекту и думал.

— Будь я проклят, если я не добьюсь успеха, — думал я.

— Пусть меня приподнимет и ударит о землю, если я не открою свою макетную мастерскую, — думал я.

Веня посмотрел чертежи и сказал сумму, и сумма затмила солнце. Я передал, и там согласились. Но: сроки, сроки. Месяц из отпущенных трех прошел в уточнениях и пустых разговорах, Веня тянул с окончательным решением. А однажды...

— Понимаешь, — сказал он.

И я — все понял. Слушать не хотелось: бездумно смотрел сквозь блики очковых линз в пробоины его зрачков. Сквозь свои минус три³ и его плюс четыре: может, мы видим мир по-разному?

Я достал коробок и сжег спички по одной. Их было семнадцать, не могло быть не семнадцать. Квиты?

Уставший за день ветер несмело трогал наши лица; по нарядной, шелковой скатерти неба заскользила вниз звезда.

Я проводил ее взглядом, тускнея и горбясь, — звезду моего коммерческого успеха.

Слой 2

¹ Они говорят мне:

— Что ты пишешь всякую ерунду?

Я заглядываю в себя и обнаруживаю предательские девять грамм, девять грамм толерантности.

— А что писать?

— Ты напиши про нас. Вот как мы на зимнюю рыбалку ездили. По дороге еще так набрались...

— Избито.

— Ты не понял. Мы где вышли — там и начали лунки бурить.

— Предсказуемо.

— Или на даче вот, сидим выпиваем на втором этаже, все культурно. Клим говорит: пойду покурю на балкон. Вышел, и все нету и нету, нету и нету. Хозяин вдруг себя по лбу бьет: мы ж, говорит, балкон-то еще не построили...

— Чересчур анекдотично.

— А как обратно в автобусе голыми ехали? Кондукторша подползает: за проезд будьте добры. А я ей: ты что, говорю, не видишь, сука сутулая? я — Фантомас.

— Грубо.

— Потом еще мелочью в нее кидались.

— Надуманный абсурдизм.

— А помнишь, Леха права в день рождения получил? Ночью кататься поехал, утром вернулся с фарой и магнитолой, остальное ремонту не подлежит.

— Банально.

— Или вот Серега по пьяни постоянно в шкаф ссыт. Представляешь? В шкаф одежный. Катастрофа. Ссыт и ссыт. Скажи, Серега?

— Пошло.

— А как мы Ленку втроем?

— Фактонаж, — придумываю я новое слово, — фактонаж маловат.

— Тыфу, твою же мать... Втроем отфактонали, а ему «маловат»...
Так, в общем, ничего и не написал.

² В подвале одной из новостроек на краю города парами стояло шесть обычных чугунных ванн. Пластмассовые ящики с бутылками привозили со всего города. В одну ванну влезало по пять ящиков за раз, горячую воду брали из отопительной трубы. Пока отмокало в одной, можно было мыть в другой. Над свежезалитой ванной поднимался душный спиртной пар, из бутылок выбулькивались окурки, огрызки, тараканы, клоки волос... Мыть надо голыми руками, только так пальцы могут понять, смылся ли клей.

Есть приятный момент в том, если ты моешь бутылки: голова свободна. Я решал задачу с математической олимпиады: «Какое время показывают часы, если угол между часовой и минутной стрелкой составляет ровно один градус?». Я не решил ее тогда, на олимпиаде, и, перманентно, фоновое, обдумывал уже несколько лет. 8.44? 9.50? 10.56?

Старатель, я всегда намывал ровно до круглой суммы; расчет на месте. Приемщик сидел у входа, вяло шевеля вилкой во вскрытом трупке консервной банки. Живот, выпавший из-под майки, лоснился. Он помечал выработку в тетради и протягивал мне огромную цветную купюру, потертую на сгибах, как скатерть.

Распаренный, я выхожу в зимнюю темень. Задача устало плещется в голове, как молоко в пакете.

Белый язык тесной дороги тянется вперед. Полчаса пути.

Внеподвальный мир ярок, динамичен, пунктирен.

Мальчишки сыплют из школы, за забор, кидаются на мокрый сугроб.

Внук тычет прутиком мертвую кошку. Дедушка: «Не трогай кошечку, она спит, она устала».

В витрине, на экране ТВ, негр вгрызается в мякоть арбуза. Косточки брызжут по сторонам: черные, юркие, как тараканы.

Пьяная девушка садится на землю, мнет букет. Спутник озадачен.

Трое смотрят в небо: сполохи.

Старуха-мороженщица зеваает, показывая неопрятный рот.

Последние метры. Ветер вышибает слезу. Ненужная торопливость.

За спиной — стон-всхлип-щелчок квартирной двери.

Я решаю задачу: 19.38. Список «Вещи, Ради Которых Стоит Жить» лишается позиции — ключевой; и становится слышно: за тонкой стеной, в подъезде, скачет

по ступеням

опрокинутая

кем-то

пустая склянка,

дабы там

— внизу —

разбитьс-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с...

³ 6 апреля 1992 года умер Айзек Азимов. В тот же самый момент врач-хирург Дубовиченко ввел тончайшую иглу шприца в мой правый глаз.

Все началось с кабинета охраны зрения детской поликлиники. Меня осмотрели, поясняя длинно и непонятно. Тогда же выяснился и мой дальтонизм: на цветной аппликации я верно показал красные и зеленые части с поправкой «наоборот».

— У тебя есть все, — сказала мама, когда мы вышли. — У тебя есть все, кроме косоглазия.

В детской больнице нужных операций против прогрессирующей близорукости не проводили. Так я оказался во взрослой. Мне исполнилось десять лет, и я был взрослый человек. В операционный блок я пришел сам и встал в тупик коридора¹, напротив прозрачных дверей операционной. В те минуты тело мое как никогда состояло из частей. Части тряслись самозабвенно и убежденно. В животе вращалась воронка черной дыры.

Двери распахнулись и меня поманили пальцем. Я сделал усилие, кренясь, и пошел, ежешажно падая, но успевая выкинуть вперед ногу. Дошел и лег на стол. Многоглазая лампа светила на удивление неярко, желто. Меня стали накрывать тканью, слоями, пока не накрыли полностью, кроме правого глаза. Глаз вращался и выражал. Подошла медсестра и начала лить на него капли. Я хотел сказать, что капли — капают, но промолчал. Жидкости, сменяясь, обильно текли по виску, щеке, заполняя весь мир, и наверх, и вниз, и вбок, и к носу, а далее по дрожащей губе, скатываясь в рот: горькие, сладкие, кислые, безвкусные.

Анестезия подействовала, глаз обленился, одеревенел. Сладко хрустнуло тонкое стекло ампулы. Навис хирург со шприцем в белой руке. Он ткнул меня пальцем в ключицу и сказал:

— Делаю укол. Смотри сюда и не дергай.

Я представил что будет, если дерну глазом во время укола, и замер. В тишине произошло что-то едва различимое. Хирург отступил. Звякнул в эмалированной ванночке ненужный более шприц.

— Закрой, — сказали мне. Я закрыл.

— Сядь, — сказали мне. Я сел.

Голову перемотали наискось широкой повязкой.

— До палаты дойдешь?

— Дойду, — соврал я, нашаривая ногами зыбкий пол.

Слой 3

¹ Спустил пятнадцать лет я лихо пробегу по знакомым лестничным пролетам. Но не на шестой этаж, в «глазное», а на третий — в «трамву». Я пройду, шелестя сандалиями, по коридору отделения, застеленному волнами вытертого линолеума, и без стука ступлю за порог палаты номер шесть. Мужская палата, тяжелые пациенты, осязаемый воздух. Три койки направо, три койки налево. Где-то тут лежит мой отец.

Накануне мы договорились, что он заедет ко мне в 9 утра. Для меня 9 утра — это не просто утро, и даже не раннее утро, а скорее еще ночь. Но я встал, умыл холодной водой лицо как совершенно посторонний мне предмет и сел на стул. С недосыпа глаза слезились. Я сидел, время шло, отец не приезжал. Опоздать для него — случай небывалый. Позвонил на мобильный: выключен. Позвонил домой, трубку взял Игорь¹.

— Привет! Не знаешь, куда Федорыч пропал?

— В больнице он.

Я сразу позвонил во вторую городскую, ту самую.

— Шанин? Да, поступил утром в реанимацию. Травматологическое отделение, шестая палата.

— А... как он?

— Что вас интересует?

— Состояние. Состояние меня интересует.

— А вы, собственно, кто?

— Сын. Родной сын, — хотелось добавить — «единственный».

— Так... Секунду... Состояние средней тяжести.

— А... диагноз там... прогноз? Что вообще случилось-то?

— Этого я вам сказать не могу, врачебная тайна. Приемные часы с 17 до 19.

На часах было 11. Я не знал, что предпринять. И тут он позвонил сам.

— Миш, я в больнице, машина сбила на Онежском тракте. Принеси чего-нибудь жидкого покусать, а то у меня зубов почти не осталось.

Он сказал это таким тоном, каким просят о никчемной ерунде в никчемных же обстоятельствах.

...И вот: стою соляным столбом в центре палаты, озираюсь и думаю: какая из этих перебинтованных полумумий — мой отец? Прошло несколько секунд-минут-тысячелетий, пока я не узнал его по наручным часам. Дабы удостовериться, мне пришлось подойти и склониться над ним до неприличия низко, как если бы я пытался услышать едва различимый шепот.

— Миша, это ты?

— Да, я.

— Возьми стул, сядь тут.

На тумбочке стояла специальная приспособа для жидкой еды — пластиковый стакан с носиком. Я опрокинул в нее две баночки яблочного пюре и вложил в ладонь отца. Он нашел носик перебитыми губами и стал пить, чмокая, как младенец. За пять тысяч километров отсюда точно так чмокает губами малыш Яна. Он недавно стал дедом, мой отец.

А я смотрел, как он пьет, и повторял про себя: «Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить. Кто бы мог подумать. Кто бы. Мог. Предположить».

Слой 4

¹ Когда-то мы жили вместе, в одной четырехкомнатной квартире: я, отец, студенты Эля и Игорь. Немногим позже студенты уступили место двум лесбиянкам, Тане и Маше. Национальности, социальные группы, роды занятий, половые ориентации — все в квартире смешалось.

Одним утром я вышел на кухню и застал Игоря и Элю за завтраком. Они питали странный пиетет к еде, чуждый мне и неясный: не окончив еще завтрака, они обсуждали будущий обед, за обедом — ужин, за ужином — завтрак.

Накануне я простыл, и мою привычную засаленную тельняшку и широкие штаны матрасной расцветки дополнял грязно-белый шарф. Рассыпая порошок, я стал наливать себе кофе, одновременно пытаюсь ладонью примять вихор немыслимой кривизны и стойкости. Я был великолепен в своей ужасности, наивно полагая обратное.

Встал у подоконника, поправил шарф, закурил. Студенты брякали ложками: гречка, котлеты, соленые огурцы. Мы поглядывали друг на друга и посмеивались зло и беспричинно, без слов, как особенно легко получается только с утра.

— Вы съедаете за завтраком столько, сколько я — за два ужина, — сказал я.

— Завтрак — заряд бодрости на весь день, — ответила Эля.

— Вкусно ведь, — добавил Игорь.

Дыхание нового дня зашевелилось во мне, как щенок в мешке. Камертон выдал чистейшую ноту; метроном качнулся, теплая сонная кровь поймала ритм.

— Ай... Вкус! Да что вы знаете о вкусе?... Возьмем, к примеру, борщ. Вы не знаете, что это такое. Мой дед делает чудный борщ. Вся семья уговаривает его трое суток, заискивает, умоляет, просит: день и ночь, день и ночь, день и ночь, — и он берется. Двадцать три компонента! Загибайте пальцы...

Смакуя детали, я воспарил в кулинарные высоты.

— ...корица, ложка яблочного пюре, цедра. Двадцать три! Это алхимия, колдовство, таинство! Класть в него сметану — кощунство... Полдня делается такой борщ. В нем ложке приятно находиться, как мужчине приятно находиться в женщине... Что вы можете понять в этом, гречкоеды?

Я перевел дыхание.

— Или, допустим, струдель. В восемь рук мы делали струдель четыре часа. Мед, орехи, изюм, кунжут... Мы вымотались, как шахтеры. А потом пчелы, пролетая мимо, теряли сознание и падали на скатерть как спелые плоды. Для них, вскормленных нектаром, — это слишком сладко, слишком ароматно...

— Ладно, — сказала Эля. — Обед пора делать.

Из холодильника на стол она поставила банку домашней заготовки, набитую склизким жирным мясом. Крупными и ясными буквами на крышке было выведено «козел». Я прочитал надпись и затрясся, как дурной механизм.

Хохотал, вытирал глаза шарфом, охал и завывал, ронял пепел и никак не мог успокоиться.

Они не могли понять, чему я смеюсь.

Я тоже не мог.

Михаил Румер-Зараев

Девять российских дней Теодора Герцля

Под сенью двух бород. Проведя жизнь в советских учреждениях, неизменным атрибутом убранства которых был портрет Маркса, я всегда с интересом рассматриваю в израильских учреждениях портрет другого великого бородача — Герцля. Под сенью этих двух бород произошли две революции XX в.: интернационал-социалистическая — Октябрьская и националистическая — сионистская. Была еще и третья — национал-социалистическая — германская. Но там на портрете — не борода, там усики и полный ласкового безумия взгляд.

Между тремя этими революциями есть глубокая и таинственная связь и во времени, и в политическом пространстве, как есть связь между тремя государствами, ставшими полями этих трех мировых катаклизмов. Когда в 1903 году на последнем при жизни Герцля сионистском конгрессе вся российская делегация покинула зал в знак протеста против плана создания еврейского государства в Уганде, а не в Палестине, сорвав тем самым угандийский проект, она заявила о себе как о главной силе движения. И это главенство выходцев из черты оседлости с их опытом пережитых погромов сохранилось на весь последующий век.

А каковы совпадения во времени! За пять дней до залпов «Авроры», возвестивших о начале большевистского переворота, 2 ноября 1917 года британский министр иностранных дел лорд Бальфур подписал свою знаменитую декларацию, которая положила начало осуществлению мечты Герцля — юридической защите еврейского национального очага на земле Палестины. С классической английской торжественностью и велеречивостью в декларации говорилось: «Правительство Его Величества относится благосклонно к восстановлению Национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия к облегчению достижения этой цели».

Этому очагу не суждено было сослужить службу еврейскому народу, которая предназначалась ему отцами-основателями сионизма — спасти нацию от уничтожения. Шесть миллионов сгорели в пламени Холокоста в результате доведенной до безумия германской национальной идеи. Но их гибель послужила неотклоняемым аргументом, стала обязательным импульсом для создания национального дома, национального убежища — Еврейского государства.

Все три революции привели к созданию государств, два из которых были тоталитарными. Одно просуществовало 12 лет, другое — 74. Третье живет седьмой десяток. Несколько лет назад, выступая на некоем культурном мероприятии в Тель-Авиве (кажется, это была книжная ярмарка), несколько российских писателей, эпатуруя аудиторию, заявили, что, по их мнению, израильский проект себя исчерпал. Трудно сказать, что, по мнению авторов такого рода заявлений, должно прекратить этот проект. Иранские ядерные ракеты? Третья мировая война, в которой Израиль является фор-

Румер-Зараев Михаил Залманович — прозаик, публицист. Постоянный автор «Дружбы народов». Публикации в «ДН»: «Конец главы» (№ 8, 2004); «Anno domini — лето господне. Ярославский дневник» (№ 1, 2006); «Одиночество власти. История взлета и гибели Михаила Евдокимова» (№ 9, 2006); «Россия, которую мы обрели. Что сеяли деды и что пожинают внуки» (№ 3, 2007); «В мире реализованных утопий» (№ 4—5, 2008); «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...» (№ 11, 2008).

постом Запада в исламском окружении? Общественные противоречия, свойственные еврейскому государству, как, впрочем, и любому другому? Не знаю. Пока что Израиль живет, реализуя идеи своих основателей, развиваясь во всем многообразии экономической, культурной, демократической жизни, не собираясь сдаваться на милость противников и подтверждать всевозможные мрачные пророчества.

Могла ли сложиться судьба этого государства по-другому? Может быть, и могла. При всем том, что история не имеет сослагательного наклонения, невольно занимаешь себя мыслью о том, что было бы с Францией в начале XIX века, если бы Наполеон был убит в первом же своем сражении, с Россией начала XX века, — если бы Ленин умер от инфлюэнцы в Швейцарии, с Германией — погибни Гитлер на полях Первой мировой. Наконец, как реализовалась бы сионистская идея, если бы австрийский журналист Теодор Герцль не пришел на парижскую площадь, где совершалась гражданская казнь Дрейфуса, и не ушел бы оттуда потрясенным, впервые задумывавшимся о необходимости создания Еврейского государства? Эти вопросы не бесплодны, это не пустая игра воображения. Задаваясь ими, невольно начинаешь размышлять о влиянии личности на ход истории и, анализируя эту личность, ее судьбу, истоки ее действий и мировоззрения, лучше познаешь тайные пружины истории, понимаешь причины и последствия тех или иных событий. Одно здесь неотделимо от другого.

Торопливый пророк. У этого человека была трагическая и величественная судьба. Его считают провозвестником еврейского государства, а он, умирая, испытывал ощущение утраты надежд на свершение провозглашенных им планов, оставлял созданное им движение в состоянии острого кризиса.

При жизни многие воспринимали его как прожектера и неудачника. Все, за что он брался, что воодушевлял пылом своего воображения, не удавалось. Окончив юридический факультет Венского университета, он решил делать судебную карьеру, но в судьи его не взяли по причине еврейского происхождения, а в адвокаты идти не хотелось. Он начал литературную карьеру, писал пьесы, некоторые ставились, но средний уровень его драматургии был очевиден ему самому. Полюбил женщину, женился на ней, родил троих детей, но семья разрушалась, да и над детьми уже после его смерти словно висел какой-то рок: старшая дочь и сын покончили жизнь самоубийством, а младшая дочь умерла в нацистском лагере Терезиенштадт. Вроде бы получалась журналистская карьера. Он стал высокооплачиваемым парижским корреспондентом влиятельной венской газеты «Нойе Фрайе Прессе». Но со временем пришлось оставить журналистику ради реализации главной идеи, главного дела жизни.

Он родился в Будапеште 1860 году в семье состоятельного коммерсанта. То было время еврейского Просвещения — Гаскалы, наступившее после получения равноправия, воспринятого многими европейскими евреями как импульс ассимиляции. словно взапуски бросилось западноевропейское еврейство к реализации своих новообретенных прав, главным из которых им казалась возможность ничем не отличаться от христиан, раствориться в христианской среде.

В семье отца — Якоба Герцля по пятницам ходили в синагогу, соблюдали иудейские праздники, но жили в пространстве немецкой культуры, чему особенно способствовала мать. При всем том у Теодора было чувство национального достоинства, заставившее его в университетские времена выйти из студенческого общества, как только он ощутил там проявления антисемитизма. Но вообще-то казалось, что антисемитизм — явление преходящее, по мере развития общества, освоения демократических ценностей он исчезнет. Такой была либеральная иллюзия, которую разделял и Герцль, полагая, что лучшее средство для исчезновения антисемитизма — ассимиляция евреев и их интеграция в христианское общество. Он даже пытался добиться приема у папы, с тем чтобы убедить его в необходимости содействия переходу евреев в христианство. Вот как, по его мнению, это должно происходить: «Средь бела дня, по воскресеньям в 12 часов, в парадном облачении, под звон колоколов, переход должен происходить в церкви Св. Стефана...» Каков проект?

Собственно говоря, Герцль никогда не сталкивался с жизнью еврейской бедноты. Лишь однажды, путешествуя по Италии богатым и холеным, модно одетым госпо-

дином, он увидел, что такое мир еврейского гетто. «Что за чад и что это за проулок? Множество распахнутых дверей и окон, а за ними бескровные, опустошенные лица. Гетто! С какой низкой и хамской злобой преследовали этих бедолаг, все преступление которых заключалось в верности своей религии».

Так что же произошло в 1895 году с этим интеллигентным европейцем, скорее немцем, чем евреем, что превратило его из тривиального и преуспевающего журналиста в пророка и организатора, пламенного адепта сионистской идеи?

Считается, что рождение Герцля, как создателя и лидера сионизма, произошло 5 января 1895 года на Марсовом поле, где публично происходила процедура разжалования Дрейфуса. Маленький человек, стоя на эшафоте, повторял: «Я невиновен, я невиновен!». А толпа бесновалась и кричала: «Смерть евреям!» Что происходило в душе respectable господина с окладистой черной бородой, безмолвно стоящего в этой толпе?

У многих евреев — как будто бы ассимилированных, забывших о своем происхождении — возвращение к национальному мироощущению происходит внезапно, под влиянием некоего толчка. Я наблюдал этот процесс в России 70—80-х годов, когда то один, то другой «еврей по паспорту» вдруг осознавал себя таковым по существу. Кто-то прочитал «Экзодус» или речь прокурора Хаузнера на процессе Эйхмана, кто-то был оскорблен антисемитской выходкой... И неожиданно что-то в душе смешалось и чудо национальной самоидентификации происходило.

У Герцля, обладавшего воображением богатым, натурой деятельной, ищущей точки приложения сил к какому-либо великому проекту, рождается идея спасения своего народа. Он больше не верит, что антисемитизм — явление преходящее. «Я уверен, что нас не оставят в покое. Нас не хотят оставить в покое, а притеснениями и преследованиями нас нельзя истребить...» — напишет Герцль год спустя. Выход один — своя земля, свое еврейское государство.

Поскольку расстояние между идеей и ее реализацией у него всегда короткое, недаром его впоследствии называли торопливым пророком, Герцль немедленно берется за дело и отправляется к барону Гиршу, одному из богатейших людей своего времени, железнодорожному магнату, основателю общества еврейской колонизации Аргентины. С пылом неопита, с самоуверенностью эгоцентрика Герцль заявляет Гиршу, что, занимаясь филантропической деятельностью, тот «плодит попрошайек». Только он, Герцль, знает, как надо действовать. Надо создать национальный еврейский заем и финансировать на некоей территории строительство домов для рабочих, школ, больниц, театров — всей инфраструктуры, необходимой для поселения евреев. Гирш воспринимает подобные идеи как безумное прожектерство. За безумца в это время Герцля принимают и его друзья, с которыми он делится своими все вызревающими планами — так возбужден он, так переполнен нахлынувшими мыслями и чувствами.

Вот что он пишет в письме другу: «У меня есть решение еврейского вопроса. Я знаю, что это звучит безумно; в первое время меня нередко будут принимать за безумца, пока в минуту озарения не поймут правды всего того, о чем я говорю. Я нашел решение, и оно больше мне не принадлежит. Оно принадлежит миру».

Он пишет письма Бисмарку, Ротшильду... «Обращение к Ротшильдам» стало наброском «Еврейского государства», небольшой книжки, скорее брошюры, опубликованной в феврале 1896 года.

Герцль считает, что еврейский вопрос надо решать не путем ассимиляции или эмиграции из одной страны в другую, а созданием независимого еврейского государства. Все должно быть согласовано с великими державами, а сам исход евреев в свое государство должен проходить в соответствии с международными гарантиями и со специальной Хартией, признающей право на поселение.

При создании проекта будущего государства автор книги использует все прогрессивные социальные и либеральные идеи своего времени. Свобода совести (можно выбрать любую веру или оставаться атеистом), национальное равноправие (другие нации имеют равные с евреями права), семичасовой рабочий день — таковы непеременные слагаемые государственного устройства. Средства предстоит получить от еврейских банкиров, и только в случае их отказа можно обратиться с призывом к широким народным массам.

С подобными проектами выступали в XIX веке и другие мыслители, а вернее, мечтатели. Среди них достаточно назвать имя немецкого социалиста Мозеса Гесса, автора книги «Рим и Иерусалим» и одесского врача Леона Пинскера, автора брошюры «Автоэмансипация». Эти книги были и написаны лучше, и звучали уж не менее убедительно, чем «Еврейское государство». Но им суждена была совсем иная судьба, чем книжке Герцля, ставшей библией сионизма, его «коммунистическим манифестом». Почему? Да потому что автор «Еврейского государства» был не столько писателем, сколько деятелем.

Между выходом «Еврейского государства» и Первым конгрессом сионистов прошло всего полтора года. Что надо было сделать этому парижскому фельетонисту, не умевшему ни читать, ни писать по-еврейски, плохо знавшему еврейскую историю и жившему вне еврейской общественной жизни, для того, чтобы за полтора года создать Всемирную сионистскую организацию, существующую и активно действующую до сих пор?

Его книжка воспринималась по-разному. Для религиозных кругов идея создания еврейского государства в Палестине казалась кощунственной. Это дело Мессии, а не светских политиков и банкиров. Сторонники культурной автономии, и в том числе один из лучших еврейских публицистов того времени Ахад-га-Ам, считали, что государство Герцля не имеет национального еврейского облика. Молодые российские палестинофилы, среди которых был и Хаим Вейцман, обвиняли его в пренебрежении уже идущей в Палестине поселенческой работой, увлечении политическими играми.

Конечно же он погрузился в эти игры с головой! Вереница визитов, встреч, сложных интриг. Воздействовав своим пламенным красноречием на герцога Баденского, он превращает его в сторонника сионизма и через герцогское посредничество проникает к кайзеру, отправившись за ним в Константинополь, а затем и в Палестину. Что если удастся уговорить Вильгельма II воздействовать на султана, с тем чтобы тот разрешил создать на Святой земле еврейское государство под протекторатом Германии.

Сонное дыхание Востока. Святая земля произвела на Герцля удручающее впечатление. Легко и сладко было грезить в Париже или в Вене, в комфортабельной буржуазной квартире о несущей в себе следы библейской истории стране, куда со временем устремятся потоки обитателей еврейских кварталов западных городов и местечек российской черты оседлости и где они среди древних пейзажей обретут новую свободную жизнь.

Но реальная действительность этого края способна была породить лишь тоску и уныние. Жара, грязь, нищета. Убогие хижинки рабочих, где люди спали на нарах. Пыльные дороги, безлюдная сельская местность. В Иерусалиме его впечатлил вид на город с разрушенной башни Давида. Но у Стены плача, писал Герцль в своем дневнике, «процветает отвратительное убогое нищенство» и вообще весь Старый город показался ему ужасающе грязным. Правда, некоторые эпизоды поездки вызывали умиление сентиментального журналиста. В Реховоте перед ним гарцевали на конях молодые поселенцы, или колонисты, как тогда говорили, напомнившие ему ковбоев американского дикого Запада. «У меня на глазах выступили слезы, — записал он в дневнике. — Удивительно, какая метаморфоза может произойти с молодыми продавцами брюк».

Палестина и в самом деле представляла собой забытую Богом и людьми окраину умирающей империи. Библейские войны, антиримские восстания, крестовые походы, духовное творчество, рождавшее великие религии — все ушло в прошлое, в миф. Оставалось сонное дыхание Востока, безлюдная нищая земля, усеянная знаменитыми развалинами. В конце XIX века здесь жило примерно полмиллиона разноплеменного населения, тысяч тридцать—пятьдесят из которых были евреи. Большинство из них существовало на халукку — пожертвования, собираемые в странах диаспоры, остальные добывали себе пропитание ремеслом и мелкой торговлей. Правда, шла уже первая алия — исход энтузиастов переселенческого движения из Восточной Европы, рождались первые поселения, предпринимались попытки воссоздания светской ивритской культуры, но эти процессы, впоследствии растянущи-

еся на весь двадцатый век, во времена Герцля были в самом начале, оставаясь им почти незамеченными. Заметны были грязь, нищета, «пестрая убогость».

Впрочем, Герцль не был бы великим утопистом, если бы не позволил себе помечтать о том, что он сделал бы с Иерусалимом. «Я бы приказал... построить квартиры для рабочих за пределами города, — пишет он в своем дневнике, — вычислил бы и уничтожил рассадники антисанитарии, все, кроме священных развалин, сжег бы, а базары перенес бы куда-нибудь в другое место. А затем, по возможности сохраняя древний архитектурный стиль, можно было бы воздвигнуть вокруг святилищ комфортабельный вентилируемый город с канализацией».

Менее чем через год после возвращения из Палестины он набрасывал план утопического романа «Древняя новь», где мечта о новой сионистской Палестине развивалась в полную силу. Действие в романе происходит четверть века спустя после путешествия Герцля по Святой земле, в 1923-м, дальше фантазия романиста не заглядывала. Казалось, уж тогда-то здесь наверняка будут «комфортабельные вентилируемые города с канализацией».

Но 1923 год был бесконечно далеко. А пока жизнь его заполнена внутривластными интригами, сложными политическими комбинациями, дипломатическими визитами. Турецкий султан Абдул-Гамид, итальянский король Виктор-Эммануил, английский министр Джозеф Чемберлен, Римский Папа — ко всем надо было проникать, уговаривать, обещать, доказывать...

Летом 1903 года он собрался в Россию.

«Бессмертная» партия. Из дневника: «От самой границы, где наш багаж самым тщательным образом досмотрели, мчимся по безлюдным и унылым местам, как будто уже попали в приполярную тундру. Товарищам по движению ничего не сообщили о моей поездке. Но кое-какие сведения, вероятно, все-таки просочились, и люди встречали меня в Варшаве и Вильне. Дела у них так плохи, что я в своей малости кажусь им чуть ли не мессией. Каценельсон, мой добрый спутник, всю дорогу пичкает меня нравоучительными рассказами. В поездке мы разыграли на карманных шахматах "бессмертную" партию Андерсен—Кизерицкий. И я сказал Каценельсону, что и собственную партию собираюсь провести хорошо. "Проведите ее так, чтобы она стала бессмертной", — заметил он. "Разумеется, — ответил я, — вот только ни ладей, ни ферзя жертвовать я не стану". Тем самым я косвенно опроверг его подозрения в том, что мой приезд может в каком-то смысле осложнить жизнь русских евреев».

В этой дневниковой записи все полно глубоких и многослойных подтекстов. Непонятно, правда, почему законный пейзаж северо-западной России напомнил Герцлю приполярную тундру, которую он никогда не видел. Но, видно, сказалась склонность к журналистским преувеличениям, к красному словцу, недаром он некогда начинал свою журналистскую карьеру с путевых очерков.

Ну, а то что «товарищам по движению» не сообщали о его поездке, было не случайно. Намерение лидера всемирного сионистского движения добиваться встречи с Николаем Вторым сразу же после Кишиневского погрома любыми средствами и в том числе путем переговоров с человеком, на которого возлагали ответственность за этот погром — с министром внутренних дел Плеве, вызвало в еврейских и частично в сионистских кругах России негодование.

Никакие аргументы Герцля, начиная с библейских, — по поводу Моисея и фараона, с которым общался пророк, в данном случае не действовали. Слишком свежи были воспоминания об отрубленных головах мужчин, об изнасилованных женщинах, о пятидесяти погибших и сотнях раненых, о бездействии полиции, которая вместе с тем воспрепятствовала по специальному указанию Плеве еврейской самообороне. Никаких компромиссов с палачом — требовало еврейское общественное мнение. И когда тот же Плеве, обеспокоенный обвинениями в причастности к погрому, вызвал к себе лидера сионистов Минска, где год назад прошел разрешенный им российский сионистский конгресс, Шимшона Розенбаума, и предложил ему сделку — сионистская организация России публично опровергает обвинения министру, а он взамен утверждает ее легальный статус, Розенбаум отказался. Тогда Плеве разослал губернаторам циркуляр, воспрепятствующий всяческой сионистской деятельности на территории империи. Мотивировка была такая: коль скоро первоначальная цель движения —

переселение евреев в Палестину и создание там национального государства — отодвигается в неопределенное будущее, то создание всяких национальных организаций противоречит ассимиляции евреев, сеет межплеменную рознь, что несовместимо с русской государственной идеей.

Но для Герцля как раз подобная логика и была аргументом в пользу его визита: вы хотите, чтобы евреи как можно скорее уезжали в Палестину, освобождая Россию от их тлетворного революционного влияния, так помогите этому, устройте мне встречу с императором. Я буду от имени мирового еврейства просить его о воздействии на турецкого султана, пусть разрешит иммиграцию из России, этого главного резервуара еврейства, даст правовые основания для такой иммиграции — чартер, и всем будет польза.

Он уже пытался проникнуть к царю, обращаясь к русским участникам Гаагской мирной конференции пять лет тому назад, но безуспешно, никто там не воспринимал его всерьез, а русский двор даже не отвечал на его письма. Так, может быть, в этот раз повезет.

Эта идея казалась всякому человеку, хоть как-то осведомленному в международной политике, совершенно фантастической. Ну с какой стати слабеющая Османская Порта, обеспокоенная экспансией могущественного северного соседа, не оставлявшего своих претензий на Дарданеллы, и воспринимавшая русских евреев как агентов Москвы, будет пускать их в свою провинцию да еще давать им правовые гарантии? Заступничество Николая, коль скоро оно и было бы, меньше всего в данном случае убеждало бы Абдул Гамида. Да ведь Герцль встречался уже с самим султаном и совершенно безуспешно. Чем здесь мог помочь русский император? Но Герцля потому и считали великим прожектором, что, выстроив в уме определенную политическую схему, он находился в ее плену и тем более неотвратно шел по намеченному пути, чем больше его отговаривали. Авторитет его в сионистском движении был так велик, обаяние личности так неотразимо, что никто не мог воспрепятствовать ему в этой поездке. Это был род свойственного его природе кихотизма, борьбы с ветряными мельницами, род пророческой веры в свое предназначение, веры, подкрепляемой размахом созданного им за несколько лет всемирного движения.

И вот он прокручивает в уме все свои аргументы, все намеченные ходы и выходы в чужом и столь далеком от его предшествовавшего опыта Петербурге, играя в шахматы с Нисаном Каценельсоном, этим его верным паладином, которого он сделал директором Еврейского колониального банка — финансовой базы сионистского движения. А Нисан платит вождю поддержкой во всех его начинаниях, даже не веря порой в их целесообразность. Ему ли, уроженцу Бобруйска, выпускнику Берлинского университета, где он получил ученую степень доктора физики, не порывавшему связи с родиной, не зная, что ждет их в России, ему ли — лидеру курляндских сионистов, не понимая, что такое российская империя с ее византизмом, державными амбициями и цинизмом продажного чиновничества. Он в данном случае верный и трезвый Санчо Панса, пытающийся вразумить своего пылкого и романтического спутника «нравоучительными рассказами», подготавливая его тем самым к суровой реальности, которая ждет их в Питере. Да и партия, которую они разыгрывают на шахматной доске, к месту в их диалоге — одна из самых красивых и романтических в истории шахмат — недаром названа «бессмертной». Андерсен шел на неслыханные жертвы, отдавал ферзя и две ладьи, и все-таки выигрывал. Но Герцль хотел выиграть без таких жертв.

Возлюбленные Сиона. Понимал ли он, в какую крутую ситуацию влезает, вторгаясь в мир русского еврейства, какими острыми и противоречивыми страстями насыщен этот мир? К тому времени, когда Герцль появился на общественной арене со своим «Еврейским государством», мгновенно переведенным на русский и на идиш, в России уже добрых полтора десятка лет развивалось движение, которое можно было считать предшественником сионизма.

Перед самым выходом его книги в свет, в феврале 1896 года, ему принесли работу Пинскера «Автоэмансипация» с подзаголовком «Письма русского еврея к своим соплеменникам». Герцль записал в дневнике: «Сегодня прочел брошюру "Автоэмансипация" ... Поразительное совпадение в критической части, большое сход-

ство в части конструктивной. Жаль, что не знал этого сочинения до того, как отдал в печать мою работу. С другой стороны, хорошо, что не знал, — быть может, не сел бы писать».

Между тем брошюра была написана за четырнадцать лет перед «Еврейским государством», в 1882-м, через год после убийства Александра II и прокатившихся вслед за тем по России жестоких и страшных погромов, ознаменовавших начало исхода евреев из России. Эти погромы положили конец надеждам на мирное вращение еврейства в российскую жизнь. Становилось ясно, что не только правительство, но и общество отталкивало евреев, готовых слиться с ним. Нечего было рассчитывать на эмансипацию, на наделение демократическими правами, как это происходило на Западе. Надо было или смириться с униженностью, бесправием и постоянной опасностью или уезжать.

Уезжали прежде всего в Штаты (уже десять лет спустя — в 1891-м — в нью-йоркском порту ежемесячно высаживалось до десяти тысяч российских евреев), в Англию, Германию. Во Франции действовало Еврейское колонизационное общество, которое на деньги барона Гирша покупало для российских евреев землю в Аргентине.

Российское правительство поощряло отъезд — выдавало бесплатные загранпаспорта и визы, продавало льготные билеты. Более того, оно само вынашивало мысль о том, как бы «разредить еврейское население в черте оседлости, имея в виду, что во внутренние губернии евреи допущены не будут». Именно так выразился министр внутренних дел граф Игнатьев в беседе с представителями еврейских общин России, которые собрались в 1882 году в Петербурге, чтобы после страшного погрома в Балте решить: что же делать? Может, выделить евреям земли в недавно завоеванной Средней Азии, участливо спрашивал министр. Вот, например, Ахалтекинский оазис в Туркмении — хорошее место... «Евреи развили бы там торговлю и промышленность и могли бы служить противовесом Англии», — размышлял граф, демонстрируя уровень своего геополитического мышления.

Шестьдесят лет спустя такие же геополитические мыслители, только уже не в Петербурге, а в Берлине, прежде, чем принять окончательное решение вопроса, будут размышлять, куда бы ссылать еврейство из Германии и завоеванных ими стран — то ли на Мадагаскар, то ли в Польше в районе Люблина создать резервацию?

Граф Игнатьев не забыл и про Палестину: «Евреи от нас не уйдут. Вот выселившиеся в Палестину и Америку распевают, как говорят, "Вниз по матушке, по Волге"».

Экое знание характера русских евреев прямо как в нынешнем анекдоте: сидят двое новых русских на Канарах, один другому говорит: «Тоскуешь по России?» — «Ты что, я еврей, что ли?».

А Игнатьев между тем продолжал свои геополитические размышления: «В Палестине они сослужат нам еще большую службу, помогут нам добыть ключи от гроба Господня». Вот такие сионистские намерения были у российского министра внутренних дел Николая Петровича Игнатьева.

Но о Палестине думал не только он. В эмиграционных устремлениях еврейской массы Святая земля, которая до сей поры была объектом мессианских надежд и приютом религиозных стариков, приезжавших, чтобы умереть там, становилась полем практической колонизационной деятельности. Конечно, здесь в отличие от эмиграции в США присутствовал некий идеалистический порыв. Харьковские студенты, называвшие себя по первым буквам призыва пророка Исаи «О, дом Иакова! Придите и будете ходить во свете господнем!» билуцами (ивритская аббревиатура БИЛУ) и положившие начало первой алии, уезжали в Израиль не просто в поисках лучшей жизни, а с тем, чтобы способствовать национальному возрождению народа на земле предков. То, что их земледельческая колония оказалась недолговечной, а их пыл растворялся среди жары, в болотах, в тяготах непривычного физического труда, в стычках с бедуинами, — вопрос другой. Начало, тем не менее, было положено.

Колонизация подпитывалась движением палестинофилов (Хиббат Цион или Ховевей Цион — любовь к Сиону, возлюбленные Сиона), в рамках которого создавались общества воспомоществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Палестине, шел сбор средств, кипели общественные дискуссии. Главными теоретиками палестинофильства были одесситы — Моше Лилиенблюм и Лев Пинскер.

Лилиенблюм в своей наделавшей шума статье «Общеврейский вопрос и Пале-

стина» констатировал конец ассимиляционной доктрины — евреи в странах рассеяния в массе своей не сливаются с коренным населением, их терпят, пока они в чем-либо выгодны народу-хозяину, а при возникновении конкуренции преследуют, стремятся от них избавиться. Выход один: освоение Палестины как исторической родины.

«Автоэмансипация» Пинскера давала более глубокий и изощренный анализ ситуации. Этот одесский врач исследовал юдофобию, как неизлечимое массовое заболевание, своего рода народный психоз, порожденный мистическим страхом перед призраком еврейства, которое Пинскер с присущей ему образностью мышления называл бродячим мертвецом. Так ему виделось существование нации без собственной земли и внутренней организации. Для того чтобы стать полноценной нацией, евреям необходимо обзавестись своей территорией, своим политическим формированием. Публицист призывал не рассчитывать на то, что в европейском мире демократические преобразования, ставшие основой эмансипации общества, разрушат окружающую еврейство стену неприязни и преследований, а взять свою судьбу в собственные руки, эмансипироваться самим, что можно сделать только на своей земле.

Читая «Автоэмансипацию», Герцль конечно же осознал общность мышления автора работы с его собственным. Но эта общность заключалась не только в том, что Пинскер за пятнадцать лет до него пришел в сущности к той же концепции еврейского государства, но и в восприятии еврейства именно как народа, нации, а не как французов, британцев, немцев Моисеева закона, что было свойственно противникам Герцля из числа западного эмансипированного еврейства.

Корни этого водораздела уходили к истокам века Просвещения, во времена Великой французской революции.

Когда за сто лет до появления Герцля на исторической сцене граф Клермон-Тоннер произнес в Учредительном собрании Франции свою впоследствии знаменитую и так часто цитируемую речь, никто не сознавал тогда, что он говорит в сущности об идентификации древнейшего в мире народа. А между тем это было так. Требуя от королевских властей защиты евреев в происходивших в Лотарингии в 1789 году погромах и напоминая, что Декларация прав человека и гражданина относится также и к евреям, либеральный граф заметил, что они не представляют собой нацию и именно поэтому должны пользоваться правами французских граждан, как и все прочие граждане страны. «Мы ничего не должны евреям, как нации, — заявил Клермон-Тоннер, — но еврею как личности мы должны дать все. Если евреям это не нравится, пусть скажут, и мы немедленно вышлем их из страны с тем, чтобы предотвратить существование нации внутри нации».

Этот погибший три года спустя, видимо, в период якобинского террора французский аристократ обладал глубоким политическим мышлением. Он определил сущность противостояния национального и религиозного начал, которое в течение всего XIX столетия раскалывало еврейский мир. Для Запада нацией является не этническое, а государственное образование, нация воплощается не в этническом сообществе, а в государстве и так же как не может быть государства в государстве, так и не может быть по Клермон-Тоннеру нации внутри нации. И потому и немецкий раввин, и банкир Ротшильд в XIX веке считали себя немцами иудейского вероисповедания, как считали себя германские граждане немцами католического или лютеранского вероисповедания. Этническое начало, кровь, прошлое, историческая судьба здесь как бы не играли роли.

Но такова была западная идентификационная модель. В пинскеровской России, как и в герцлевской Австро-Венгрии действовала другая модель, которую можно назвать этнической. В Российской империи ни татары, ни буряты отнюдь не считались русскими исламского или буддийского вероисповедания, так же как и евреи отнюдь не причислялись к государствообразующей нации. В основе российского представления о нации лежало обособленное этническое начало, в которое русская политическая философия включала представление о почве, исторической судьбе, религии. И недаром Пинскер, в сороковые годы учившийся в Московском университете вместе с будущими столпами славянофильства, формировал свое представление о нации на понятиях этнической и исторической общности, на единстве религии

и исторической судьбы. И это представление, осознанно или неосознанно, было свойственно еврейским массам России, запертым в губерниях черты оседлости, где они жили компактной массой в рамках своеобразной идишистской цивилизации, чувствуя себя нацией не в государственническом, а в этническом, культурном, религиозном смысле.

Ассимилированному и эмансипированному западному еврейству эта масса представлялась духовно и культурно отсталой, ведущей нищее существование, окутанное пеленой средневековых религиозных предрассудков. Такое пренебрежение не раз будет проявляться в двадцатом веке, несмотря на все трагические потрясения еврейского мира. И в двадцатые, и в девяностые годы, попадая в Германию, выходцы из России ощущали неприятие и высокомерие местных евреев, не воспринимавших их мироощущение, образ жизни, языковую беспомощность.

Легко восклицать, как это делал Герцль в «Еврейском государстве», — «Мы — народ! Единый народ!», но трудно принять в свою среду, как равных, как себе подобных и близких, людей, говорящих на другом языке, несущим иную бытовую традицию и культуру. Такой разлом национального сознания и по сей день остается актуальным и в диаспоре, и в Израиле, мечущемся между концепциями национального бытия, выраженного в понятиях «плавильного котла» и «лоскутного одеяла».

Конфликт идеалов. Для Герцля с его туманными представлениями о многообразии еврейского мира российское еврейство виделось огромным скоплением физически сильных и трудолюбивых нищих ремесленников и рабочих, которым суждено стать главным резервуаром его эмиграционного проекта. «Сначала отправятся самые бедные и приведут страну в надлежащий порядок», — писал он в «Еврейском государстве». Вот эти самые «бедные» и были российские евреи — плотная человеческая масса, которая должна послужить исходным материалом для реализации проекта, масса, где отдельные лица казались неразличимыми. И вдруг они стали различимы.

Менахем Усышкин, Лев Моцкин, Шмарьяху Левин, Хаим Вейцман, Меир Дизенгоф — будущие вожди сионизма, лидеры ишува и создатели еврейского государства, а в конце XIX века — студенты европейских университетов, куда их толкала процентная норма российской системы образования, публицисты и яростные спорщики, они уже на первом Базельском конгрессе поразили Герцля своей культурой, страстностью, глубоким национальным мышлением.

«Признаюсь, для меня появление на конгрессе евреев из России стало крупнейшим его событием, — писал он в своей газете «Вельт». — Мы всегда были убеждены, что они нуждаются в нашей помощи и руководстве. И вот на Базельском конгрессе российское еврейство явило нам такую культурную мощь, какой мы и не могли вообразить. На конгресс прибыло из России около семидесяти человек, и мы, без сомнения, можем утверждать, что они выражают мысли и чувства пяти с половиной миллионов русских евреев. Какой стыд, что мы верили, будто превосходим их. Образованность всех этих профессоров, врачей, адвокатов, инженеров, промышленников и купцов уж наверняка не уступает западноевропейскому уровню. В среднем они говорят и пишут на двух-трех современных культурных языках, а что каждый из них, несомненно, силен в своей профессии, это можно себе представить по тяжким условиям борьбы за существование, которую им приходится вести в своей стране».

Пожалуй, этот восторженный пассаж вполне современно звучит, как для нынешней американской и германской диаспоры, так и для Израиля с его «русским миллионом». Но далее комплиментарность рассуждений сионистского вождя переходила в более глубокую духовную плоскость. «Я бы сказал, что они обладают внутренней цельностью, которая утрачена большинством европейских евреев. Русские сионисты ощущают себя евреями-националистами, однако без ограничений и нетерпимой национальной заносчивости, какую трудно понять, учитывая современное положение евреев. Их не мучает мысль о необходимости ассимилироваться, личность их цельна без двойственности и без душевных надрывов... Эти люди идут верной дорогой без лишних самокопаний, возможно, даже не чувствуя при этом никаких затруднений. Они не растворяются ни в каком другом народе, но перенимают все лучшее у всех народов. Так им удастся держаться с достоинством и подлинной

непосредственностью. А ведь это евреи гетто — единственные евреи гетто, которые еще существуют ныне. И после того, как мы их увидели, мы поняли, что давало нашим предкам силу выстоять в самые тяжелые эпохи. В их облике нам открылась история наша во всей полноте своего единства и жизненной силы. Пришлось задуматься о том, что поначалу мне часто говорили: "К этому делу тебе удастся привлечь только русских евреев". Если бы мне это повторили сегодня, у меня был бы готов ответ: "И этого достаточно!"»

Чего больше в этих размышлениях — трезвого расчета лидера, стремящегося привлечь в свое движение новых ранее неведомых ему участников, или искреннего восторга мучимого комплексами неполноценности западного интеллектуала, увидевшего цельный национальный характер?

На самом деле никакой цельности, никакого единства в национальном сознании российского еврейства не было. Это становилось очевидным по мере формирования сионистского движения в России.

Первый Базельский конгресс был исполнен эйфории, вызванной самим фактом создания всемирной еврейской организации, призванной положить начало объединению и возрождению народа на библейской земле. Торжественная обстановка, фраки и белые галстуки членов президиума, церемония открытия, поставленная опытным драматургом, знавшим цену театральным эффектам, возвышенные, полные эмоционального напряжения доклады Герцля и Нордау — все возбуждало в собравшихся чувство того, что они участвуют в событии историческом. Да и сам Герцль представал во всем сиянии своего харизматического облика, вызывая мессианские ассоциации.

«Когда я увидел его совершенную красоту, — писал двадцатипятилетний делегат из Буковины Меир Эбнер, будущий руководитель сионистского движения в этом регионе, — когда я заглянул в его глаза, в которых мне казалась некая мистическая тайна — душа моя возликовала. Это ОН, долгожданный, бесконечно любимый, помазанник Господень, Мессия!»

Многие другие члены русской делегации хотя и не употребляли выражений религиозного восторга, как Эбнер, но, тем не менее, свидетельствовали впоследствии о том, что были покорены обаянием личности нового лидера.

Но эйфория первого конгресса прошла, и авторитет лидера начал подвергаться испытаниям тем более сложным, чем сильнее становилась оппозиция руководству движения, в которой особенно активны были русские.

По мере стремительного распространения движения (а к рубежу веков в России насчитывалось более тысячи сионистских объединений) внутри него заваривалась такая крутая каша споров, противостояний, конфликтов, что нельзя было не вспомнить иронический афоризм: «два еврея — три партии». Ветераны Ховевей Цион старого закала, считавшие главным делом пусть даже ограниченное заселение Палестины евреями, не воспринимали «саквоважную дипломатию» Герцля, считая ее бесполезной, а политические сионисты герцлевского типа противились переселенческой работы до той поры, пока не создана политико-юридическая база; примкнувшие к движению раввины, в свою очередь, сопротивлялись культурной работе, усматривая в ней попытки реформировать религию. Но были еще духовные сионисты, последователи Ахад-Гаама, самого серьезного оппонента Герцля.

Этот яркий публицист считал химерической надеждою на создание в ближайшем будущем еврейского государства и более того полагал само движение политического сионизма вредным для духовного возрождения нации. По его мнению, политические сионисты, заботясь об облегчении участи страдающего еврейства, не думают о спасении гибнущего иудаизма. Он писал: «Неужели мы столько выстрадали, перенесли всевозможные муки и унижения в продолжение целых тысячелетий только затем, чтобы основать в конце концов крохотное государство, которое будет игрушечным мячом в руках великих держав, и довольствоваться ролью ничтожного презираемого народа».

Альтернативу политической автономии, которая могла стать убежищем гонимого народа, Ахад-Гаам видел в создании на земле Сиона духовного центра, который бы объединил духовными узами рассеянный народ и стал авторитетным для представителей всех диаспор, перенимающих привычки и культурные ценности тех наций,

среди которых они живут. «Учреждение в Палестине одной высшей школы или академии для изучения науки, литературы или искусства, — писал Ахад-Гаам, — явилось бы более значительным национальным делом и содействовало бы достижению нашей цели в большей степени, чем основание ста земледельческих колоний».

Но какова же эта цель по Ахад-Гааму? У еврейского народа, полагает он, есть своя выработанная длинной историей миссия: он является носителем великого искупляющего идеала торжества абсолютной справедливости, выработанного пророками. Нести его миру, не растворяясь в других народах, будучи внутренне связанным с духовным центром на Святой земле, — вот исторический путь еврейства.

При всем идеализме Герцля, при всем его понимании важности культурной работы в Палестине, такая позиция была для него неприемлема. И здесь сказывалась не конфронтация политических стратегий: что сначала создавать — академию или земледельческую колонию. Это был конфликт идеалов, где на одной стороне — живое восприятие действительности с ее «слезинкой ребенка», с прессом черты оседлости и железными царскими указами о выселении из городов, а на другой — абстрактное историческое мышление с его категориями абсолютной справедливости, абсолютного добра. Каждый межнациональный конфликт, каждый погром, где бы он ни произошел, словно подхлестывал Герцля в его поисках убежища, в его дипломатических пропозициях, казавшихся многим прожектерскими. И главным импульсом поездки в Россию стал кишиневский погром.

Пьеса с неизвестным финалом. За годы странствий по столицам империй Герцль выработал определенную технологию проникновения к их властителям. Не просто же приехать и обратиться к придворным — пустите, мол, к государю, я такой-то и такой, руководитель всемирной еврейской организации, лидер мирового еврейства и хочу побеседовать о его судьбе. От такого захода ничего хорошего ждать не приходилось, разве что сочтут международным авантюристом, что уже и бывало. Визит нужно готовить как дипломатическую акцию, как приезд посла некоей державы, которая вроде бы и есть, а вместе с тем и нет ее. И все же скорее есть — 10,5 миллиона человек хоть и разбросанных по континентам, но имеющих общую историю, религию, судьбу.

Визит должен быть оснащен рекомендательными письмами, заранее сформированными связями, обязательно нужны проводники по лабиринтам властного мира. Надо действовать где лестью, где подкупом, а где использовать обаяние светского человека, что особенно влияло на женщин. Каждый раз плелась интрига, писалась пьеса, только финал ее был неизвестен.

В Гааге, на мирной конференции, созванной по инициативе России, он познакомился с российскими дипломатами, был своим человеком в полном влиятельными русскими деятелями салоне австрийской баронессы Берты фон Зутнер, знаменитой пацифистки, автора нашумевшей книги «Долой оружие!». Но ничего не получилось — Николай II не принял его. Герцль и на сей раз перед поездкой в Россию попытался использовать международный авторитет баронессы, попросил ее написать письмо непосредственно императору с очередной просьбой о приеме и снова отказ. Другой бы смирился, признал поражение, но не он. Уже немалый переговорный опыт убеждал: в дипломатии нет ничего окончательного. Все равно надо готовить визит. И он пишет письма к двум самым влиятельным сановникам империи — Плеве и Победоносцеву.

Эти письма полны намеков, умолчаний, изощренных дипломатических ходов. Обращаясь к Плеве, Герцль вроде бы нажимает на больной мозоль, упоминает о «прискорбных кишиневских событиях», но в каком контексте... Он-де взялся за перо не затем, чтобы «пожаловаться на то, чего уж никак не исправишь», а с тем чтобы помочь разрядить ситуацию. Далее следует крещендо: евреями в России постепенно овладевает отчаяние, они убеждены в том, что брошены на произвол бесчинствующей черни, люди старшего поколения сворачивают хозяйственную деятельность, а молодежь внимает подстрекательским речам революционеров...

Для чего все это говорится? А для того, чтобы напомнить: сионистское движение способно противопоставить обрушившимся на народ несчастьям высокий идеал, способный даровать успокоение и утешение. Подразумевается, что реализовать

этот идеал можно путем переселения российских евреев в Палестину, о чем его высокопревосходительству должно быть известно и что должно стать предметом конфиденциальной беседы с императором. Герцля вполне можно считать достойным августейшего доверия. Ведь на его счету конфиденциальные переговоры с германским кайзером и турецким султаном, его лично знают великие герцоги Баденский и Гессенский, за него хлопочет один из великих князей. Он хочет оказать российскому правительству помощь в успокоении общественных настроений и просит министра посодействовать в предоставлении ему аудиенции императора.

Ну, а обер-прокурору Священного синода Победоносцеву, известному своей реакционностью и антисемитизмом, про которого Блоком сказано: «Победоносцев над Россией простер совиные крыла», ему-то как писать? Здесь используется оружие лести. Приводится услышанная от кого-то история о том, как обер-прокурор на прогулке в Мариенбаде подал монету нищенке еврейской наружности. История странная, какая-то кислосладкая, с явным подтекстом: вот, мол, «знаменитый юдофоб» (Герцль так и называет Победоносцева в письме к нему знаменитым юдофобом) по-христиански подает милостыню еврейке. Но вывод-то, вывод какой делается из этой байки: «Мне кажется, именно в этот момент я впервые понял природу официального русского антисемитизма, — пишет Герцль. — Государственные деятели России рассматривают еврейский вопрос как одну из сложнейших проблем, стоящих перед правительством, и, может быть, им было бы угодно найти решение проблемы, не осложненное ненужной жестокостью».

Итак, каждому обещано свое в зависимости от его должности: министру внутренних дел — успокоение общественных настроений, руководителю религиозного ведомства — решение еврейского вопроса без ненужной жестокости. Но все эти ухищрения бесполезны — ни ответа, ни привета.

Оставалось действовать через симпатизантов сионизма в великосветских кругах. Такие люди были. Собственно, к ним относилась и Берта фон Зутнер, создавшая вместе с мужем в Вене «Союз по борьбе с антисемитизмом» и сотрудничавшая в сионистской газете «Ди Вельт». В Петербурге же имела другую достаточно экстравагантную даму — польская аристократка Полина Корвин-Круковская, с которой Герцля познакомил варшавский адвокат и лидер польских сионистов Израиль Ясиновский. У нее были три важных в данном случае качества: симпатии к сионизму, обширные связи в высших петербургских кругах и дружеские отношения с Плеве. Это последнее обстоятельство и заставило Герцля обратиться к Корвин-Круковской с просьбой свести его с министром. И тут сработало: Плеве разрешил въезд в Россию и обещал дать аудиенцию.

Важно было, однако, попасть к другому не менее важному, чем Плеве, сановнику — министру финансов Витте, имевшему репутацию друга евреев. Здесь Герцль рассчитывал на рекомендательное письмо лорда Лайонела Ротшильда, но тот отказал, отделавшись какими-то туманными отговорками. В этом не было ничего неожиданного. Герцль знал, каково отношение Ротшильдов к политическому сионизму. Борьба за получение у турецкого султана чартера на еврейское заселение Палестины воспринималась знаменитой банкирской семьей как безответственная авантюра. И все же это было удивительно: президент всемирной еврейской организации получает поддержку у польской аристократки, а еврейский банкир отказывает ему в помощи.

Конечно, тем петербургским летом невозможно было вообразить, что четырнадцать лет спустя именно к лорду Лайонелу Ротшильду, как наиболее именитому еврею Англии, будет обращена знаменитая декларация Бальфура. В этом письме к банкиру британского министра иностранных дел и содержался чартер — юридическое обоснование для еврейского заселения Палестины, которого так страстно добивался Герцль и ради которого плел свои сложные дипломатические интриги. Однако к тому времени развалится турецкая империя, пройдет мировая война, в Петербурге произойдет большевистский переворот, а самого Герцля давным-давно не будет в живых.

Но когда еще это произойдет, а пока он едет на извозчике с вокзала в гостиницу «Европейская», с любопытством разглядывая петербургские улицы, занимает там лучшие апартаменты (таков принцип — все по высшему разряду, это престиж не

только его самого, но и дела, которое он представляет) и, наскоро перекусив с дороги, — скорее, скорее к Корвин-Круковской. Там — радостная весть: Плеве ждет его сегодня вечером в министерстве на Фонтанке, 16.

Самый удачный день. Судя по времени встречи — полдесятого — в те времена высшие чиновники работали допоздна. Впрочем, Вячеслав Константинович Плеве всегда славился не только своими выдающимися административными дарованиями, но и работоспособностью. Пройдя по всем ступеням юридической служебной лестницы — от начальных прокурорских должностей в провинциальных окружных судах до поста министра внутренних дел и шефа жандармов, — он в свое время был замечен Александром II, указавшим незадолго до своей смерти на него проводнику «диктатуры сердца» Лорис-Меликову, назначившему его прокурором Петербургской судебной палаты, в каковом качестве Плеве и расследовал дело об убийстве государя. Это был жесткий, ловкий, исполнительный чиновник, вываренный во всех водах российского государственного аппарата. Он покрыл страну сетью охранных отделений и умело сочетал в борьбе со смутой как суровые карательные действия, так и методы провокации.

Трудно было себе представить более различных по жизненному опыту и менталитету людей, чем эти двое, встретившиеся поздним августовским вечером в огромном министерском кабинете на Фонтанке, — венский журналист, одержимый идеей спасения своего народа, и умный царедворец, любимец трех императоров, всеми доступными ему способами охраняющий российскую державу.

Они оценивающе оглядывали друг друга. Плеве видел перед собой красивого, статного, безукоризненно одетого европейца несколько восточной наружности, говорящего на отличном французском, столь непохожего на быстроглазых разночинцев и экспансивных скоробогачей, представлявших российское еврейство. А Герцль так описал в дневнике свое первое впечатление о министре. «Шестидесятилетний мужчина высокого роста, несколько полноватый, стремительно шагнул мне навстречу, поздоровался со мной, пригласил присесть и, если мне угодно, закурить (последнее предложение я отклонил), и заговорил первым. Разглагольствовал он довольно долго, так что у меня была возможность хорошенько разглядеть его раскрасневшееся от волнения лицо. Мы сидели в креслах по две стороны журнального столика. Лицо у него в целом строгое и, пожалуй, нездоровое, седые волосы, белая щетка усов и поразительно живые и молодые карие глаза. Он говорил по-французски — не блестяще, но и недурно. И начал с разведки местности».

Эта разведка местности состояла из достаточно знакомых Герцлю и не лишенных державной логики рассуждений. Плеве не выдвигал лозунга русских националистических экстремистов начала XXI века — «Россия для русских». Многонациональность российского государства признавалась как факт. Но власть при этом стремилась к единству всего населения. Да, конечно, нельзя преодолеть языковые и религиозные различия. «Так, например, в Финляндии мы примирились с распространением более древней, чем наша, скандинавской культуры». Пример, характерный для министра. До назначения на этот пост он был статс-секретарем Великого княжества Финляндского, где проводил жесткую русификаторскую политику, ввел русский язык, как обязательный, в административные учреждения края... Но перед венским журналистом как не проявить широту взглядов, как не признать лояльность по отношению к древней культуре, ведь и на месте Москвы до прихода славян обитали угро-финские племена. Впрочем, вряд ли его собеседник мог знать об этом, да если бы и знал, финские дела его интересовали мало. А вот русификация и ассимиляция евреев...

Плеве не замедлил перейти к этой теме. В ассимиляции русских евреев правительство видит предпосылку их патриотического отношения к России. За этой формулировкой в сущности стояло представление о западной идентификационной модели: не еврей, а русский иудейского вероисповедания. При этом, по словам Плеве, есть два условия превращения в русского иудейского вероисповедания: успешная экономическая деятельность или высшее образование. Тот, кто соответствует этим условиям, получает гражданские права, и прежде всего право на жительство на территории империи, включая столицы и крупные города. Вот почему купцы первой

гильдии или выпускники университетов могут беспрепятственно жить вне черты оседлости.

Разумеется, получить высшее образование еврею не просто, существует процентная норма, но что поделаешь, правительство вынуждено прежде всего заботиться о православных, о том, чтобы они имели достаточное количество вакансий в вузах. Тем самым как бы признавались способности обитателей гетто, с которыми не так-то просто конкурировать русским людям.

Не отрицал министр и тот факт, что в черте оседлости евреям живется скверно, ну что ж, пусть уезжают слабые, бедные, а сильные и способные, добившиеся успехов в экономике или окончившие университеты, — остаются, они нужны России. Именно потому правительство симпатизирует сионизму, что он способен разредить население гетто.

Господину Герцлю нет нужды рассказывать о задачах его движения, министр в курсе дела. При этих словах Плеве вынул из книжного шкафа плотную кожаную папку, листая которую он довольно подробно и со знанием дела комментировал деятельность русских сионистов и особенно тех, кто находился в оппозиции к Герцлю.

В этой папке содержалась записка об истории и развитии сионизма, составленная директором департамента полиции Алексеем Александровичем Лопухиным, известным полицейским либералом и специалистом по еврейскому вопросу, впоследствии разоблачившим Азефа, за что и был судим, как за разглашение государственной тайны, и отправлен в сибирскую ссылку. Но это будет несколько лет спустя, а пока Плеве уговорил Лопухина как мыслящего и честного человека занять важнейший в министерстве пост для проведения реформы полицейского дела. Именно он был послан в Кишинев сразу же после погрома, который оценил как «меру не только гнусную, но и политически глупую». А став два года спустя губернатором Эстляндии, узнав о готовящемся в Ревеле погроме, сделал простейшую вещь: объявил местной полиции, что «околоточный, помощник пристава и пристав», на участке которых возникнет погром, будут «вместе с полицмейстером» уволены. Этого было достаточно: никаких антисемитских беспорядков в городе не произошло.

Вот такой человек был главным информатором министра по еврейскому вопросу. Но Плеве вел свою игру. Для него было важным мнение по любому вопросу одного-единственного человека в империи — самодержца, который между тем унаследовал юдофобию от своего отца. Причем если у Александра III антисемитизм был народный, примитивно ксенофобический, то у Николая II это чувство носило мистический характер.

Владимир Николаевич Коковцев, за свою государственную карьеру побывавший и министром финансов, и председателем Совета министров и в силу этих должностей достаточно близко знавший последнего русского царя, вспоминает в своих мемуарах, как Столыпин, в бытность свою российским премьером, вознамерился в законодательном порядке добиться «отмены ограничений в отношении евреев, которые... питают революционное настроение еврейской массы и служат поводом к самой возмутительной противорусской пропаганде со стороны самого могущественного еврейского центра — в Америке».

Получив поддержку своего кабинета министров, он отправил соответствующие документы на утверждение царю и вот какой ответ после долгой проволочки получил: «Возвращаю Вам журнал Совета Министров по еврейскому вопросу не утвержденным. Несмотря на вполне убедительные доводы в пользу принятия положительного решения по этому делу — внутренний голос все настойчивее твердит Мне, чтобы Я не брал этого решения на Себя. До сих пор совесть моя никогда меня не обманывала. Поэтому и в данном случае я намерен следовать ее велениям. Я знаю, Вы тоже верите, что "сердце Царево в руках Божьих". Да будет так. Я несу за все власти Мною поставленные великую перед Богом ответственность и во всякое время готов отдать Ему в том ответ». Коковцев так комментирует этот эпизод: «Ни в одном из документов, находившихся в моих руках, я не видел такого яркого проявления того мистического настроения в оценке существа своей Царской власти, которое выражается в этом письме Государя своему Председателю Совета Министров».

Не изменил ли это мистическое ощущение, выраженное в словах «сердце Царево в руках Божьих», последнему российскому императору в последние минуты

его жизни, когда разноплеменная толпа его убийц входила в подвал ипатьевского дома?

Но Плеве, который, кстати, по свидетельству того же Коковцева «при всем его консерватизме, серьезно думал об изыскании способов к успокоению еврейской массы, путем некоторых уступок в законодательстве о евреях» был человек трезвый и вполне рациональный. Разъясняя Герцлю свою позицию, он отметил, что русские сионисты сменили свои цели: главным в их деятельности стал не отъезд в Палестину, а борьба за культурную автономию, за осознание евреев особой нацией. Как и графа Клермон-Тоннера его не устраивало существование нации внутри нации. Так, мол, мы не договаривались. И тут уж Герцлю, воспользовавшись паузой в монологе министра, пришлось напомнить, что его герцлевский политический сионизм сориентирован на создание юридически подкрепленного национального убежища в Палестине в отличие от других еврейских национальных движений особенно социалистического толка, таких как Бунд. Это там — культурная автономия, там борьба за права еврейских трудящихся, там революционная подоплека, а помощи он просит именно возглавляемым им, Герцлем, политическим сионистам, а не каким-либо другим еврейским движениям. Какой помощи? Тут все было сформулировано по пунктам, причем не только в этой первой беседе с министром, но и день спустя в отправленном ему специальном письме, так что теперь можно документально восстановить содержание предложений Герцля.

Постоянный рефрен всех российских переговоров Герцля: сионизм — средство борьбы с революционными настроениями, которым подвержена еврейская молодежь. И дальше как заклинание: нам нужно действенное посредничество императора при решении проблем с турецким султаном, от которого зависит получение евреями хартии на колонизацию Палестины. Да, конечно же Палестина останется в составе Османской империи, но местную власть возьмет на себя сионистская администрация, которая обеспечит сбор налогов с поселенцев.

Следующий пункт. Пусть российское правительство за счет денег еврейского происхождения окажет финансовую помощь иммиграции в Палестину. И, наконец, последнее: создание в России благоприятных условий для пропаганды идей политического сионизма и расширение границ черты оседлости для тех евреев, кто останется в России.

В заключение встречи Герцль обратился к министру с просьбой, стоившей ему немалого труда. Он знал о неприязни между Плеве и Витте. И дело здесь было не только в личном соперничестве двух самых могущественных министров царского кабинета. Они были антиподами прежде всего в политическом смысле. Если Плеве олицетворял охранительно-консервативную тенденцию русского чиновничества, то Витте был воплощением либерального духа, новых экономических веяний, практического знания и умения. Железнодорожный деятель, начинавший свой путь с самых низов, экономист, финансист, он числил в своем активе ряд конкретных реформистских деяний — от восстановления разрушенной системы государственных финансов и золотого обеспечения национальной валюты до введения акцизов на алкоголь и заключения торговых соглашений с разными странами.

Он был делец, как говорили в XIX веке, деловой человек, прагматик до мозга костей, и отношение его к евреям было сугубо прагматическим. На бытовом уровне они порой его раздражали («умны, но нахальны»), но как государственный деятель он отдавал себе отчет в том, насколько антисемитизм вреден для империи, пополняя ряды революционеров («ни одна нация не дала России такого процента революционеров») и подрывая финансовое и торговое сотрудничество с Западом.

В своих мемуарах Витте вспоминает, как на вопрос Александра III, правда ли, что его министр «стоит за евреев», тот ответил с хитроумием опытного царедворца: «Можно ли потопить всех русских евреев в Черном море? Если можно, то я принимаю такое решение еврейского вопроса. Если же нельзя — решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить. То есть предоставить им равноправие и равные законы».

Как бы там ни было, Витте являлся другим объектом интересов Герцля, от него зависело снятие запрета на деятельность в России Еврейского колониального банка — этой финансовой основы сионистского движения. Попасть к министру фи-

нансов было крайне важно, но как это сделать после того, как Ротшильд отказал ему в рекомендательном письме, Герцль не знал. Оставалось, пользуясь возникшим во время беседы благорасположением Плеве, просить рекомендацию у него. Даст или откажет? Но в этот день Герцлю везло. Задумавшись на минуту, министр сел за письменный стол и написал краткое письмо, которое, как он подчеркнул, является частной просьбой, а отнюдь не обращением главы одного ведомства к другому. Герцлю было все равно, иметь бы хоть какую-нибудь зацепку.

Это и в самом деле был самый удачный из девяти дней, которые он провел в Петербурге. Впрочем, и остальные дни были насыщены встречами, разговорами, полными вежливых фигур речи и туманных обещаний. Герцль плавал в море петербургской элиты, не всегда понимая, с кем он общается. Корвин-Круковская познакомила его с престарелым генералом Киреевым, бывшим гофмаршалом вдовствующей императрицы, милым светским джентльменом, завсегдаем придворных гостиных. Правда, у этого светского старца имелась слава кровавого усмирителя польского восстания 1863 года и репутация ярого славянофила, исповедующего панславизм, но для Герцля было важно другое — возможность получить рекомендательное письмо от Киреева к директору азиатского департамента министерства иностранных дел Гартвигу, который одновременно состоял президентом императорского палестинского общества. Встреча с Гартвигом по существу ничего не дала: обещано было связаться с русским послом в Турции на предмет того, что можно сделать для сионистского движения. Обычная дипломатическая увертка. Но капля камень точит. И это знакомство Герцль записал себе в актив.

Друзья евреев. Наибольшее впечатление произвела на него беседа с Витте. Сразу же возникло чувство взаимной неприязни, что отразилось в дневниковой записи: «Он не заставил меня томиться в прихожей, однако же не выказал ни малейшей любезности. Высокий, тучный, некрасивый, сурового вида мужчина лет шестидесяти. Станным образом крючковатый нос, кривые ноги, несоразмерно маленькие ступни и из-за них — дурная походка. В отличие от Плеве обдуманно сел спиной к окну, в результате чего свет падал на меня одного. По-французски говорит крайне скверно. Иногда перевирал слова или долго мучился в поисках нужного, что создавало комическое впечатление. Но так как он держался со мной неучтиво, я не спешил ему на помощь».

Хамским был первый же вопрос, заданный Витте: «Вы хотите возглавить исход евреев? А сами-то вы кто? Еврей? И вообще, с кем я разговариваю?» Это звучало по меньшей мере странно, так как Витте только что прочитал врученное ему рекомендательное письмо Плеве. Но возможно, что рекомендации врага и соперника как раз и раздражили министра.

Весь его последовавший затем монолог был выдержан в достаточно грубом и антисемитском тоне, так что Герцлю приходилось напрягать все силы, чтобы не ответить резкостью. Витте говорил о предубеждениях против евреев, которые бывают честными и благородными, как у государя; у него они имеют религиозную основу. Да, есть и материалистические предубеждения, спровоцированные еврейской конкуренцией в экономике и торговле. Тем более что богатым единоплеменникам его собеседника свойственно хвастовство достигнутым. Нельзя не отметить и другое: большинство представителей этого племени живут в нищете и грязи, нередко занимаясь ростовщичеством и сводничеством. И Герцль должен был все это выслушивать от человека, который называет себя другом евреев. Как же должен вести себя враг?

Как-то выворачиваясь из этого потока юдофобского красноречия, он в конце концов нашел возможность высказать свою просьбу — снять запрет на деятельность колониального банка, поскольку этот запрет усложнял эмиграцию, которая, как и сам Витте, вынужден был признать, в интересах российского правительства. И министр неожиданно легко согласился с предложением своего собеседника. Таков и оказался «сухой остаток» этой аудиенции, но ничего другого Герцлю в данном случае было не надо. С чувством облегчения он выходил из роскошного особняка министра на Каменном острове, где тот жил летом.

Впрочем, со временем оказалось, что свое обещание Витте не выполнил. Все здесь что-то обещали, и никто ничего и не думал делать. Все собеседники Герцля

объявляли себя друзьями евреев, даже Плеве, который во вторую их встречу пустился в воспоминания детства, когда он, живя в Варшаве, играл с еврейскими детьми, а потом в юности дружил с евреями. Под аккомпанемент этих воспоминаний он согласился расширить черту оседлости, включив в нее прибалтийские провинции — Курляндию и Ригу. Не возражал и против предоставления евреям в той же черте оседлости участков пахотной земли, хотя эти просьбы Герцля, казалось бы, противоречили сионистской идее отъезда в Палестину.

Вообще они встретились во второй раз как добрые знакомые. Корвин-Круковская передала Герцлю отзыв о нем Плеве: таких людей, как этот венский журналист, он охотно назначал бы начальниками департаментов в своем министерстве. Видимо, это была высшая похвала, которой можно было ждать от высокопоставленного чиновника. Она немало позабавила Герцля. Представить себя начальником департамента в Петербурге ему было затруднительно при всем полете его драматургической фантазии.

Да, умен, изворотлив был Вячеслав Константинович. Почему не попытаться произвести благоприятное впечатление на зарубежного гостя, когда вся Европа, все международное еврейство, с которым, судя по всему, связан этот человек, обвиняет российское правительство и конкретно его, министра внутренних дел, в попустительстве погромной черни и даже в организации погрома.

Его собеседник тактично не затрагивал тему кишиневских событий, но она стояла тенью, пятном на репутации власти во всех их переговорах. И понимая, что нападение лучший вид обороны, Плеве сам пошел навстречу этой теме, ссылаясь уже на государя, встречи с которым так добивается этот человек. Он, Плеве, обсуждал с царем еврейский вопрос, и тот чрезвычайно огорчен, что за границей обвиняют российские власти в инициировании беспорядков. Государь одинаково милостив ко всем своим подданным, и подобные наветы оскорбительны и нетерпимы. Международное общественное мнение упрекает Россию в плохом обращении с евреями. Но пусть они заберут несколько миллионов этих несчастных людей, не оставляя Россию наедине с проблемой.

Как все повторяется в истории! Тридцать пять лет спустя Гитлер, подходя к окончательному решению еврейского вопроса, будет говорить то же самое: почему западные страны не заберут у нас наших евреев вместо того, чтобы обвинять нацистский режим в издании расовых законов, ограничивающих права представителей этого племени.

Впрочем, в начале века Запад и прежде всего США «забирали» евреев. Только в течение полутора лет, прошедших после кишиневского погрома, из России в Штаты эмигрировали около 78 тысяч евреев. Если бы перед Второй мировой войной иммиграционные ворота в Америку были также открыты, как в начале века, немецкое еврейство, наверное, смогло бы избежать Холокоста.

В заключение Плеве, проявив понимание ситуации своего гостя, вручил ему письмо, заверив, что оно было показано царю, получило одобрение и, стало быть, его можно рассматривать как официальное правительственное заявление. Это письмо, в сущности ни к чему не обязывавшее российское правительство, Герцль мог представить предстоящему шестому сионистскому конгрессу как результат своей поездки в Россию и определенное политическое достижение.

В нем говорилось, что доверительное отношение правительства к сионизму может быть восстановлено, если движение вернется к старой программе действий — к организации выезда евреев в Палестину, а не к пропаганде национальной обособленности в России. Поддержка сионизма со стороны российского правительства может быть облечена в форму заступничества за сионистских уполномоченных перед оттоманским правительством, облегчения работы эмиграционных обществ и поддержки их нужд за счет налогов, взыскиваемых с евреев.

Особенно изящным с точки зрения чиновничьей словесности была заключительная фраза. «Правительство России, будучи обязанным согласовывать свой образ действий с государственными интересами, никогда не отходило от великих принципов морали и человечности. Не далее как в последнее время оно расширило право жительства в сфере округов, отведенных для еврейских масс, и ничто не препятствует надеждам, что развитие таких средств послужит улучшению существования евреев России, в особенности если эмиграция сократит их количество».

Вот с этим посланием Герцлю и предстояло уезжать из Петербурга. Он чувствовал себя измученным, усталым от всех этих интриг, лавирования, поисков компромисса, необходимости общаться с бесконечно чуждыми людьми, для которых он еврей, трижды еврей, да еще представитель международного еврейства, мирового масонства...

В Стамбуле тоже было нелегко, там каждой беседе предшествовал заранее переданный бакшиш, и начиналась она с ритуальных расспросов о здоровье, о семье, а потом шла в разнообразных церемонных увертках, медлительном поглаживании бород, славословии султану. Здесь, в Петербурге, казалось бы, Европа — французский язык, светские любезности, но сколько за этим стояло азиатчины, ксенофобических комплексов, чугунного непробиваемого рассудком и просвещением антисемитизма.

Звездный час. Не прибавляли оптимизма и беседы с соратниками. Герцль первоначально хотел вообще уклониться от встреч с местными сионистами, опасаясь, что это повредит его миссии, как бы снизит ее уровень. Но председатель петербургской организации Семен Вейсенберг оказался человеком страстным и напористым. «Да представляете ли вы себе там, в своем венском бюро, в каких невыносимых условиях нам приходится работать!» — восклицал он. Это была больная мозоль, извечный упрек в аристократизме, отрыве от масс, незнании их нужд, в стремлении общаться лишь с коронованными особами, который чаще всего исходил из России и болезненно воспринимался как Герцлем, так и остальной верхушкой движения. Пришлось пойти на банкет, данный в его честь, и выступать там, тщательно взвешивая каждое слово, понимая, что отчет будет опубликован в русскоязычной еврейской газете и, стало быть, может попасться на глаза Плеве. Поэтому он повторял рассуждения о наметившемся отклонении сионизма от первоначальной программы, смысл которой в создании защищенного в правовом смысле национального убежища в Палестине, а не в экономической и культурной деятельности в диаспоре и прочие аргументы, направленные против оппозиции. И уж совсем для ушей его сановных собеседников предназначалось предостережение русских сионистов от вмешательства во внутрисполитические дела российского государства. «Возделывание чужих нив, — с образностью опытного оратора восклицал Герцль, — приводит к уничтожению евреев и еврейства. Для нас существует лишь одна дорога, и эта дорога — сионизм».

Но предстояла еще остановка на обратном пути в Вильно, где он обещал встретиться с еврейской общественностью. И вот эта встреча и стала главным и самым ярким впечатлением от поездки в Россию.

Вильно называли литовским Иерусалимом. Этот город с населением в полторы сотни тысяч человек, сорок процентов которых составляли евреи, считался центром иудейской образованности. Здесь в конце XVIII века жил великий законоучитель Виленский гаон, здесь проходили главные сражения между сторонниками и противниками хасидизма, здесь же в конце XIX века был создан Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, Польши и России — Бунд, ставший повивальной бабкой российской социал-демократии — трое из девяти делегатов Первого съезда РСДРП принадлежали к Бунду. Но бундовцы считали себя евреями и требовали признать за ними право быть полноправными представителями еврейских трудящихся, что и послужило причиной их обособления от социал-демократов.

Плеханов остроумно называл бундовцев сионистами, боящимися морской качки. Они хотели строить социализм не в земле Ханаанской, а в губерниях черты оседлости, куда История загнала еврейскую массу. Строить в рамках идишистской культуры, идишистской народной традиции. Никакого халуцианства — пионерского духа, никакого устремления в Палестину. Все сейчас, здесь, на месте. Находясь на противоположном по отношению к политическому сионизму полюсе национальной общественной жизни, Бунд пользовался большой популярностью среди еврейских трудящихся масс Польши и Литвы, и эта популярность была особенно велика в месте его рождения — в Вильно. Так что у руководителя витебских сионистов Григория Брука были основания отговаривать Герцля от остановки в этом городе. «Поезжайте куда угодно, только не в Вильно», — кричал он, пугая венского гостя возможностью провокации, антисионистской демонстрации и бог знает еще какими последствиями.

Уж не такая ли это демонстрация, на мгновение подумалось Герцлю, когда в сопровождении встретившей его в Вильно делегации местных сионистов он вышел на привокзальную площадь, запруженную народом. Но эти люди встречали его овацией, приветствовали, рукоплескали, выкрикивали библейские цитаты. И так было все тринадцать часов его пребывания в городе. Где бы он ни оказывался — в гостинице, синагоге, на торжественном ужине — всюду его сопровождала восторженная толпа.

Известный сионистский деятель Барух Цукерман рассказывает в своих воспоминаниях, как шестнадцатилетним виленским ешиботником он со своим другом — сапожником по имени Эфраим стоял в огромной толпе, ожидавшей Герцля у гостиницы. Он вышел в сопровождении свиты, на мгновение остановился перед этой массой наэлектризованных волнением людей, потом приподнял цилиндр в знак приветствия, сел в экипаж, и лошади тронулись. И в этот момент худой и тщедушный по описанию Цукермана Эфраим ухватился за заднее колесо, остановив пролетку. Герцль поднялся в экипаже и обернулся лицом к толпе, чтобы посмотреть, что происходит. И тогда юный сапожник, выпустив колесо, воскликнул: «Давид, царь Израиля, да живет и здравствует!». И тысячная толпа отвечала ему криками: «Да здравствует!», «Ура!»

История несколько мифологическая. Но то, что Герцля повсюду встречали взволнованные еврейские толпы, то, что в приветствиях, торжественных речах постоянно присутствовали библейские ассоциации, подтверждают даже донесения полиции, внимательно следившей за визитом.

Цукерман со своим экзальтированным приятелем сумел попасть на прием в еврейском благотворительном обществе, где представитель общины вручил Герцлю небольшой свиток Торы в резном деревянном ларце, а старый раввин, воздев к небу руки, произнес старинное благословение: «Да благословит и сохранит тебя Господь!»

Все это трогало Герцля до слез, искупая тяготы и унижения девяти петербургских дней. Сидя в поезде, он запишет в дневнике: «Никогда не забуду вчерашний день, день Вильно». А поезд мчал его сквозь густые литовские леса на юг, в Вену, откуда ему день спустя предстояло уезжать в Базель на последний в его жизни сионистский конгресс.

«Пусть отсохнет десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим!». Этот конгресс оказался трагическим для Герцля. Под впечатлением ужасов кишиневского погрома и положения евреев России он представил делегатам план создания незамедлительного убежища — еврейской колонии в Уганде, получив на это предварительное согласие британского правительства. И конгресс раскололся, взорвался криками: «Предатель!». Российская делегация в знак протеста против отхода от основного принципа Базельской программы — создания убежища на Святой земле — покинула зал. Именно тогда Герцль, потрясенный этой реакцией, ощутив разверзшуюся перед ним пропасть, которая может поглотить дело его жизни, отказавшись от угандийского проекта, воскликнул: «Пусть отсохнет десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим!»

Этого потрясения он не вынес. Здоровье давно уже было подорвано невероятным напряжением, в котором он жил все эти годы. Болезнь сердца осложнилась воспалением легких, и 3 июля 1904 года Теодор Герцль скончался на австрийском курорте Земмеринг. А через две недели — 15 июля — был разорван на куски бомбой террориста его петербургский собеседник Вячеслав Константинович Плеве.

Герцль завещал похоронить себя на венском кладбище, но после создания Еврейского государства его прах перенести в Палестину. Одним из первых мероприятий государства Израиль был перенос останков лидера сионизма в Иерусалим.

Его вклад в историю человечества бесспорен и значителен. Он оставил после себя еврейское национальное движение, объединенное идеей возврата на Святую землю, и тем самым положил начало многим значительным событиям XX века.

Политический оппонент Герцля Мартин Бубер писал, что его заблуждения были плодотворнее достижений его противников. «Он был твердым и сердечным, — продолжал Бубер, — необузданным и сдержанным, благородным и злопамятным, человеком настроения и человеком действия, мечтателем и праведником... Загадка его личности до конца не разрешена».

Вячеслав Пьецух

Новая «Буколика», или Прелести сельской жизни

Предчувствую, что в скором времени начнется обратная миграция населения нашей бескрайней отчизны, из города в деревню, если она уже исподволь не началась, затронув самый ответственный, мыслящий элемент.

Ну что город, по крайней мере, в российской редакции? — вонь, грязь, бандиты, толчея в метро, насморк, отравленная вода, дороговизна, игорные заведения, нищие, проститутки, полжизни в пробках, психопаты, стаи бродячих собак, аллергия, матерные инскрипции на заборах, азиаты, мороженный минтай, выхлопные газы плюс утомительное одиночество, когда положительно некому преклонить голову на плечо. Еще Вергилий намекал в своей «Буколике»: город выдумали аферисты и торгаши.

То ли дело деревня — волшебное учреждение, само человеколюбие и чистая благодать. Допустим, в каких-нибудь ста пятидесяти километрах от мегаполиса и в тридцати с небольшим от районного городка стоит себе по-над тихой речкой десяток-другой дворов, которые с раннего утра, едва развидняется, пускают в небо пушистые печные дымы и выглядят так невозмутимо, умиротворенно, как будто нет на свете ни метро, ни уличной толчеи, ни бандитов, ни даже районного городка.

В воздухе благоухание, поскольку ближайшая фабричная труба воняет в тридцати с небольшим километрах к северо-западу, а проклятые автомобили наперечет: у Вани Шувалова, участкового милиционера Саши Горячева и у пожарной команды из трех бойцов; если Горячев для порядка проедет по деревне на своем «уазике», то некоторое время нечем будет дышать. Воздух благоухает, смотря по сезону и по погоде, то яблочным цветом в качестве преобладающей интонации, то чистым дыханием разнотравья, то грибным духом, даже если грибы еще не проклюнулись или уже сошли, то прелой листвой, то речкой в первые холода, то настоем лесной хвои, когда идут продолжительные дожди. Вода в деревне именно что живая, и в колодце, и в ключах, бьющих пониже выходов известняка, и в самой речке, темно-прозрачной, как тонированное стекло. Толчеи тут не бывает, разумеется, никакой, даже когда из района приезжает автолавка, торгующая с колес хлебом, консервами, макаронами и прочими продуктами питания, так как народа в деревне кот наплакал и давно разъехалась кто куда полоумная сельская молодежь. Разве в другой раз мужики соберутся покурить на бревнах, которые все никак не пустят на новые электрические столбы. Оттого и тишина здесь такая, что ничего не слышно, кроме урчания в животе.

Про бандитов тоже ничего не слышать, и если случаются в деревне и по соседству какие-нибудь житейские трагедии, то обыкновенно домашнего происхождения, без участия внешних сил; ну, мужик сдуру плеснет в топку печки полканистры бензина и сгорит заживо в своей избе, ну, кто-нибудь спьяну утонет в пруду, со всех сторон заросшем осокой, где домашние утки выгуливают утят.

Что до насморка: в деревне народ страдает разными хворями, от стенокардии до цирроза печени, но насморков не бывает, поскольку тут наблюдается иной, отчасти загадочный теплообмен между природой и человеком, и если в мегаполисе при +5

градусах по Цельсию народ влезает в демисезонные пальто, то деревенские щеголяют в одних майках — и ничего. Однако на всякий неординарный случай в каждой избе имеется русская печь, которая топится сутками, и если каждые полчаса забираться на нее вместе с пожизненно желанной женой, страдающей бронхитом или воспалением легких, то выздоровление гарантировано в девяти эпизодах из десяти.

И мороженого минтая тут не едят. Здешние деревенские через одного заядлые рыболовы и более или менее регулярно обеспечивают свои семьи лежом убедительных размеров, пятнистой щукой толщиной с порядочное полено, даже налимом и хариусом, составляющими нынче большую редкость, которые все вместе идут в жаркое и на уху. Надо заметить, что парная речная рыба — это такой деликатес, с которым не идут в сравнение ни печеные устрицы, ни жареные улитки под «божолем».

О деревенской кухне разговор особый. Самое существенное ее преимущество состоит в том, что все *свое*: овощи, фрукты, молоко и всяческие молочные производные, яйца, мясо, зелень, кое-что из экзотики, как то барбарис для плова или хмель, пиво варить, — словом, все, за исключением спичек, соли и табака. Причем эта продукция выращена не на селитре, из которой порох делают, а на форменном коровьем навозе, которого в округе невпроворот. Оттого деревенская пища особенно аппетитна (главным образом потому, что все *свое*), питательна и вкусна.

Взять, к примеру, «крестьянскую» яичницу: если зарядить сковородку салом, нарезанным толстенькими прямоугольниками, вареной картошкой, соленым огурцом, луком, чесноком, мелко порубленной зеленью и залить все это дело яйцами, взбитыми со сметаной, то ваш механизатор будет сыт и трудоспособен, как ученый сиамский слон. Или вот уха — это песня, а не уха: сначала варишь в чем попало половину курицы, которая после пойдет в салат «оливье», затем закладываешь разную рыбную мелочь в марлевом мешочке (ее с удовольствием те же куры съедят), картошку, морковь, обжаренный лук, два-три помидора, каковые, как сварятся, нужно будет очистить и растолочь, потом запускаешь крупные куски парной рыбы, наконец, вливаешь в уху граненый стакан водки, и в результате получается экстренная, по-настоящему праздничная еда.

Водку как таковую в сельских условиях приятней всего закусывать сырыми яйцами, чуть присыпанными крупной солью, какая идет на засолку капусты и огурцов. Бывало устроишься под старой яблоней, помнящей еще германское нашествие, выпьешь с товарищем стаканчик русского хлебного вина и закусишь сырым яйцом, после зачерпнешь деревянной ложкой дозу пламенной ухи, и — как будто вдруг солнце засияло ярче, и словно у тебя на челе прорезались дополнительные, всевидящие глаза. Тотчас захочется о наболевшем поговорить; скажешь товарищу:

— В городах теперь идет передел собственности, а у нас пока, слава тебе, Господи, тишина.

Товарищ откликнется:

— Вот именно что пока! У нас в колхозе раньше было две с половиной тысячи гектаров угодий, а что теперь?.. Сообщаю, что теперь: ровно тысячу гектаров норовят у нас оттяпать какие-то акционеры темного происхождения, и ты обрати внимание — за гроши! Народ, понятное дело, волнуется; такое настроение, что прямо руки тянутся к топору!

Скажешь в ответ:

— Тут уж ничего не поделаешь, потому что в стране произошел контрреволюционный переворот. А исторический процесс — это стихия, это такой селевой поток. Терпеть надо. «Бог терпел и нам велел».

— Терпеть, конечно, придется...

— Главное, как для кармы-то хорошо!

В округе действительно кто-то неугомонно скупает крестьянские паи, пользуясь простодушием сельского населения, которое отдает свои десять гектаров пашни чуть ли не за зеркальца и бусы, как туземные жители каких-нибудь Соломоновых островов. Расставшись с наделом, эти бедолаги автоматически выбывают из сословия и если не работают в колхозе или хозяйство давно разорилось, то бродят день-деньской по деревне, околачиваются у пожарного депо, сидят безвылазно по домам,

а то прохладяются на бревнах, заготовленных под электрические столбы. Проедет мимо на своем «уазике» участковый Горячев, мужики его хором приветствуют:

— Здорово, Сашок!

Тот в ответ:

— Здорово, «власовцы», как дела!

В отличие от полоумной сельской молодежи, которая задолго до выпускного бала «вострит лыжи» в сторону мегаполисов, рассассированное крестьянство в общем-то неохотно разбредается по рабочим поселкам и городам. Наверное, их удерживает привычка к привольной деревенской жизни, дорогие могилы, кое-какая недвижимость, но главное — огород. Что ни говори, а даже и лишившись всего, кроме дедовской избы и двадцати соток под картошку, можно худо-бедно существовать. Кроме того, у буколического способа бытия есть еще и такие капитальные преимущества: трудно спиться, потому что ближайший магазин, торгующий горячительными напитками, орудует в значительном отдалении, в селе Никольском, куда особенно не находишься, и, хотя «для бешеной собаки семь верст не околица», преодолеть эти семь верст пространства не позволяет даже несильно отравленный организм; во-вторых, учеников в местной школе раз-два и обчелся, по пять-шесть человек в классе, и не приготовить домашнее задание можно разве под тем предлогом, что будто бы накануне сгорела твоя изба. Оттого народ в деревне растет грамотный, трактористы Вернадского читают, но, правда, все как один слабо разбираются в политической экономии и их бывает легко надуть.

Словом, это удивительно, что наши люди все еще прозябают по городам и никак не хлынут семьями в благословенные буколические места. Ведь сто очков вперед дает деревня прокуренным квартирам, в которых негде повернуться, загаженным подъездам и асфальтовым дворам, оккупированным автовладельцами, куда бывает боязно выйти с наступлением темноты. Такая консервативность тем более удивительна, что денег по деревенской жизни нужно совсем немного и отставной горожанин легко протянул бы на свою жалкую пенсию, особенно в тех случаях, когда жилище ничего не стоит, на задах имеется огород, электричество дешево, на бензин тратить не надо, вода своя.

Молодым, правда, придется трудней, потому что в русской деревне пресловутые провайдеры, брокеры, топ-менеджеры, мерчендайзеры не нужны. Бывает, нужны скотники, механизаторы, ремонтники, плотники, электрики, а бывает, что и вообще никто не нужен, поскольку хозяйство, некогда перебивавшееся с петельки на пуговку, постепенно разобрали «на кирпичи». Но ведь на то и смекалка, чтобы придумать себе какое-нибудь полезное занятие, обеспечивающее хлеб насущный, — можно, например, выращивать виргинский табак в теплицах, павлинов разводить, учить деревенских детишек восточным единоборствам, политикой подзанияться в районном масштабе (тоже дело хлебное, и весьма), можно, наконец, кроссворды сочинять, которые гарантированно пойдут в сельской местности нарасхват. Впрочем, серьезному мужику ничто не помешает восстановиться в крестьянском сословии сто пятьдесят лет спустя после кончины прапрадедушки-хлебороба, то есть записаться в колхоз землю пахать, тем более что в городе ты изо дня в день вожжался с ненужными бумажками и препирался со спичрайтером-дураком, тем более что нет ничего увлекательней, даже поэтичней земледельческого труда. Представьте себе: раннее утро, полям вокруг края не видно, земля из-под лемеха валит жирная, как шоколадное масло, в сумке припасена на завтрак краюха домашнего хлеба, шмат сала, бутылка парного молока, и на сто пятьдесят верст кругом ни одного спичрайтера-дурака.

В крайнем случае, можно отважиться и на кое-какие жертвы, потому что деревенская жизнь спасительна для физического здоровья и особенно целительна для души. Представьте себе: поднимаешься ни свет ни заря (кто любит жить, тот встает чуть свет), умоешься у рукомойника холодной-прехолодной водой, от которой в другой раз зубы сводит, и оглядишься по сторонам: солнце только-только поднимается из-за леса, над рекой стелется густой туман, точно паровоз прошел, воздух напоен райскими запахами, слышно, как дятел оттягивает свою дробь; вон ежик пробежал с яблоком на иголках, остановился, по-свойски на тебя поглядел и пустился дальше, слегка переваливаясь с боку на бок и семеня. Тут уж подумается не об ипотеке, не о

дисконте на шанхайскую биржу, а, например, о том, что ежик — такое же произведение природы, как и ты, только безвредное, что и он по-своему хозяин этих двадцати соток и, можно сказать, сосед. Вообще в деревне у человека совсем другие, именно свойские, отношения с живой природой и неживой, положим, дождь в городе — это наказание, а в деревне, если не дар Божий, то, по крайней мере, что-то биографическое, часть жизни, составная повседневности, как размолвка с женой, — моросит? ну и пусть себе моросит.

В свою очередь, животные ведут себя в деревне как-то по-человечески, отчасти экстравагантно, в особенности коты. При соседях, которые зашли, что называется, «на огонек», ваш пушистый питомец обязательно устроит показательное акробатическое выступление, а на бис может выбраться из дома через дымоход и картинно присесть на печной трубе. Собаки все на удивление дружелюбны, даже «кавказцы», и наши младенцы обожают играть с огромным ротвейлером по кличке Варяг, который понимает команды на нескольких языках. Если привязать козла возле стога сена, то на месяц-другой можно о нем забыть.

Кстати о соседях; сосед в деревне — это что-то вроде дальнего родственника, а не безымянное существо, с которым иногда раскланиваешься по утрам, и не полторы тысячи мужчин и женщин, живущих с тобой под одной крышей, даром что тебе, бывает, некому преклонить голову на плечо. Соседей на деревне и любят, и недолюбливают — это случается, как всякое случается в очень большой семье. Однако же все друг друга знают по именам-отчествам, все в курсе прошлого, настоящего и даже отчасти грядущего любого однодеревенца, праздники и торжества справляются всем электоратом, двери запираются только в случае продолжительной отлучки, адюльтеры исключены. Где-нибудь поблизости, может быть, и дерутся дрекольем, и соседских собак травят, и дрова друг у друга воруют, и пьют безобразно, — но не у нас.

Предчувствую: если способ существования в нашей деревне — норма, если будущее за нами, то рано или поздно московское правительство останется не у дел.

Сейдахмет Куттыкадам

Слово о заблудшей цивилизации

Казалось бы, о глобальных угрозах человечеству уже все сказано. И конвульсивные судороги истерзанной Природы очевидны. Но патологическая слепота вершителей судеб мира сего вынуждает продолжать повсеместно бить в колокола.

Больное человечество

Ныне перед человечеством встало «чудище обло, озорно, огромно, стоzewно и лаяй» невиданного в истории всеобъемлющего Глобального кризиса. И всякие благодушные заверения в том, что вот-вот его одолеют, ничего не стоят. Очень скоро мегакризис заявит о себе в еще более грозной форме, если не будет осознанно, что он является не столько следствием лопнувшего мирового финансового мыльного пузыря и усиления «парникового эффекта», сколько всеобъемлющим духовным кризисом, проистекающим из несостоятельности самой парадигмы современной земной цивилизации и сложившихся неестественных и саморазрушительных форм человеческого бытия. Об опасности избранного человечеством пути давно предупреждали прозорливые мыслители от Жан-Жака Руссо, Федора Достоевского... до Рэя Брэдбери. Римский клуб в своих докладах, иерархи мировых конфессий на совместных форумах, обеспокоенная часть ученого сообщества, в частности, экологи на международных конференциях в Стокгольме и в Рио-де-Жанейро, били тревогу по поводу смертельных угроз, нависших над цивилизацией.

Иоганн Вольфганг Гете говорил: «С высоты разума мир представляется сумасшедшим домом». Это было произнесено в начале XIX века, а в истоках XXI века сумасшествие мира зашло настолько далеко, что сделалось привычной нормой нашего бытия и уже никем почти не осознается.

Три четверти века тому назад Андрэ Мальро писал о современном жизнеустройстве как о «первой (в своем роде. — С.К.) цивилизации, которая может завоевать всю землю, но не способна изобрести ни своих храмов, ни своих гробниц». Еще более суров диагноз ученого А.Грэгга: «Мир поражен раком, и этот рак — сам человек». Состояние современного мира, которое нельзя назвать иначе как катастрофическим, подтверждает их приговоры.

Наша цивилизация поразительна, она познает самые сокровенные тайны природы, ее взор проникает в отдаленнейшие глубины прошлого — в происхождение Вселенной и Земли и появление их юного отпрыска — человека, но она абсолютно слепа в отношении последствий (уже скорых) безумного образа своего существования.

Сейдахмет Куттыкадам — родился в 1946 году в г. Туркестан Республики Казахстан. По образованию инженер-технолог, кандидат технических наук. С 1991 года — профессиональный журналист: был главным редактором республиканских изданий — журнала «Арай», газет «Время-Дауир» и «Эпоха», в настоящее время — главный редактор журнала «Мысль». Член казахстанского ПЕН-клуба и Академии журналистики Казахстана.

Человечество пережило немало войн и кризисов, включая две мировые войны и две ядерные бомбардировки, но все это ничему его не научило, а теперь надвигается нечто еще более ужасное и неотвратимое, именуемое в Библии Апокалипсисом. И это очевидно: сообщество, которое настойчиво разрушает свой дом, Землю, и тратит на самоистребление намного больше средств и интеллектуальной энергии, чем на культуру, обречено на гибель.

Для обоснования такого трагического прогноза без краткого экскурса в мировую историю никак не обойтись, а для цельности изложения не избежать некоторого повторения общеизвестных истин.

Печальные примеры прошлого

В былые времена немало великих цивилизаций погибли отнюдь не под ударами более могущественных врагов, а из-за внутренних болезней. Наверное, будет поучительным вспомнить о некоторых из них.

Цивилизации древности развивались экстенсивно и преимущественно локально в, казалось бы, беспредельном мире с неисчерпаемыми природными ресурсами. Примерно 40 веков назад одна из величайших, уникальная Хараппа, без видимых внешних и внутренних причин претерпела катастрофу, объяснения которой долго не могли найти. Когда же нашли, выяснилось, что это было первое в истории экологическое самоубийство. Хараппа стремительно развивалась и, нуждаясь в древесине, уничтожила большую часть деревьев в верховьях Инда, в результате уровень реки резко упал. Отсутствие воды сгубило самобытнейшую культуру.

Строители известной Вавилонской башни разбежались не из-за смешения разных языков, а из-за скученности, антисанитарии и эпидемий. Некоторые греческие полисы и пресловутые Содом и Гоморру, как известно, погубили половые и моральные извращения.

Древний Рим — величайшую империю античности, более шести веков повелевавшую ойкуменой, — подточила потребительская психология. Все богатства античного мира стекались сюда, роскошь изнежила римлян, сделала их ленивыми и пресыщенными сибаритами. Патриции тешили тем, что наедались до крайности, затем, наглотавшись гусиных перьев, отрывали и вновь начинали предаваться обжорству.

Любовь к денежному печатному станку, заметим, испытывали не одни лишь современные американские финансисты. Еще в средние века согдийцы обучили одного центральноазиатского правителя печатанию денег, и настолько это ему понравилось, что, оставив все остальные дела, он только этим и занимался. В итоге случилось неизбежное — суперинфляция разорила его страну.

Золотой телец и коррупция разложили величайшую империю — Византию.

Несколько гиперболизируя, скажем: гибель этих цивилизаций вызвана в основном одним-двумя негативными факторами. В современной единой цивилизации имеют место все они одновременно, причем в гораздо больших масштабах, и к ним еще добавились демографический взрыв, последствия промышленной революции, которая на поверку оказалась такой же неуправляемой и разрушительной, как и социальная, стремительно сокращающиеся энергетические ресурсы, окончательное отчуждение человека от природы, «парниковый эффект», огромное материальное расщепление, терроризм и многое, многое другое.

Практически беспрепятственное циркулирование денежных потоков (в основном в электронном образе доллара) и информации в мире стали главными факторами глобализации. Деньги из средства товарообмена превратились в самодовлеющую силу, устанавливающую почти везде свои законы и порядки, больше похожие на произвол и беспорядки, а информация — из носителя знания преобразовалась в изощренный инструмент манипуляции массовым сознанием.

И все это смешалось в опасную гремучую смесь, масса которой близка к критической и после накопления которой неизбежна глобальная цепная реакция.

Парадигмы власти

Представляется, что в участии человечества немалую роль сыграли и «эволюция» форм управления и устоявшийся цинизм в международной политике.

Здесь я позволю себе пространные рассуждения в стиле а-ля Тоффлер.

В ходе мировой истории наблюдались три радикальные смены управленческих парадигм.

I. Власть грубой силы, олицетворением которой являлся вождь.

II. Политика — сублимированная сила, персонифицированная в монархе.

III. Всевластие финансов в облике буржуазии, породившей республику.

Переход от первого этапа ко второму был обусловлен зарождением государств. Вождь мог завоевывать большие территории силой меча, но управлять ими только с помощью меча он был не в состоянии. Это хорошо выражено в словах китайского мудреца, сказанных им Чингисхану: «На коне можно завоевать весь мир, но управлять им с коня — невозможно». Поэтому правителям надо было усваивать опосредованную власть силы — политику.

Монархия проделала свою историческую работу. Она обуздала дикие орды, подавив их жестокие инстинкты, научила людей повиноваться государству, заложила основы самобытных культур. Диковатые рыцари-дружинники превратились в лощеных дворян.

Но растущие материальные потребности все увеличивавшегося числом человечества она удовлетворить не могла. Великая мусульманская культура Средних веков и западно-христианское Просвещение подготовили почву, а Великая американская и Великая французская революции осуществили неприметную поначалу передачу доминирующей роли от политической власти к власти финансовой.

Это не значит, что политика полностью утратила свое значение. Она по-прежнему играла немалую роль, но, как выразился один известный политэконом XIX века, «политика стала концентрированным выражением экономики». Политика стала тайно или явно обслуживать экономику, то есть «акулы капитализма» фактически начали диктовать свои условия государственным «зубрам». Надменных дворян вытеснили ушлые буржуа.

В странах, где воцарился капитализм, он высвободил скрытые производительные силы и возвел их в особую касту — «золотой миллиард». Огромные материальные блага, созданные упорным трудом его первых поколений, в последующих возбуждали дикую жажду потребления (установив, по Эриху Фромму, между вещами и людьми смертоносную связь).

Человечество раскололось на три мира: первый — сытых и жадных, второй — полусытых и идеологически забытых и третий — голодных и злых. Основное противостояние было между двумя первыми, каждый из которых искал (покупал) себе союзников среди третьих. Но вот «империя зла» — могучий тоталитарный коммунистический лагерь, контролировавший полмира, — развалилась. Казалось бы, у ее антагониста появился редкий шанс установить «империю добра», ведь теперь некому было мешать. Однако оставшаяся в гордом одиночестве гиперимперия не пошла по этому пути, мало того, вдруг выяснилось, что установившийся глобальный экономический тоталитаризм не менее опасен, чем идеологический, и практически бесконтролен.

В итоге если ранее цивилизационную парадигму меняли в основном войны, затем революции, то сейчас — экономические кризисы. (Здесь напрашивается наше видение четвертой парадигмы управления, но для логической стройности мы ее изложим ниже.)

«Закон джунглей»

Особенностью политики почти всех великих держав является то, что они управляют миром, не только придерживаясь известного римского принципа «разделяй и

властуй», но и используя всевозможные изощренные методы покорения. Наиболее хитроумный пример такой политики приведен в древней притче о наглядном уроке управления государством, преподанном молодому индийскому принцу соседним раджей. Раджа пошел по пшеничному полю и стал срывать самые высокие колоски. Принц понял его аллегорию дословно и, сам став раджей, начал убирать в своей стране всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся из серой массы. Так он добился полной покорности народа и беспрекословной власти. Этому совету до сих пор следуют некоторые диктаторы, не слишком обремененные умом. А между тем мало кто помнит, чем закончилась история молодого раджи. Спустя некоторое время его государство, лишенное лучших людей, в особенности в системе управления и обороны, ослабело, и его легко захватила армия лукавого советчика — того самого соседнего раджи.

Однако сейчас опыт коварного раджи требует более глубокого переосмысления. В течение многих столетий наряду с упомянутыми существовал еще и иезуитский прием, я бы сказал, «депрофессионализирующего» колониализма. Он заключался в том, что великие державы, в первую очередь метрополии, старались в подневольных и подконтрольных странах любыми методами привести к власти туповатых, но покорных ставленников. Те же, чтобы надежней удержаться у руля, расправлялись с думающими людьми, творили произвол и разводили коррупцию. Но хозяев это не волновало, им важнее была покорность наместника и доступ к ресурсам колонии.

Кроме того, государство приходило в глубокий упадок и попадало в полную зависимость от них. Однако теперь, когда мир стал хрупким, единым и взаимозависимым, ясно, что банкротство других, особенно если таковых становится слишком много, — это и собственное банкротство.

Сейчас для того, чтобы выжить самому, нельзя топить других. Мы все помещаемся в одной утлой лодке, именуемой Землей. Мы вместе выживем или вместе... погибнем.

Новая эпоха варварства

Наше время, сколь ни покажется странным, характеризуется решительным оскудением интеллекта. Казалось бы, абсурдное утверждение: ведь налицо выдающиеся материальные достижения современной цивилизации. Однако связаны они в основном с умением копить, хранить знания многих тысячелетий и находить им утилитарное применение. Но нынешнее поколение землян несравненно беднее духовно и умственно, нежели поколения, жившие на заре цивилизации. Тому несколько причин. О первой мы уже сказали — это десакрализация знаний. Вторая — голова современного человека засорена чрезмерным количеством бесполезной информации, в которой теряются истинные знания (если таковые имеются). Третья — практически утрачены универсальность индивидуума, всесторонность его познаний и богатство мировосприятия.

Интеллект девальвировался и раскололся на обслуживание сотен тысяч узких специальностей. Поэтому «ум» современного человека очень узок и... остер, остер до смертоносной колкости. Собственно говоря, это уже не ум, а опасные осколки хрупкого ума.

Произошла радикальная дегуманизация интеллекта. На протяжении уже многих поколений лучшие умы уходят не только в механическую сферу — сферу промышленной революции, но и в откровенно античеловечную — в создание боевого оружия, включая оружие массового уничтожения. Гуманитарная сфера заполняется в основном по остаточному принципу — середнячками, отсюда оскудение искусства, литературы и в целом культуры.

В течение многих столетий международная политика и экономика строились на идее подавления и уничтожения интеллектуального потенциала других стран (стран-соперниц). Это привело к еще большему падению общечеловеческой культуры и духовности. И сейчас у нас утончился не только озоновый слой, но и, что намного опаснее, — ноосферный.

Массовая культура — синоним стадных инстинктов, вакханалий и буйства — захватила планету. Эпоха нового варварства, предсказанная Ортегой-и-Гассетом, достигла своего пика. Современные варвары прекрасно одеты, в руках у них нынче не дубинки, а ноутбуки, но тем они опаснее. Этим солипсистов занимают только личные потребности и прибыль, какой угодно ценой. Эта интернациональная, ненасытная и эгоистическая верхушка вершит свой пир во время надвигающейся всемирной чумы.

Конечно, не все так ослеплены роскошью, как «золотая элита» «золотого миллиарда» и «коррупцированная элита» бедных государств, но именно они определяют нашу общую судьбу, ведь и в приведенных выше примерах из древности разрушения провоцировали безрассудные верхи, а катастрофу потерпели все.

И все это говорит о том, что фрейдовское влечение к смерти, Танатос, явно оказывает себя: современная цивилизация расходует на смерть в сотни, если не в тысячи раз больше, чем на жизнь. Это наглядно выражается в мировом соотношении расходов на вооружения и культуру. Поэтому, похоже, Бог разуверился в итоге своего эксперимента с Адамом и Евой и оставил нас из-за того, что образ жизни, образ мыслей, образ действий человечества оказались ничтожны и саморазрушительны. (Впрочем, Фридрих Ницше считал, что Он не только оставил нас, но и умер с горя. Поэтому на его вакантное место устремились некоторые ученые, а точнее, подручные дьявола — безумные генетики. Они считают почившего неудачника-бога ремесленником и, используя более современные материалы и технологии, чем глина и Его руки, ткнут искусственную генетическую ткань, желая создать более «совершенное» творение. Каким чудовищем обернется этот голем, нетрудно себе представить.)

Футурология последней трети прошлого века

Отдельные ученые и мыслители пытались остановить подобное развитие событий. В 60—70-х годах прошлого века символическим порогом «будущего» выглядела предстоявшая тогда дата смены тысячелетий — 2000 год. Это вызвало волну футурологических предсказаний.

Римский клуб, основанный в 1968 году, громко заявил о надвигающихся планетарных бедах.

В 1970 году вышла книга Элвина Тоффлера «Шок будущего», где в драматической форме описано будущее деградирующее общество потребления, то есть общество нашего времени. Надо сказать, изображенный им социальный «портрет» оказался и впрямь шокирующе точным.

А еще одна группа видных футурологов описала четыре вероятные модели будущего мира, которые можно условно назвать — оптимистической, пессимистической, радикальной, а также представляющей их синтез — интеграционной. Именно последняя модель оказалась наиболее прогностически точной, поэтому вкратце приведем ее рекомендации:

— Отказ от «псевдопотребностей» — вооружений, наркотиков, никотина, алкоголя, а также предметов роскоши и безделушек, навязываемых рекламой. Свертывание отраслей промышленности, работающих на «псевдопотребности».

— Переход к умеренному и рациональному питанию.

— Использование скромной гигиеничной одежды, без модных излишеств.

— Курс на дезурбанизацию, со строительством поселков из небольших домов.

— Культивирование пешеходства и велосипедной езды.

— Преимущественное использование безотходных технологий.

— Троиный культ — развития личности, укрепления здоровья человека и бережения природы.

И далее в том же ключе. К сожалению, все эти разумные рекомендации оказались гласом вопиющих... на глобальной свалке.

Апокалипсис или новая парадигма?

У древних пророков, в частности у Заратустры, Кассандры, Иеремии, Иоанна Богослова, была обостренная способность чувствовать приближающиеся социальные катаклизмы.

Но большинство их соплеменников, как известно, не прислушивались к ним. (Отсюда и поговорка «нет пророка в своем отечестве».) И эти общества за свою глухоту платили немалую цену. В наше время такая глухота стала абсолютной, и цена за нее неимоверно выросла.

После очередного сигнала тревоги сонные люди испуганно вскакивают с мест и начинают лихорадочно метаться в поисках выхода. Но затем мелочные заботы отвлекают их, они успокаиваются и вновь впадают в спячку. С каждым последующим звоном колокола период беспокойства все более сокращается, и дело дошло до того, что теперь на него не только перестали реагировать, но он даже раздражает.

Какая-то невероятная смесь безрассудства и фатализма охватила людей. Их основной довод: «В истории Земли случались мегакатастрофы — был период внезапного похолодания, из-за чего вымерли динозавры, затем — резкого потепления, вызвавший библейский всемирный потоп. Что поделаешь? Чему быть, того не миновать».

При этом забывается, что грядущий воистину вселенский кризис, перед которым все предыдущие покажутся детскими страшилками, не будет связан ни со случайностью, ни с цикличностью в природе, а явится неизбежным следствием пагубного образа жизни людей: роста ложных и порочных потребностей, победы злополучных искушений Аарона над заповедями Моисея, поклонения «золотому тельцу», насилия над природой, забвения духовности.

Вот почему сейчас перед человечеством встали неотложные онтологические вопросы, и при их рассмотрении становится очевидным, что из такого катастрофического состояния нельзя выйти путем устранения только одной-двух составляющих кризиса, скажем, перестройкой финансовой системы и экономической модели и уменьшением токсичных выбросов промышленности. Необходимо изменить всю взаимосвязанную совокупность бытийных компонентов. А это значит, что **наша цивилизация должна стать абсолютно другой.**

Человечество подошло к судьбоносной черте, за которой или Апокалипсис или абсолютно новая парадигма существования, не имевшая аналогов в истории. Необходим кардинальный поворот от дьявольских искусов материи к божественному Духу.

Должно измениться все — внешняя и внутренняя политика государств, экономика, культура, СМИ, образование, воспитание, психология, этос. Это означает переход от конфронтации на всех уровнях и во всех сферах — к тесному и искреннему сотрудничеству всех людей.

Это поворот к культуре и гуманизму, воспитание и направление лучших умов в сферу духовности. Сбережение и преумножение общечеловеческого, гуманистического и интеллектуального потенциала, то есть единой ноосферы.

Это сохранение экологического равновесия, сокращение безудержного потребления, сокращение в сотни, а лучше в тысячи раз расходов на вооружение. Чем быстрее это осознает человечество, тем больше у него шансов выжить.

Современная цивилизация нуждается в принципиально иных философии и стиле поведения государств. Становится совершенно очевидным, что ресурсы Земли являются общечеловеческим достоянием и потому их надо очень рационально использовать. Кроме того, не только терроризм, но и произвол и коррупция представляют глобальную угрозу. То есть мировое сообщество должно добиваться того, чтобы каждым государством мира управляло эффективное правительство, способное бережно и рационально использовать свои природные ресурсы и повышать благосостояние и культуру своего народа, так как общая духовность превращается в важнейший спасительный ресурс всего человечества.

И нынешний колокольный звон глобального кризиса — он ведь о золотом тельце. Его эра должна закончиться и уступить место новой — эре интеллекта. И тогда,

как предсказывал Платон, наконец философы начнут править, а правители — философствовать. Это означает, что должен прийти совершенно новый, четвертый тип цивилизации, в чем-то похожий на гипотетическую ноосферу ученых Эдуарда Леруа и Тейяра де Шардена, развитую в особое учение Владимиром Вернадским и направляемую Касталией Германа Гессе.

Вслед за воинами, политиками и буржуа приходит черед интеллигенции выдвигаться на авансцену истории. Это вовсе не означает, что буржуазия и чиновничество будут совсем вытеснены. Они по-прежнему сохраняют известную роль в общественном обустройстве. Но роль интеллекта значительно возрастет и, возможно, наконец будет цениться по достоинству, дороже золота и чинов. Вслед за тремя волнами цивилизации Элвина Тоффлера — аграрной, индустриальной, информационной — должна прийти Духовная.

Впрочем, сам Тоффлер писал, что в информационную эпоху (в преддверии духовной. — С.К.) «корпорации должны уступить место университетам, а бизнесмены — ученым». По сути, речь идет о начале четвертой волны. Подобное предположение может показаться немыслимой утопией и вызвать откровенную иронию. Но давайте вспомним, как в конце Средних веков дворянство относилось к негодичантам. Если бы им тогда сказали, что со временем лидерству родовой знати придет конец и миром станет править капитал, это бы вызвало у них гомерический смех. Между тем угодливые негодичанты эволюционировали в могущественную бизнес-элиту, навязывающую свою волю не только своим правителям, но и всему миру.

Так и культурная, духовная элита может стать реальной силой, направляющей общество, и здесь нет особого «открытия Америки». Освальд Шпенглер говорил о глубокой взаимосвязи в обществе — искусства, науки, политики и экономики. Все это составляет единую ткань и имеет единый код. Причем системообразующей структурой является культура. Потому и рычаги ей в руки. Ведь, как ни покажется это парадоксальным, «Утопия» Томаса Мора нашла, правда, в несколько искаженной форме, свое воплощение в жизни. Поэтому, может, теперь настал черед утопии Германа Гессе, нарисованной в его таинственной книге «Игра в бисер»? Эти духовные магистры — современные жрецы — касты новых брахманов, могут указывать кшатриям-чиновникам и вайшьям-бизнесменам разумные пути развития общества.

А в ООН должны бы заседать не циничные политики, а выдающиеся деятели культуры, гуманитарной науки и религии — носители Духа.

Словом, в истории цивилизации власть из хижин вождов вначале перешла во дворцы королей, затем в офисы транснациональных компаний, а теперь должна наконец перейти в Храмы культуры и знаний.

Рай на земле — это ожидаемое всеми религиями царство Духа.

Это не означает, что человечество, избрав духовный путь, полностью избавится от конфликтов. Увы, противоречия заложены в природе самого человека, но их количество в сотни раз сократится, и они будут происходить на цивилизованном уровне, не угрожающем основам самой жизни на Земле.

Прекрасно сознаю, что все, о чем говорил, легко декларировать, но невероятно трудно исполнить. Разумеется, на пути духовной эволюции цивилизацию ожидают очень большие сложности, и потребуются многие десятки лет, чтобы пройти его. Однако представляется, что у человечества нет иного выхода, иначе видения Иоанна Богослова на Патмосе неизбежно претворятся в явь в не столь уж и отдаленном будущем. И для предсказания этого не надо быть Нострадамусом.

Ольга Лебёдушкина

Петросян, которую «не ждали»

«Дом, в котором...» как «итоговый текст» десятилетия

Литературные мечтания и литературные ожидания

Подведение итогов десятилетия понемногу перестает быть любимым жанром критики. К середине года все подустали, да, в общем, пора бы и честь знать: давно уже отданы все долги XIX веку с его годовыми обзорами, взглядами на русскую литературу со смерти Пушкина и очерками гоголевского периода. Как бы ни хотелось, с умным видом классифицировать, итожить, ловить тенденции и «веяния» становится все тяжелее. Чем стройнее очередная концепция и очередное «видение ситуации», тем больше шансов у наблюдателя не разглядеть что-нибудь действительно важное и живое. Это и есть, наверное, главная тенденция.

И все же на единственный соблазн хочется поддаться — попробовать выделить не столько «книгу (или роман) десятилетия», сколько своего рода «итоговый текст».

В конце концов, не критика объясняет литературе, какой ей быть, а литература всегда делает ход первой.

Я вовсе не хочу сказать, что «Дом, в котором...» Мариам Петросян — лучшая книга десятилетия, что она стоит на самом вершине топ-листа по очередной версии, хотя роман безусловно хорош. Речь о другом.

То, что это — случай особый, стало понятно, когда еще в виде рукописи роман оказался в списке финалистов премии «Большая книга». Затем, не победив в официальном голосовании, стал одним из лидеров голосования читательского. Кроме всего прочего, многочисленные читатели и поклонники появились у Мариам, когда «бумажной» книги еще не было, а были только две части рукописи, вывешенные на сайте «Большой книги» в интернете. Редкий случай — с читателями согласились и критики, начиная с Андрея Немзера и Ксении Рождественской и заканчивая пристрастным писательским анализом Дмитрия Быкова и Марии Галиной. И, наконец, — «Русская премия», победа в номинации «Большая проза».

При всей нынешней не от хорошей жизни снисходительности к новым именам случай — редкий для всякого дебюта. И еще более редкий потому, что ни в каких льготах и квотах для прозы такого уровня необходимости не было.

«Дом, в котором...» возник как будто из некоей реальности, параллельной всему, что можно было бы назвать отечественным литературным процессом, т.е. литературой, условно говоря, «большой земли». В российскую литературную жизнь Петросян не была вписана никак. Она просто более десяти лет работала над своим романом. Так совпало, что это время оказалось первым десятилетием века. Это если говорить о времени.

Если же — о месте, то мы ведем разговор о романе, написанном армянкой, выросшей в двуязычной среде, живущей в Ереване, по ту сторону «зазора», как однажды на страницах «Дружбы народов» обозначил сегодняшнее состояние культурных связей между Россией и Арменией Григорий Кубатьян.

Это вроде бы и так понятно: писать по-русски, живя в не таком уж и ближнем зарубежье, — нечто совершенно иное, нежели писать по-русски где-нибудь даже в Кинешме или Урюпинске, да хоть и на Камчатке, откуда тебя все равно рано или

поздно стопроцентно выловят ласковой мелкой сеточкой, и если «Дебют» не дадут, то в Липки позовут точно. Пока Петросян писала свою «большую книгу», она не успела попасть в «двадцатилетние» и «тридцатилетние» сразу двух волн, опоздала к раздаче имен и репутаций. Потрясение, о котором часто говорили члены премиального жюри и критики, было связано прежде всего с ее «внесистемностью» на фоне сложившейся и уже почти бесперебойно функционирующей системы. Роман Петросян стал для русской словесности «сюрпризом», как абсолютно точно выразился секретарь «Большой книги» Михаил Бутов. Т.е. от литературы последнего времени ждали чего угодно, но только не «Дома, в котором...».

Вот в этом «не ждали», думается, и состоит главный интерес. Не зачисленная ни в какие столичные тусовки и группировки, никому не известная писательница стала реальным воплощением вечной историко-литературной утопии — подтверждением автономности литературы, противопоставленной в той или иной степени «управляемым» моделям литературной ситуации, будь то навязанный сверху соцреализм, или заботливо выращенный в инкубаторе реализм «новый», или коммерческий культ бестселлера.

Каким бы циником ни выставлял себя среднестатистический литературный критик, сколько бы ни упражнялся в своем всезнании относительно того, что от кого и когда ждать, в глубине души почти каждый верит — все равно в этот самый момент «где-нибудь» «кто-нибудь» пишет, прошу прощения за сантименты, книгу его мечты. Думается, для многих книга Петросян стала именно такой победой литературы над литературной политикой — воплощением сознательных и бессознательных «литературных мечтаний» о том, чего в доступном варианте текущей словесности нет, но очень хочется, чтобы было.

Чистота эксперимента в случае с «Домом, в котором...» в этом смысле кажется едва ли не абсолютной. «Необычно» и «неожиданно» — слова, которые чаще всего приходится читать или слышать о романе. И, тем не менее, рискнем предположить: «Дом, в котором...» — вовсе не вызов отечественным литературным ожиданиям последнего десятилетия, а, наоборот, их закономерное отражение и переосмысление на более высоком и сложном уровне, и если присмотреться, выявятся и контекст, и среда, и влияния. В общем, те самые «тенденции» — куда же без них...

«Другая русская литература»

Каждый, кто читал роман Петросян, согласится с тем, что язык «Дома, в котором...» — отдельное удовольствие. И в том отношении, что это просто великолепный русский язык, чем отечественная проза нас в последнее время редко балует. И во всем, что принято называть словом «стиль».

В то же время в книге не просто нет признаков какого бы то ни было национального колорита, которого принято ждать от русскоязычных авторов из бывших советских республик. Это уже большинство критиков отметили с самого начала: мир «Дома, в котором...» абсолютно вненационален.

Мы не знаем, в какой стране, на окраине какого города стоит Дом, в переводе с какого языка клички-имена героев означают Слепой, Кузнечик, Курильщик, Лорд, Красавица, Ведьма, Волк, Рыжая... Редкие имена собственные здесь тоже интернациональны и вненациональны. Один из воспитателей Дома носит имя Ральф. В эпилоге, наконец, мы узнаем, что Курильщика зовут Эрик Циммерман. То есть у обоих есть шанс оказаться и немцами, и швейцарцами, и англичанами, и вообще перед нами своего рода унифицированные «евроимена». А место действия можно условно определить как «где-то в Европе». Прием — типичный и для фантастики, и для притчи, но жанр здесь — отдельная тема для разговора.

Комплекс эпиграфов, скрытых и явных цитат книги отсылает, скорее, к англоязычной традиции — Киплинг, Кэрролл, Сэлинджер, Кен Кизи, Голдинг, Ричард Бах, — которая тоже представляет собой универсальный международный набор молодежного чтения.

Тема национальности, кажется, вообще не волнует автора. Петросян говорит о

том, что касается всех, миную национальное в целом. Тем самым жительнице Еревана Мариам Петросян удалось то, с чем катастрофически плохо в современной русской литературе. В своей первой и единственной книге она создала своего рода транскультурный вариант литературы, предполагающий некую главную человеческую проблематику, которая существует поверх барьеров, «зазоров» и бездн. Неудивительно, если в ближайшее время появятся переводы на другие языки — переводить Петросян будет легко. И именно в ее конкретном случае это хорошо.

В таком контексте и упомянутая проблема «зазора» начинает восприниматься по-другому. При всех понятных трудностях внелитературного свойства существования русской литературы как литературы диаспоры демонстрирует иные возможности ее развития и иные возможности существования языка. Именно это объединяет космополитическое письмо Мариам Петросян с прозой таких не похожих на нее и друг на друга авторов, как Лена Элтанг и Сухбат Афлатуни. Намеренно привожу эти имена, поскольку они наиболее ярко демонстрируют другие «иные возможности». Русские романы Элтанг — истории как бы из европейской жизни, где местом действия может быть едва ли не половина Шенгенской зоны, как в «Побеге куманики», или Британия «Каменных кленов», хотя реальное пространство здесь — всего лишь условность, а абсолютной подлинностью обладает только язык. Русская проза Сухбата Афлатуни превращает Ташкент — родной город автора — в мифологическое пространство, где сплетаются древние корни Запада и Востока, поэтому, когда в новом романе Афлатуни обращается к исторической теме, он все равно возвращает-ся в свою мистическую Азию.

Наверное, упоминание о том, что оба писателя — лауреаты известных литературных премий, в нашем контексте и не сыграло бы особой роли, но «Русская премия» Афлатуни и Петросян и «Новая словесность» Лены Элтанг образуют контуры очень интересного сюжета, который вряд ли исчерпывается премиальными темами.

Так получается, что в последнее время поиски новой художественности в русской литературе все активнее прирастают за счет писателей, живущих по ту сторону границ РФ, в том числе в странах — бывших республиках СССР. Что касается происхождения внутри границ, на той самой «большой земле» или в бывшей так называемой «метрополии», то не покидает ощущение, что здесь русская словесность резко свернула эту программу, как американцы — исследования Луны. То есть можно, конечно, назвать десятку признанных мастеров, которые уже что-то для себя нашли и прекрасно пишут на достигнутом уровне. Еще столько же из пришедших в литературу в последние 10—15 лет наберется тех, кто, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, находится в поиске, и это будут далеко не самые известные имена. Наиболее признанным здесь окажется, пожалуй, Александр Иличевский, который тоже по происхождению и культурной генетике — «человек диаспоры», и его последний по времени роман «Перс» это лишний раз доказывает. Но в общем и целом подавляющее большинство отечественных писателей всех возрастов сделали раз и навсегда ставку на остро социальный материал или бойкую беллетризованную биографию, четко зная, что сейчас «катит» именно это. А что касается новых художественных форм — тут особо никто ничего не ищет, считается, что старого хватает.

В этом смысле «блуждающая русская литература» дает фору той, которая находится внутри рубежей, и это уже невозможно не замечать. По крайней мере, когда задумываешься, есть ли что вообще сказать миру на нашем языке — помимо, разумеется, вечной песни о том, что «Россия гибнет» и «как страшно (вариант — скучно) жить», — на память приходят те самые два десятка безнадежно отставших от моды искателей плюс — вышеупомянутая «альтернативная» словесность, другая русская литература, существующая на постсоветском пространстве.

Вот Мариам Петросян — тоже из тех, кому точно есть что сказать.

Герои, которые не хотят расставаться с детством

То, что герой-ребенок и герой-подросток за минувшее десятилетие стал одним из главных в современной прозе, критикой отмечалось многократно.

С одной стороны, так сказывается общее для отечественной культурной ситуации в целом внимание к детству и отрочеству как определенным экзистенциальным

темам, что проявилось еще в конце 1990-х и продолжается и поныне. «Хмурые мальчишки» Олега Павлова из автобиографической прозы начала 2000-х годов теперь перекочевали в его новый роман «Асистолия». Ганимеда из «Похорон кузнечика» Николая Кононова сейчас вспоминают редко, что совершенно несправедливо, потому что этот яркий роман во многом стал первопроходческим. Зато детство как переживание и самоощущение стало одной из постоянных тем антологий короткой прозы ФРАМ, ежегодно объединяющих под своей обложкой Линор Горалик, Феликса Максимова, Сергея Малицкого и еще многих других. То, что почти в каждой новой книжке, составленной Максом Фраем, четверть, если не треть рассказов будет о детстве и детях, уже стало традицией и «визитной карточкой» антологий. Кстати, именно здесь легче всего обнаружить продолжение той линии, которую наметил Кононов в «Похоронах кузнечика»: детство как переживание на пределе возможного жизни, смерти, любви, счастья, как время абсолютной близости к предельным точкам бытия интересует авторов очень разных, абсолютно не схожих друг с другом по взглядам и манере письма. Другой полюс того же рода литературы — детство, мучительно переживаемое как персональный ад, созданный взрослыми. Не случайно «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева продолжает бить рекорды продаж до и после экранизации.

С другой стороны — за какие-то 10—15 лет прокатилось сразу несколько «волн» прозы «двадцатилетних», пишущих о подростках и молодежи — т.е. о себе и своих сверстниках, — начиная с Захара Прилепина и Сергея Шаргунова и заканчивая Сергеем Чередниченко, Максимом Свириденковым, Алексеем Лукьяновым, Егором Молдановым. Эта проза по большей части развернулась от экзистенциального к социальному, но кое-где не утратила психологической достоверности как фотографически точное изображение «с натуры».

Так что подростки Петросян пришли в русскую словесность вовсе не случайно и не на пустое место, а оказались в очень густонаселенном пространстве. Кстати, «подростковость» и книги, и героев в определенной степени оказалась преувеличенной. Может быть, определение целевой аудитории («для среднего и старшего возраста») стало своего рода попыткой издательства LiveBook, специализирующегося на литературе, которую в хорошем смысле можно обозначить как «неформат», привлечь дополнительного читателя, хотя книга-то явно не имеет отношения к детской литературе. Правда, этот читатель (подразумевалось, что — юный) нашел книгу и нашел бы ее в любом случае сам по себе (о том почему — поговорим чуть позже). Да и сами герои в неретроспективных частях книги и тем более в эпилоге — скорее, не дети, а юноши и девушки, молодые люди.

И все же «Дом, в котором...» — в первую очередь, конечно, роман о детстве и отрочестве, о травме и страхе взросления. Сама Мариам Петросян говорит о своей главной теме так: «у моих героев тот же комплекс, который есть и у меня, — они не хотят расставаться со своим детством. Собственно, вся книга про это. Не совсем, конечно, но, по большей части, их страх перед «наружностью» — это страх вырасти».

Этот страх возникает тоже не просто так. Он становится оправданным и закономерным ответом на возможность не прожить и не пережить в полной мере то, что дается и так ненадолго, — особую интенсивность сознания и чувства. Не случайно герои «Дома, в котором...» по-человечески очень значительны именно в том состоянии, в котором пребывают. Скидок на возраст им не требуется. Границы юности некоторые из них так и не перешагнут, но это не значит, что они не успеют состояться. Замкнутость героев в стенах Дома, их вынужденная отрешенность от обыденных забот «наружности» освобождает им больше времени для того, чтобы жить фантастически прекрасной, опасной и наполненной жизнью. Это — одна из главных причин не воспринимать роман как повествование о детях-инвалидах и даже как историю преодоления. Преодолевать жителям Дома нечего: если нет рук — они открывают дверь, точным ударом ноги опуская дверную ручку, если слепы — способны видеть мир и его предметы внутренним зрением, если ограничены в движениях — совершают мистические путешествия на ту сторону бытия. Их несбыточные мечты стать «целыми» — скорее, дань древнему подростковому страху перед инициацией и одновременно желание ее. Физическая ущербность, увечья и болезнь превращаются здесь в мета-

фору вечной недостаточности отрочества, юности как недовольной собой «недо-взрослости». Нормальное подростковое самоощущение, в котором комплекс неполноценности («я — урод!») граничит с нарциссизмом, имеет к душевному строению героев Петросян гораздо большее отношение, нежели знаменитая книга Гальего, которую многие уже поспешили записать едва ли не в первоисточники «Дома, в котором...»

Если речь скорее уж не об источниках, а о предшественниках, то здесь стоит снова вспомнить героя Николая Кононова с его эстетическим (и потому — совершенно подростковым) отношением к миру по принципу «брезгую — не брезгую», «люблю — не люблю».

Достаточно привести страничку из дневника Табаки, одного из самых глубоких в романе и, по признанию Мариам Петросян, самого близкого автору персонажа:

«Я не люблю истории. Я люблю мгновения. Люблю ночь больше утра, луну больше солнца, а здесь и сейчас больше любого где-то и потом. Еще люблю птиц, грибы, блюзы, павлиньи перья, черных кошек, синеглазых людей, геральдику, астрологию, кровавые детективы и древние эпосы, где отрубленные головы годами пируют и ведут беседы с друзьями. Люблю вкусно поесть и выпить, люблю посидеть в горячей ванне и поваляться в снегу, люблю носить на себе все, что имею, и иметь под рукой все необходимое. Люблю скорость и боль в животе от испуга, когда разгоняешься так, что уже не можешь остановиться. Люблю пугать и пугаться, смешить и озадачивать. Люблю писать на стенах так, чтобы непонятно было, кто это написал, и рисовать так, чтобы никто не догадался, что нарисовано. Люблю писать на стенах со стремянки и без нее, баллончиком и выжимая краску прямо из тюбика. Люблю пользоваться малярной кистью, губкой и пальцем. Люблю сначала нарисовать контур, а потом целиком его заполнить, не оставив пробелов. Люблю, чтобы буквы были размером с меня, но и совсем мелкие тоже люблю. Люблю направлять читающих стрелками туда и сюда, в другие места, где я тоже что-нибудь написал, люблю путать следы и расставлять фальшивые знаки. Люблю гадать на рунах, на костях, на бобах, на чечевице и по "Книге Перемен". В фильмах и в книгах люблю жаркие страны, а в жизни — дождь и ветер. Дождь я вообще люблю больше всего. И весенний, и летний, и осенний. Любой и всегда. Люблю по сто раз перечитывать прочитанное. Люблю звуки гармошки, когда играю я сам. Люблю, когда много карманов, когда одежда такая заносенная, что кажется собственной кожей, а не чем-то, что можно снять. Люблю защитные обереги, такие, чтобы каждый на что-то отдельное, а не сборники на все случаи жизни. Люблю сушить крапиву и чеснок, а потом пихать их во что попало. Люблю намазать ладони эмульсией, а потом прилюдно ее оттирать. Люблю солнечные очки. Маски, зонтики, старинную мебель в завитушках, медные тазы, клетчатые скатерти, скорлупу от грецких орехов, сами орехи, плетеные стулья, старые открытки, граммофоны, бисерные украшения, морды трицератторов, желтые одуванчики с оранжевой серединкой, подтаявших снеговиков, уронивших носы-морковки, потайные ходы, схемы эвакуации из здания при пожарной тревоге; люблю, нервничая, сидеть в очереди во врачебный кабинет, люблю иногда завопить так, чтоб всем стало плохо, люблю во сне закинуть на кого-нибудь, лежащего рядом, руку или ногу, люблю расчесывать комариные укусы и предсказывать погоду, хранить мелкие предметы за ушами, получать письма, раскладывать пасьянсы, курить чужие сигареты, копаться в старых бумагах и фотографиях, люблю найти что-то, что потерял так давно, что уже забыл, зачем оно было нужно, люблю быть горячо любимым и последней надеждой окружающих, люблю свои руки — они красивые, люблю ехать куда-нибудь в темноте с фонариком, люблю превращать одно в другое, что-то к чему-то приклеивать и подсоединять, а потом удивляться, что оно работает. Люблю готовить несъедобное и съедобное, смешивать разные напитки, вкусы и запахи, люблю лечить друзей от икоты испугом. Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно.

А не люблю я часы.

Любые.

По причинам, которые утомительно перечислять. Поэтому я этого делать не буду».

Это восторженное, взхлеб сотворение детского (или подросткового) мира в

одной-единственной «записке у изголовья» отчасти приоткрывает механизмы счастья, которые приводят в движение барочную махину почти тысячестраничного повествования, внешне мрачноватого и тревожного. «Я слишком много всего люблю, перечислять можно бесконечно» — наверное, одна из максимально точных формул детства, с которым не хочется расставаться.

Я на ёлке рос, меня ветер снес...

Но в романе Петросян есть еще одно измерение детства и отрочества, куда менее воодушевляющее. Само собой сложилось, что сразу четыре значительных литературных события минувшего года оказались объединены темой сиротства и казенных домов для ничейных детей. Кроме «Дома, в котором...», прошлый год принес «Крещенных крестами» Эдуарда Кочергина и «Трудное детство» Егора Молданова.

Сговориться авторам было очень трудно.

Если Мариам Петросян, художница и в прошлом — мультипликатор, живет в Ереване, то главный художник БДТ и один из малоизвестных, но признанных знатоками классиков современной прозы (теперь, правда, лауреат «Нацбеста», что автоматически должно принести известность большую) Эдуард Кочергин — петербуржец. Благодаря Егору Молданову, получившему «Дебют» за «Мужество в литературе», читатели узнали, что есть такое место в России — поселок Хорогочи Амурской области. Понятно, что Петербург, Ереван и Тындинский район — это не просто местоположение в пространстве. В нашем случае это вообще разные пространства. Как и то, что 70 лет, 40 и теперь уже навсегда 22 года трагически короткой жизни Егора Молданова — не просто разные измерения возраста. При нынешнем состоянии общества это, скорее, не вехи принадлежности к поколению, а параллельные времена.

И, тем не менее, в русскую словесность герои этих писателей пришли одновременно. Увечные подростки Мариам Петросян — вот здесь важно, что все они — «колясники» и полукоматозники, безногие, безрукие — искореженные обитатели Дома, от которых собственного спокойствия ради отказались родители. При живых родителях «госовские», то есть государственные, казенные жители приюта под названием «Ключка» — это у Молданова, тоже изувеченные жизнью в прямом и переносном смысле. Они же — «пацаны, шкеты, козявы и колупы — "дэпэпэшники"», малолетние отпрыски «врагов народа», население сталинских детприемников, как у Кочергина. В общем, все, о ком написал неведомый гений сиротского фольклора, вынесенный в эпиграф «Крещенных крестами»:

Я не мамкин сын,
Я не тяткин сын,
Я на ёлке рос,
Меня ветер снес.

И даже вышедший в прошлом году русский перевод «Условно пригодных» Питера Хега как будто вписался в некую отечественную парадигму: место действия — еще одно «кукушино гнездо», частная школа для трудновоспитуемых, полуприют, полуприютное заведение, в котором проводится тайный эксперимент по превращению «условно пригодных» членов общества в «безусловно пригодных». Все остальное тоже узнаваемо — авторитарные воспитатели, одиночество и страх. Узнаваемы и герои — подросток-сирота с диагнозом «отставание в развитии», юная психопатка, мать которой покончила с собой, и малолетний убийца собственных родителей.

Совершенно неважно, когда и где что происходит: при Сталине, при Путине — Медведеве, в ирреальном пространстве-времени Дома, в Норвегии начала 1970-х. Мироощущение брошенного ребенка остается некой постоянной величиной отечественной реальности.

Мотив сиротства и раньше присутствовал в современной прозе как символ культурного разрыва, отсутствия культурной преемственности. Несколько лет назад

это наиболее четко выразил Захар Прилепин словами героя романа «Санькя»: «Мы — безотцовщина в поисках того, чему мы нужны как сыновья».

Герой-ребенок-сирота (ребенок, от которого отказались родители, сдав его в «дом, в котором...») — еще и постоянный герой прозы Алексея Лукьянова («И вот решил я убежать ...», «Жесткокрылый насекомый»), заявившего о себе несколькими годами позже. Рассудительный не по-детски Элэм из рассказа «И вот решил я убежать» и его друзья из детприемника, среди которых есть и сиамские близнецы (все, как у Петросян), очень легко прижились бы в «Доме, в котором...»

А если мы вернемся к новейшим текстам, то нить, соединяющая внешне несоединимое, все же была протянута: одна из первых и, на мой взгляд, лучших рецензий на роман Петросян принадлежит именно Егору Молданову¹.

То, что бывший детдомовец, написавший если не полностью автобиографическую, так, по крайней мере, претендующую на роль реалистической историю, опознал «Дом, в котором...» как «свое», очень симптоматично. Практически все рецензенты единодушно отмечают, что Дом Петросян — отнюдь не реальный специнтернат, и реальность подобных заведений куда как жестче и вовсе не обладает той зловещей, но чарующей таинственностью, которая присуща Дому. Тем не менее «Ключка» из «Трудного детства» чем-то его напоминает. Наверное, в первую очередь особой атмосферой чудесного, которую способно создать одинокое детское воображение, даже если это чудесное имеет явно злую природу. Кроме того, в обоих случаях описывается мир детей, сиротство которых является постоянной величиной их жизни. Это еще одна детская мечта и одновременно один из главных детских страхов. Немногочисленным взрослым вход на детскую территорию не то чтобы совсем воспрещен, но значительно ограничен. «Хорошие» взрослые в конечном счете оказываются бессильны помочь тем, кто в беде, или не успевают спасти, будь то Лось или Ральф из «Дома, в котором...», Большой Лелик или Железная Марго из «Трудного детства».

По большому счету, и мир Дома, и мир «Ключки» — это мир детей, отказавшихся от взрослых, которые отказались от них. Сиротство в его новой разновидности — не следствие утраты, а результат отказа, как происходит с Лордом или Кузнечиком-Сфинксом у Петросян, или «разусыновления», как в «Трудном детстве». Сам по себе этот последний сюжет выдает в авторе кого угодно, но не реалиста. Уже процедура «разусыновления» приемного ребенка выглядит чрезвычайно наивно, и в жизни так дела не делаются, достаточно спросить любого работника опеки. Но в этом и состоит художественная сила — детское, архетипическое, темное пробивается в этой истории на поверхность. Типичный детский страх «мои родители — на самом деле не мои» умножается на предательство: «усыновители» отказываются от ребенка просто потому, что он не оправдал их надежд. В этом отношении герои Молданова и Петросян сближаются еще больше: и тех, и других предал взрослый мир, и они обустроились в своем: и те, и другие не хотят в «наружность», оставаясь кто за серыми стенами Дома, кто — за тюремной стеной. Им некуда хотеть и не к кому возвращаться. Молдановскому герою от этого еще больно, героям Петросян — уже нет. Тот, кого забирали в предательский мир взрослых, будет во что бы то ни стало стремиться назад, как Лорд из «Дома, в котором...»

Здесь главное отличие обеих историй от невыдуманных «записок на коленках» Эдуарда Кочергина. У него рассказана история прямо противоположная — тоже о сиротах при живых родителях, но это история «бегов». Собственно, вся книга Кочергина — один невероятный рассказ о совсем крохотном ребенке, только-только вылупившемся из «козьяной палаты», гулаговских яслей, он бежит через всю страну в родной Питер, к матке Броне, у которой его отняли и которую отняли у него. Собственно, «Крещенные крестами» — это эпос возвращения к матери, воссоединения с домом, родом, крестным и тетками, родным языком.

Поразительно, что ни у Петросян, ни у Молданова никто не бежит. Ходят и возвращаются. Потому что некуда бежать.

¹ Егор Молданов. Парадоксы «Дома, в котором...»//http://livebooks.ru/goods/dom_v_kotorom/dom_arist/

Детство сверхчеловечества

Эту загадку «Дома, в котором...» по-своему разгадывает Дмитрий Быков, увидевший за серыми стенами Дома заповедник для сверхлюдей. Зачем стремиться в наружность, если ты и так «юберменьш» и можешь если не управлять телепрограммой, то — превращаться в дракона или, не покидая коляски, перемещаться на иную сторону бытия. Аналогия с «самоварами» Михаила Веллера оказалась странной, но не совсем безосновательной.

Просто тогда уж стоило рассматривать контекст гораздо шире: мода на «преодоление человеческого в человеке» в современной словесности гораздо шире, и на протяжении всего десятилетия кого мы только не насмотрелись: ангелов, демонов, вампиров, оборотней, светоносных существ. И все с тем же требованием преодоления человеческого.

«Иногда сверхчеловеком становится тот, кто все потерял, иногда тот, кто все отдал (но никогда не тот, у кого все отняли). Иногда сверхчеловеком становится гений, а иногда бездарь, осознавшая себя бездарью. Сверхчеловеком можно стать от любви, а можно — от отвращения», — пишет Быков¹.

Все-таки, думается, отвращение здесь ни при чем.

Тема пост- и сверхчеловека возникает в связи с романом Мариам Петросян неизбежно, но все же контекст здесь иной. Скорее, «масскультовый».

Начнем с того, что главный ребенок-подросток-сирота-помеченный увечьем (шрамом на лбу), он же — сверхчеловек массовой литературы (да и киноиндустрии «нулевых») — это, конечно, Гарри Поттер.

Главный «Дом, в котором...» — Хогвартс.

Другое очевидное влияние — аниме-культуры — в первую очередь подсказывает особая образность «Дома, в котором...». Многие персонажи Мариам Петросян были сначала нарисованы автором и только потом стали частью текста. Сам принцип создания образа в романе — скорее, визуальный, идущий от одной или нескольких броских деталей, выделяющегося цветового пятна: Ведьма — шляпка и рот, Курильщик — красные кроссовки, первое явление Табаки — три цветные жилетки и три майки, свисающие одна из-под другой, плюс оранжевая чалма. Особую роль играют глаза и цвет глаз. Все это — типично анимационные приемы, что совершенно неудивительно в случае с Мариам Петросян, проработавшей несколько лет сначала на «Союзмультфильме», потом — на студии «Арменфильм». Графика Петросян-художницы также отчасти несет на себе влияние аниме, и в своих интервью Мариам часто признает, что эстетика аниме в романе присутствует. Правда, это присутствие не исчерпывается практической визуальностью ее письма.

Сам сюжет: герои-подростки, обладающие уникальными способностями, — один из наиболее типичных для аниме-культуры: достаточно вспомнить такую классику жанра, как «Сейлор-Мун», «Наруто», «Белый крест», «Хеллсинг» и т.д. Структура повествования в «Доме, в котором...» напоминает анимешную сагу с ее сиквелами, приквелами и ретроспекциями. Интересно, что это тоже своеобразный ответ на еще одно литературное ожидание — всеобщую тоску по большой эпической форме. В обстоятельствах, когда большой русский роман почти приравнялся к интернациональному канону *novel* — 120 страниц в среднем, — Мариам Петросян удалось написать «большую книгу», которой зачитываются. Причем роль поколений в этой новой саге играют выпуски питомцев Дома.

А еще можно вспомнить «людей Икс» (и неоднократно вспоминали!) со всей продукцией студии Marvel — начиная с комиксов и мультсериала и заканчивая кинематографической тетралогией. Тема «икс-менов» действительно проходит где-то очень близко от «Дома, в котором...», особенно в той части, где напуганных и одиноких юных сверхлюдей-мутантов собирает в школе-интернате для особо одаренных профессор Ксавье. Не случайно популярность этого сюжета в современной массовой культуре, и особенно у молодой аудитории, связывают прежде всего с мотивом детского одиночества, понятого как сверхчеловечество.

Эти коды новейшей масскультовой мифологии прекрасно считают юные читатели. Поэтому у Мариам Петросян сразу же появилось значительное количество сетевых фанатов. Кажется, по «Дому, в котором...» уже пишут фанфики. Что еще нужно в наше время для славы...

¹ Дмитрий Быков. Порог, за которым // <http://www.gzt.ru/topnews/culture/-porog-za-kotorym-/291098.html>

Алексей А. Шепелёв

Повесть о грядущем настоящем человеке

*Образ положительного героя и образ будущего
в русских романах «кризисного» 2009 года*

Сейчас много говорят о том, что пресловутый мировой кризис является не только экономическим, но системным, подводящим некую черту под развитием цивилизации. Это может быть началом ломки капитализма: как предлагают участники проекта «Венера» (док. фильм «Zeitgeist: Дополнение»), пришло время отмены монетарной (денежной) системы вообще и перехода к научно-эко-технократической «экономике ресурсов» — или не дай бог предчувствием каких-то глобальных катастроф наподобие живописуемых в кинокартине «2012».

Десятки лет говорят о кризисе в культуре, однако нынешний финансовый кризис, как это ни странно, дал повод заговорить о его благотворном, стимулирующем воздействии на, в частности, литературу.

Впрочем, постфактум много раз отмечалось неоднозначное, в том числе и положительное, влияние на культуру войн, революций и т.п. Но постфактум-то, что называется, рассуждать и анализировать легко. Другое дело, что в нашу сверхскоростную эпоху даже художественная литература и ее критика стараются на все реагировать «в режиме онлайн».

Говорят также о кризисе художественности в современной русской словесности, кризисе института литературной критики. Но нас более интересует два других, тоже уже больше десятка лет обсуждаемых, литературных кризиса: кризис социально-политического романа и отсутствие положительного героя, которые, как отметили критики, в некоторых романах, вышедших в минувшем году, преодолены.

Положительный герой — это такой герой, которому автор как бы завещает будущее: как правило, он намечает вектор дальнейшей судьбы персонажа или конструирует определенный образ будущего уже внутри текста, тем более, если произведение формально относится к жанру научной фантастики, использует его элементы, во многом наследуя традиции «фантастического реализма» Гоголя, Достоевского, Белого.

Алексей А. Шепелёв (р. 1978) — писатель, поэт, лидер группы «Общество Зрелища». Автор романов «Echo» (СПб.: Амфора, 2003; шорт-лист премии «Дебют») и «Maximum Extremum» (М.: Кислород, в печати), а также книги стихов «Novokain Ovo» (Тамбов, 2001) и «Сахар: сладкое стекло» (М.: Русский Гулливер, в печати). Лауреат Международной отметины им. Д. Бурлюка (2003) и премии журнала «Север» «Северная звезда» (2009). Канд. филологич. наук (диссертация о теме нимфолепсии у Набокова как рецепции темы «ставрогинского греха» Достоевского, 2004). Публиковался в альманахах «Черновик» (Нью-Джерси), «Reflection» (Чикаго), «Вавилон», «Футурум», «Дети Ра», «Арион», «Абзац», Журнале ПОэтов, антологиях «Нестолничная литература», «Анатомия ангела», «Братская колыбель», «То самое электричество», «Альманахе Академии Зауми» и др. Живет в г. Бронницы Московской обл.

Этюд 1: Настоящее «Душ Ставрогина» в дырке от бублика

Павел Крусанов. Мертвый язык: Роман. — СПб.: Амфора, 2009.

У нашего мира истек срок годности, и четверо людей, два умных молодых человека и две симпатичных и тоже умных девушки, две пары, решаются на бегство из старого мира в мир новый, новый Эдем. Впрочем, ум тут не главное, главное — всепоглощающее, метафизическое даже чувство непригодности просроченного «бублимира» (реальность иллюзий, дырка от бублика, аллюзия на Пелевина, а заодно автоаллюзия на предыдущий свой роман «Американская дырка») для полноценной жизни. Хотя в начале всей этой цепи — конечно, Маяковский с его бессмертными строчками из «Мистерии-Буфф»: «Одному — бублик, другому — дырка от бублика. Это и есть демократическая республика».

Теперь Крусанов следует еще дальше — за пожеланием автору феерического «Укуса ангела» неизвестного читателя или критика — «Такому бы писателю, таким языком писать бы не об условном пространстве, а о насущной современности!» и, концептуально отталкиваясь от трактата Ги Эрнеста Дебора «Общество зрелища», выстраивает сюжет, весьма напоминающий многое из деятельности Ситуационистского Интернационала, радикальной организации марксистско-анархистского толка, взорвавшей Запад 60-х идей культурной революции. Спустя почти полвека Дебор, идеолог СИ, только упрочивает свою репутацию провидца, становится, насколько это возможно для философа, общеизвестным, актуальным — потому что тотальным становится «общество зрелища». «Зловонная яма бублимира, прикрытая наведенной картинкой, как дерьмо — газетой, бродила и пускала пузыри, наполняя пространство обонятельными галлюцинациями и фантомными миазмами» — цитата взята из самого конца крусановской книги, когда героям не удалось даже путешествие (бегство, дауншифтинг) в глубинку, к природе — «к корням», «в народ» (как говорили раньше, теперь уже можно брать в кавычки!); остается только бегство в зазеркалье.

Но сначала, в первой половине романа, создается боевой отряд для борьбы с «обществом спектакля» — «реальный театр», где актеры не играют, не притворяются, а проживают свои роли. И здесь можно найти соотношения не только с практикой ситуационистов и не с каким-то так и неопубликованным Крусановым-редактором переводным романом про «Макдоналдс», из которого Крусанов-писатель якобы позаимствовал сюжет и тему, а с вещами куда более известными: «Бойцовским клубом» Паланика и его экранизацией и легальным фильмом классика трэш-синемаграфа Дж. Уотерса «Безумный Сесил Б.». Данные кинокартины отличаются внятно донесенной до аудитории (все же довольно большой, поскольку обе ленты вышли в прокат, показывались по ТВ) радикально неконформистской идейной направленностью — прежде всего тем, что хотя бы во время просмотра, оказавшись в экранном времени, ты отождествляешь себя с анархо-героическими персонажами, ведешь бескомпромиссную революционную борьбу с миром обыденности и масскульта. Иллюзия — да, но ведь многое начинается именно с иллюзий... Уместно напомнить, что основой для фильма о безумном режиссере, снимающем реальное кино, послужила реальная история Патти Херст, актрисы, дочери медиамагната, похищенной левой террористической группировкой А. С. О., в результате чего она отреклась от судьбы Пэрис Хилтон, «от родителей и всего буржуазного мира» и сама стала грабить банки, чтоб помочь нуждающимся, а после второго названного фильма даже в России стали создаваться подпольные фанклубы. Поэтому Крусанова надо не упрекать, а благодарить, что такой контркультурный боевик создал на русской почве, на русском языке — который у него, безусловно, живет всех живых — именно он.

Как и его герои, весь свой писательский талант и остроумие автор бросает на борьбу с «Матрицей». Одного главного героя зовут Тарарам (инфернальный отзвук романа «Бом-бом», а если прочитать наоборот, то почти Марат, ну и, конечно, «Хелтер-Скелтер» безумных 60-х или «Ранчо Апокалипсис» «поумневших» 80—90-х), другого — Егор, словно имя-псевдоним Игоря Летова. Всем мешают жить *м...звоны* —

доброхоты (термины, как положено Крусанову, очень точные, особенно если поставить их рядом!), знающие как жить и учащие оному других. Тошнотворная идеология общества потребления, капитализма (цивильного или дикого — без разницы) уже не только не обсуждается, но и не называется: она априорна, присуща каждому имманентно, если ты оступился, тебя с самыми добрыми побуждениями поправят, остановился — подгонят, упал — затопчут. А суть ее весьма проста — за что *уплочено*, то и хорошо, как говорится, Таков Весь Закон. «Лето во всем своем великолепии пока еще приходит к нам даром, а чуть рванет наука, и привет — лето начнут нам продавать»!

Однако актер реального театра, как того и требуют текст пьесы и правила нового искусства, умирает на сцене, двадцати лет от роду. Это герой, но не главный, а само событие, сам факт подлинной эмпатии открывает дверь в иномирье, которую персонажи (и автор!) громко, но довольно двусмысленно называют «душ Ставрогина». Такой алхимический предмет или топос, исполняющий желания — лампа Аладдина! — имеет явно положительный характер, несмотря на то, что возникает он в черной комнате музея Достоевского, которая именуется в тексте «гробиком» и пресловутой банькой, а Николай Всеволодович, как известно, самый отрицательный персонаж русского классика, главный бес, повесившийся, как Иуда. Еще приходят на ум тоже небезызвестные зона Сталкера и «голубое сало», и в таком контексте удачность экспериментов-трипов крусановских персонажей можно оправдать лишь тем, что все они как на подбор положительно прекрасные люди. И тут уже надо бы вспомнить другой роман ФМ, идеальному герою которого тоже не нашлось места в зарождающемся «бублимире» века XIX.

Вообще, конечно, очевидно, что на протяжении всего повествования Павел Крусанов ведет интертекстуальный диалог именно с этим автором. Только все становится с ног на голову — интересно, осознает ли это сам Крусанов? Так, из пушкинского эпиграфа к роману «Бесы» ясно, что те, кто «кружит», сбивает с пути, «зовет Русь к топору», это и есть бесы, а не образец для подражания. Кроме того, в «Бесах» есть так называемый растворенный в тексте эпиграф: «Ангелу Лаодикийской церкви скажи: Если ты не холоден и не горяч, то изблюю тебя из уст своих» — это как раз выражение трагедии Ставрогина, обладателя мертвого языка, носителя онтологической бездны, которую все мелкие бесы принимают за мессианскую идею спасения. И уж коли начали, то до кучи можно высказать предположение о генезисе термина «душ Ставрогина»: в «Лолите» Гумберт в каком-то мотеле встает под неисправный душ, который «отличался совсем не лаодикийской склонностью» — в этом можно усмотреть скрытую отсылку к персонажу Достоевского, с которым, как известно, Набоков тоже вел интертекстуальный диалог, если не сказать войну.

Автор «Мертвого языка» получил массу упреков критиков в том, что его творение и не роман вовсе, а закамуфлированный манифест, проповедь, дескать, Павел Васильевич не интересуется уже художественной прозой и примеряет на себя роль Николая Гавриловича. Сюжета якобы почти никакого, и все рассыпается. Создается впечатление, что многие рецензенты просто не дочитали книгу до конца. Да и что плохого в том, что «нам предлагают не конструкт ума, а руководство к действию — книгу, которая должна прочитавшего ее перепахать»? Если он, как большинство современников, использует элементы sci-fi, то это в порядке вещей, а если проповеди — то это фи, идеологическая диверсия, «эскейп-роман». Но ведь *роман* же! Романы бывают разные, каждый большой художник развивает, пересоздает жанр. Самое провиденциальное и загадочное творение Достоевского (те же, те же «Бесы»!) долгое время именовали не иначе, как роман-памфлет, да и вообще постоянно упрекали, что все романы ФМ нероманные, диалоги идей, и в каждом диалоге «рожа сочинителя видна»! Гоголь вот тоже насколько был художественный товарищ, а возьми после всех своих свершений да напиши «Выбранные места...» — что поделаешь, зрелость требует идей, изменяющих мир, а не только зрелищ.

Очень своевременной книгой творение Крусанова можно назвать и потому, что он, как не преминули отметить рецензенты и идеологические оппоненты, вложил в уста персонажей, в их вдохновенные монологи и диалоги (этим словом названы три главы книги) речи таких небезызвестных для современного интеллектуала персона-

жей, как Дугин и Секацкий. Действительно, концепция «консервативной революции», «четвертой политической теории», современного почвенничества, в постсоветском идеологическом и культурном пространстве довольно успешно существует и приобретает в последнее время все большее влияние, однако выражением ее являются преимущественно только книги и лекции упомянутых деятелей, что не выходит за рамки довольно академических дисциплин, таких как философия, политология и социология, по сути не имеющих никакого выхода в масс-медиа, чем и обусловлено ограниченное число их реципиентов. Первым и важнейшим этапом на пути массового распространения идеологий в нашей стране исторически является проникновение их в художественную литературу (или даже первичное создание их в ее лоне), которое бывает ознаменовано восходом нового большого художника. Здесь одинаково важны и страстная убежденность, и чисто литературный талант.

Крусанов мастерски выполнил свою миссию — поведал миру о его состоянии на данный момент, попытался дать ответ на вопрос «что делать?» (жить полной жизнью, бороться с обществом потребления и спектакля, создавать произведения, проповеди и файтклабы), но сам он, увы, говорит о мире как о давно прошедшем, умершем, от которого остался только его (мира и/или писателя) текст на мертвом, никому не понятном и ненужном языке. Остается надеяться, что это не только авторская позиция, но и его уловка, скрадывающая высокий пафос (чтоб не прослыть, как антигерои бублимира, доброхотом — ведь формально положительные герои, особенно их лидер, делают то же самое — учат жить!), и что талант и авторитет писателя заставит читателя совершить правильное алхимическое преобразование мертвых букв в живой глагол.

Этюд 2: «Настоящее» *Урок истории — урок выживания*

Максим Кантор. В ту сторону: Роман. — М.: ОГИ, 2009.

В новом романе Максим Кантор, как верно замечено критиками, движется в ту же сторону, что и в предыдущей своей книге «Учебник рисования», и пытается нарисовать такую динамичную картину современности, чтоб было понятно, куда движется она, вся насущная современность, а заодно и вся толкающая оную Европейская история XX столетия. Тоже верно сказано в аннотации: новую книгу Кантора можно назвать «Учебником сопротивления» — но сопротивлением чему? — вот, как нам кажется, тот вопрос, на который автор отвечает своей книгой, для чего пишет роман, а не картину или статью.

Диспозиция здесь, можно сказать, противоположная крусановской. Первые страницы читаются как остроумнейший, написанный просто и ясно, без стилистических вывертов и философских наворотов языком, роман о современном экономическом кризисе — по невнимательности и неосведомленности текст даже можно принять за конъюнктурный! К середине понимаешь, что это историко-политический или, если угодно, историософский триллер, с элементами конспирологии, чтиво для тех, кому открыл дорогу Умберто Эко с «Именем Розы», а закрыл, «разгадав» все детективные и постмодернистские коды, Дэн Браун. Остроумие автора, его ирония, пусть и горькая — кризис ведь, кому сегодня легко! — заставляют не один раз ударять себя по коленке и восклицать «Так и есть!», вспоминать смешные места классики. Смех сквозь слезы, трагедия маленького человека, понимаешь, осознавая сюжет: человек умирает от рака, а за окном больницы тоже бьется в агонии глобального кризиса капиталистический мир. Автор сознательно упрочивает эту аналогию, сразу встает на позицию неумолимой объективности; ты замечаешь, что, как в классике (в «Ромео и Джульетте» или в «Лолите»), с первых строк заявлено, что все главные герои умерли, а рассказ дан «просто так», «в назиданье потомкам». «В любом случае книга очень интересная, познавательная для молодежи, для широкого круга читателей» — вот так можно резюмировать в аннотации или в короткой полупародийной рецензии, и

особой иронии в данном утверждении нет. На самом же деле для такого прозаика, как Максим Кантор, насущный кризис лишь повод высказать свои глубокие размышления об устройстве жизни, о месте в ней *настоящего* человека — не грядущего, но *настоящего, выжившего в жизни*, не в физическом, а в этическом, мировоззренческом смысле.

Сначала действие происходит в онкологическом отделении больницы, где умирает Сергей Ильич Татарников, 58-летний историк, с позиций современного общества (простите, общества потребления) лузер, да и с позиции «да и вообще» тоже неудачник и чудик (в начале текста практически невозможно сразу угадать, что это и есть положительный герой, коего так долго ждала отечественная словесность). У него есть собеседники, тоже безнадёжные, и ситуация напоминает чеховскую «Палату № 6» и в чем-то даже рассказ Шукшина «А поутру они проснулись». Первый — простой рязанский парень Витя, второй — Вова, тоже молодой человек, бывший гинеколог, но из продвинутых, постоянно читающий GQ и либеральные газеты. Разговоры, как заведено на Руси, ведутся о политике, да как и везде теперь, о глобальном кризисе и загадочном Доу Джонсе. Третий — немногословный дедок, который произносит только одну весомую фразу: «Я Берлин брал». Срез общества, диалог поколений.

«— Такие вот лопухи, как ты, дед, корячились, на Рейхстаг лазили, давили фашистов, а потом пришел один лысый деятель — и все коту под хвост. Где он, Берлин, который ты брал? Куда дел? ...

— У меня сестра в Берлине живет, — заметил Вова, — и хорошо живет! По демократическим стандартам живет!.. Вышел на улицу — там тебе и сосиски, и клубника, и мясо свежее, и все копейки стоит!

— Карман шире держи, Вовчик. Вон в газетах что пишут. Накрылись твои сосиски!»

Действительно, системный кризис капитализма (др. греч. — «решение», «поворотный пункт», «суд», «исход», термин в первую очередь используется как раз как медицинский и как экономический) расставляет все по своим местам. Он, в частности, дает слово главному герою, который так и не написал за всю жизнь книгу о подлинной истории Запада и его демократии, делает героя героем. Монологи Татарникова, человека, коему волею судьбы уже нечего терять и ничего не хочется, который при этом, как и автор, едко-печально иронизирует, знает меру и такт, звучат не как чудачества больного и не как кабинетные абстракции, а как объективные научные знания, как последние истины, выстраданные на своей шкуре.

Начинает с простого и всем близкого, например, со «среднего класса», далее экскурс в историю и взгляд в будущее, аналогии напрашиваются сами собой:

«— Надо лишнее отрезать. Скажем, появилось много людей, у которых есть деньги, и они уже не хотят работать. Они не настолько богаты, чтоб богатые их уважали, — но и в прислугу они идти не хотят. Это, допустим, как больной орган в организме. Злокачественная опухоль воспалилась, резать надо. А как менять орган в работающем организме? У тебя в мозгу рак — надо бы тебя на пару часов придушить, мозги тебе отрезать, новые вставить, и все будет в порядке.

— Так ведь я помру, Сергей Ильич.

— Правильно, Витя, помрешь. И богатые так рассуждают. Они говорят: мир все равно помрет, значит, надо начинать войну. Война, Витя, это такая бесполезная операция... После Великой Отечественной была Потсдамская конференция. Знаешь, зачем они собираются, Витя? Всякий раз люди по новой решают, как сделать, чтобы богатые были богатыми».

Невыносимая боль ввергает Татарникова в галлюцинозное откровение: он один в заснеженном поле (метафора нашей страны, летовское «Русское поле экспериментов»), до других не дойти, не докричаться, кругом холод и пустота: фикция, ложь, притворство («символический обмен», «символическая демократия», «демократическая война»; даже дед-сосед, вдруг оказалось, не брал Берлин, а работал в НКВД!), передергивание и перекраивание карт — историй много, учит историк, а надо написать одну — объективную.

Рассказывая незамысловатую и недлинную историю (опять — «историю») умира-

рающих в онкологическом отделении, автор мало-помалу начинает распутывать нити, идущие от этих, в сущности, незначительных, никому не нужных маленьких людей, во внешний мир, к другим персоналиям, более значительным, и еще недавно — что уж точно объективная истина! — более успешным, чем ныне. Отношения между людьми, однако, на поверку оказываются не столько человеческими, сколько экономическими. Коллега Сергея Ильича доцент Панин, «вложивший огромные, по его представлениям, деньги в акции российского нефтяного предприятия», убоявшись краха, позволил архитектору Боброву, тот менеджеру «Росвооружения» Пискунову, тот — генералу Сойке, он — министру финансов, а тот — самому сенатору Губкину. Оказалось: вся пирамида рушится, как картонный домик. Тем более что министр вспомнил, что сам подставил всемогущего экс-бандита сенатора, впарив ему убыточную сделку. «Так же, — подумал он, — хитрый Запад подставил российское правительство с Олимпийскими играми. Да что Олимпиада! С капитализмом как надули: берите, дорогие товарищи, нашу систему — надежная вещь, износу не знает, век будет служить! Удружили, ничего не скажешь».

В доме самого Татарникова, чуть не как Воланд в нехорошей квартире, поселился «добродушный британский юноша», «румяная оксфордширская сарделька» — изучает «варваров», всем своим обликом и поведением излучает демократию, вполне определенную ее модель, и связанное с ней мировоззрение, которое, однако, никак не может *ровно и безболезненно* прижиться на Руси...

Англичанин сожительствует с дочерью историка, но о женитьбе с «дикаркой» не может и помыслить; жена Татарникова не знает, как подступиться к «просвещенному европейцу» с таким «нецивильным» вопросом, остается только создавать вид матдостатка — для этого она нанимает в прислугу «простую рязанскую девушку» Машу, которой платить нечем и у которой ребенок-татарчонок от сгинувшего в столице нелегала. Столкновение «демократий», бедных и богатых, колонизаторов и варваров, неизбежно: в мегаполисе, а может быть, и во всем мире. Вскоре к Маше из Афганистана приезжает брат ее «мужа», чтобы — «так у них принято» — забрать ее «домой». Тощий «чурка» Ахмад — явный антипод румяного англичанина, «варвар», солдат сотню лет не прекращающейся войны, по воле автора, по художественной логике произведения, вызывает симпатию. Реальное столкновение супостатов заканчивается так: «Бассингтон продолжал лежать ничком на лестничной площадке — боль от сломанного носа была такая, что ни думать, ни говорить он не мог. Чтобы позвонить в милицию, надо было хотя бы встать... В полумраке лестничной клетки белел его полный зад». Очередной урок истории?.. А встреча других двух антиподов — «гаранта демократии» со «столпом тоталитаризма» — «зонти и швейной машинки» — почище будет прогулки Иешуа с Пилатом по лунной дорожке!

Еще одна сквозная тема романа — отечественная интеллигенция на переходе ее в интеллектуалы. Тут уж не только герой, но, видно, и сам автор, что называется, отрывается по полной. Античную виллу отгрохал чиновник — трудно в кризис «добиться того, чтобы камень везли не с Урала, где он дешевле, а из Италии, как положено»! «Вы создали образ эпохи! — хвалит архитектора любезный культуролог Кузин. — Если башня Татлина — памятник бесплотной фантазии, то ваше творение воплощает прямо противоположное. Не утопия для масс — а реальность для личности». Железная логика «веры в прогресс»: «Там, где живут отцы города, — там окажутся и культурные люди, можно не сомневаться! Сами придут, прибегут просить подачки, кланяться... — вот так и образуется культурное ядро общества. Возле вилл непременно и искусство обнаружится, там где-нибудь неподалеку и свободная мысль пробьет себе дорогу. Важно знать — с чего начать строить общество».

В конце романа Татарников умирает, как бы в очередной раз, и теперь уж по-настоящему — смерть, как и кризис, расставляет единственно верные акценты, автор настраивает героя (а вместе с ним и читателя) на философский, контрастный существованию героя светлый лад, полностью раскрыв и исчерпав характер и смысл персонажа: он всегда пренебрегал пресловутыми «как все» и «да и вообще», всю жизнь жил один, на симпозиумы и рауты не ходил, не суетился, не искал чинов и богатств, у него есть один ученик и один друг, зато они настоящие. Кантора не зря сравнивают с Толстым, хотя, естественно, имеют в виду не стилистику, а подобаю-

щий большому художнику страстный, даже яростный, кристально ясный гуманизм; и смерть протагониста «В ту сторону» — не толстовская смерть Ивана Ильича, не побег от себя самого отца Сергия, а смерть человека, не потерявшего достоинство ни перед лицом жизни, ни перед лицом смерти, за месяцы болезни осознавшего смысл и того и другого, обретшего обычное, но настоящее, неразменное, человеческое счастье, созданного вдохновением и надеждой автора единственного борца и праведника наших дней.

Этюд 3, обобщающий: Будущее Люди, победившие трын-траву

Андрей Рубанов. Хлорофилия: Роман. — М.: Астрель: АСТ, 2009.

Когда на обложке написано: «Эта книга взорвет ваш мозг!», в очередной раз повторяешь классика: «Гоголи у вас как грибы плодятся!», а потом сразу думаешь, что скорее всего дело идет не о художественных достоинствах текста, а о «несколько другом», и тогда задаешься вопросом: а надо ли его, мозг, «взрывать»?! Как ни странно, «Хлорофилия» — редкостный пример полного соответствия подобным аннотациям, книга, которая, говоря языком тех же аннотаций, будет интересна и эстетам-интеллектуалам, и широкому кругу читателей, читающих, допустим, Акунина, Лукьяненко и «Метро 2033», во многом (и в хорошем смысле) соответствующая канонам турбореализма.

Многoletняя мечта русского народа (да и всего человечества), теперь уже за отсутствием прочей идеологии, мифической «русской идеи» и так уже проросшая чрез массово-бытовое сознание и доросшая чуть не до законодательства (переходная, диффузная форма такой фасциации — «понятия» 1990-х), наглядно воплощена в романе Андрея Рубанова. «Ты никому ничего не должен», — гласит основной постулат (и он же рекламный слоган на трехмерных супербаннерах) нарисованной автором России будущего. И чтобы не работать, ничего не делать, а просто жить в кайф, не задумываясь... Лучше жить, конечно, вы понимаете, в Москве и чтоб, естественно, в том числе и еще пресловутый квартирный вопрос был решен. Или — как разновидность всеобщего виртуального благоденствия — мечта юного «растамана» (коих сейчас действительно миллионы): и чтоб вокруг трава росла — бесплатная и понтовая — в человеческий рост.

Рубанов, прославившийся реалистическими романами на основе личного опыта, теперь создает ироничную антиутопию, по духу совсем русскую (потому что отталкивается от упомянутого выше), однако написанное им будущее читается не как шутливая-с-намеком сказка про Емелю, не как набившая оскомину экзотика или «просто-фантастика», но пугающе реалистично, как будто все это уже *почти наступило*, при дверях — и хочется, дочитав книгу до конца, схватиться за голову... и забаррикадироваться.

Россия — страна большая, уникальная, почти все в ней, в характере людей, чрезмерно. Если набрать в поисковике фразу «Россия занимает первое место в мире», то результаты будут такие: по абсолютной величине убыли населения, по количеству абортов, по количеству самоубийств среди пожилых людей, по числу разводов и детей, рожденных вне брака, по уровню умышленных убийств, по потреблению табака, по продажам крепкого алкоголя, по росту наркомании среди молодежи, по скорости распространения СПИДа, по объему работоторговли, а также по величине национального богатства и богатству депутатов. По данным ООН, Россия занимает первое место в мире по количеству потребляемого героина: в нашей стране потребляется 20% мирового героина, что составляет (за минувший год) около 80(!) тонн. Согласно официальной статистике, от злоупотребления алкоголем ежегодно умирает около полумиллиона человек.

Но все это как бы скрыто, рассеяно и незаметно, прикрито декорацией — которую чуть-чуть отогнул кризис — «стабильности», «успеха» и «гламура», а проще

говоря, всеобщим равнодушием, наплевательством и погоней за наживой: жизнь согласно именно той самой упомянутой рекламной максиме. И в столице, например, все это вообще не так заметно, а если и заметно — что поделаешь: Москва вообще — город контрастов.

И было им по делам их, по мечтам их и желаниям — именно с этого, повторяем, начинает Рубанов. Почти катрены Нострадамуса, только ясные, школьные прописи. С наших пор прошло всего сто лет, и все свершилось: общество материального достатка (а по современным понятиям-устремлениям это и есть «идеальное общество» и «Город-Солнце») построено. И рецепт благоденствия до смешного прост: все, кто мог, переселились в Москву, Восточную Сибирь сдали в аренду китайцам, за счет чего и стало возможным всей стране-гиперполису жить припеваючи. «Золотой век наступил невзначай, легко и изящно — его никто не приближал, все устроилось само собой. К черту нефть, газ, древесину, прочее сырье, продажей которого когда-то пробавлялась страна. К черту русские мозги, русских изобретателей, балерин, писателей, манекенщиц, программистов, хоккеистов и невест. Русские территории — вот главный капитал нации».

Трудолюбивые амбициозные китайцы производят для нас абсолютно все (это, конечно, и сейчас налицо), столичные жители «пожинают плоды», сибаритствуют (а что же: каждый, кто «прошел оцифровку» — дал вживить себе государственно-полицейский чип, сразу получил на счет свою долю и квартиру — в Москве! — в шесть—восемь просторных комнат), работают только те, кого разжигает алчность. Все всем довольны, во всяком случае, никто никому ничего не должен — это уж точно. Победившая шигалевщина.

Проблема только в том, на каком этаже ты живешь: метафора «социальный лифт» развернута романистом в чрезвычайно жесткую и до смеха сквозь слезы наглядную модель социальной стратификации: мегаполис застроен исключительно стоэтажными небоскребами, где на верхушке, на сотых этажах, живут китайские бизнес-бонзы (но это суть совсем уж небожители, русским, даже совсем богатым и влиятельным, путь туда заказан), на 80—90-х — наш истеблишмент, чуть ниже и еще чуть ниже — средний класс и богема, 30—40-е — неприятная граница зон, на 20-х — беднота (хотя и в квартирах), а на нижнем ярусе, в подполье, вообще творится черт знает что, здесь живут «подпольные люди», «бледные люди», кипят подпольные уголовные страсти. Как будто по мановению волшебного пера писателя необъятные просторы страны с ее теперешним укладом — р-раз! — и свернулись, словно игрушка-трансформер, в многоуровневый, наподобие как в фильме «Пятый элемент», мегаполис будущего, где все явлено нам в концентрированном виде.

Еще одна развоплощенная, деконструированная метафора — все тянутся к солнцу, отвоевывают место под ним. Но это, так сказать, небольшие рудименты прошлого, как и поросшая былем, населенная одичавшими племенами остальная территория по-прежнему самой большой в мире страны. Едкая сатира хлещет через край уже с первых страниц романа: в новостях передают: «Завершилась мирная демонстрация сторонников освоения периферийных территорий, собравшиеся — около двадцати человек — потребовали выделения средств и организации исследовательских экспедиций в Тверскую и Ивановскую области... Митинг... продолжался около часа и закончился стихийным банкетом». Прочтя такое, наш современник-соотечественник, конечно, хохотнет вместе с автором: мол, если так дальше все пойдет, не удивлюсь, что к этому и придет! О китайской угрозе сегодня тоже говорит не один только Проханов. Печально, но многие рубановские гиперболы содержат угрозу вдруг стать литотами, практически все реалии романного образа будущего имеют уже свои ростки в настоящем.

Но главное для антиутопического мира (с середины XXI века) не описанное выше, и тем более не «великий кризис десятых годов», а совершенно особая напасть, фундаментально изменившая жизнь Москвороссии: та самая, тоже заявленная на обложке, трава высотой с Останкинскую телебашню. С «феноменом стеблероста» государство и наука справиться не могут. Откуда она взялась и почему именно в Москве, никому не понятно. Для русского читателя варианты разгадки есть в самом названии «трава» (вспомним наши народные присловья: «трын-трава», «хоть трава не расти!» и т.п.), «зелень» (возможно, как воплощение коллективной воли к зарабатыванию больших денег, их фетишизации) и ее необычных свойствах, в коих подспудно можно усмотреть даже намеки на ту же коноплю и зеленого змия: трава, когда

горожане ее употребляют, обладает наркотическим эффектом. Но наркотики и алкоголь, как известно, требуют жестокой расплаты за блаженство, а мякоть стебля, как доказали ученые, абсолютно безвредна, то есть вроде бы и не напасть, а благодать, манна небесная, данная свыше (а вернее снизу, из какой-то непонятной споры-грибницы) в дополнение к и без того счастливому общественному устройству. Однако почему-то не все так радужно, и что-то настораживает. Все равно вспоминаются не футуристические озарения Хлебникова, а привычные Замятин с Оруэллом. А еще некоторые вещи Ф. Дика — совсем близко — «День триффидов» Дж. Уиндема. Во-первых, гигантская трава неэстетична на вид (зловещие «змеиные хвосты», покрытые «глянцевыми чешуйками»), неэстетичен и процесс ее добычи и поглощения. Во-вторых, стебли-колоссы, разрастаясь, заслонили солнце, из-за чего и пришлось строить небоскребы. И наконец, «конченные травоеды», хоть и излучают в основном сплошной позитив, совсем отказываются от креатива — ничего не хотят, а после и не могут делать, упиваясь сытостью (тоже другой эффект травы) и блаженством, постепенно превращаются в кретин, а затем и в буквальном смысле в растения.

По меньшей мере одна из основных причин нашествия гулливеровой травы лежит, можно сказать, на поверхности. Это своего рода кара (а вместе с тем и ирония) Провидения: как не посмеяться с остроумным автором над названиями улиц, носящих имена культурных героев теперь уже прошедшей (нашей) эпохи, «классиков» — Галкина, Петросяна, Дубовицкой, Эрнста. «Была культура великая, но ушла через телевизор, как через унита́з», — вновь очевидная проекция на настоящее, предостережение современникам. Мало того, что в «Третьем Риме» действуют 25 (!) конкурирующих полиций, на средних и верхних этажах преступность практически отсутствует, прогресс цивилизации дошел до гениальной идеи о том, что око «Большого Брата» можно продавать — на средненижних и средних этажах распространилась повальная мода на проект «Соседи», немного более тотальное, если так можно выразиться, реалити-шоу типа нынешних «Дома-2» или — слава богу, уже прошедших! — «Окон». Работать не надо, творить не охота, «Все Включено!»: пожрал мякоти и врубил «Соседей» — таков мир большинства потенциальных вежетаблей развитого «бублимира». Автор недвусмысленно намекает, что интерактивный просмотр телешоу служит, как для многих и в наше время, для удовлетворения потребностей «духовных», желания развлечься, забыться, праздного любопытства, похоти и жажды славы. Причем все эти потребности, как и материальные, тоже успешно удовлетворены: «Давний лозунг Уорхола о том, что каждый имеет пятнадцать минут славы, утратил актуальность... Все желающие давно объелись ею; Герострат давно поджег, что хотел...»

Остался единственный *более-менее человеческий* журнал с внятным названием «Самый-самый». Тут работает протагонист романа Савелий Герц, успешный журналист и в отличие, к примеру, от неконформиста Ромы Тарарама, реализующего девиз «надо работать с молодежью», личность социально пассивная и в общем-то малопримечательная: делает, раз делается, карьеру, верит СМИ, на все случаи жизни имеет отговорку — не особо задумываясь, автоматически повторяет пропагандистские лозунги. Кроме прочего, по всеобщей новой моде литрами глушит статусную для своего уровня байкальскую воду «дабл-премиум-экстра» — чтобы амортизировать действие ежедневно поглощаемой им «девятой возгонки» все той же мякоти стебля, высокий номер концентрированности коей также есть атрибут престижа и превосходства. Герц как персонаж дан в первых частях романа в чисто механическом движении, и только в последней, третьей, части начинается его становление. Катализатором процесса, как и заведено, явились катастрофические события внешней действительности — для москвитян будущего — «конец света»: китайцы, исчерпав ресурсы, засобирались домой, ученые открыли, что мякоть высокой степени очистки (в отличие от низких и сырца — автором будто бы подчеркнут классовый характер расплаты!) вызывает в организме человека необратимые изменения, являясь также причиной рождения «зеленых детей», а его жена как раз ждет ребенка. Лишь буквально в самых последних строках книги он вопреки своему прогрессирующему недугу — хлорофилии — становится по-настоящему человеком, способным к действию и самопожертвованию, то есть положительным героем.

Трудно не согласиться с отмеченной рецензентами изобретательностью Рубанова как писателя-рассказчика («В каждом абзаце — новые выдумки, в каждом предложении — новые смыслы...»), сюжет, сделанный хоть и безо всякого саспиенса

(если не считать таковым понятное всякому русскому чувство: сколько веревочке ни виться...), действительно захватывает, поражает воображение: кредиты запрещены государством, кустарные клоны Сталина, специальные широкие проходы в аэропортах — «чтобы граждане США не застревали при движении», язычники, которые молятся Великому Резиновому Противогазу... Но суть авторского месседжа не в этом, а в социальном и гуманистическом (или, если угодно, антропологическом¹ — в противоположность наступающему миру вегетативных реакций, инволюции) пафосе, к которому автор подводит и персонажей и читателей в финале своей постисторической драмы. Более того, автор — помимо чудесного метаморфозиса главного героя — как бы выводит из тени — избитое выражение, но здесь-то оно как раз и применимо — *целый ряд положительных героев!*

Первый из них, альтернативный писатель Гарри Годунов, — друг детства Савелия Герца, которого вписавшийся в систему журналист аттестует не иначе как литературного гения и безумца. Написав один роман, 20-летний Годунов прославился, затем за-ради написания второго шедевра переселился на самые нижние этажи, где и пропал, и теперь его иногда вспоминает только его друг... В середине книги бунтарь и любитель выпить (как, бравирюя, аттестует он уже себя сам) неожиданно выныривает на поверхность. Герц, ставший редактором журнала, хочет, чтобы Годунов официально поступил в штат. «Секретариат? Заявление? Что за казенный жаргон?! ... Помочь корефану Савелию — это одно... А работать на корефана Савелия — это совсем другое. Ты сказал: «Помоги, Гарри, у меня лучший репортер без вести пропал, я не справляюсь». Вот, старый Гарри и помог...» — вернувшийся «оттуда» Годунов оказывается, может быть, единственным человеком вне системы, причем обеих ее разновидностей: он не работает за деньги, не делает карьеру, а кроме того, не употребляет «стебель» — «завязал пятнадцать лет назад». Практически тот же крусановский Рома Тарарам. Другой анархизирующий субъект — как раз пропавший коллега Герца по работе Гоша Деготь. Это тот же тип, что Татарников у Кантора: в редакции его все сторонятся как чудака и неудачника, даже Савелий Герц тяготится обязательствами перед бывшим товарищем и тоже любителем выпить, от него уходит жена. Только он не умирает, а совершает побег — причем когда еще Система не дала сбоя и все живут в «раю»! — из Москвы на периферию, в колонию для реабилитации «травоедов», становится старшиной волонтеров. Так же загадочно исчезает бывший владелец и редактор журнала — стотрехлетний (а на самом деле ему аж 119 — успехи медицины!) инвалид, персонаж с говорящей фамилией Пушкин-Рыльцев. Герц обескуражен: он привык видеть своего босса не таким — тираном и работоголиком, а в сцене прощанья и сдачи дел старик распивает крепкие напитки с уголовником, произносит неpolitкорректные речи, в его квартире целый музей бесполезных антикварных вещей наподобие книг из настоящей бумаги. Канувший в Лету босс оставляет в подмогу Герцу тихого, но всемогущего мафиози с первых этажей Мусу Чечена, в далеком прошлом вроде бы партизанившего в одном отряде с Пушкиным-Рыльцевым против китайцев — но теперь это легенда, не более. (Вообще Рубанов мастерски представляет хорошо заметную уже сегодня тенденцию восприятия истории массовым сознанием: обыватель живет одним днем, в разговорах упоминаются только события века текущего и ему предшествующего, эволюционная или катастрофичес-

¹ Очевидно, что с самых древних времен человечеству присущ страх перед потерей человеческого облика, расчеловечиванием. (Об этой фобии см. напр., в кн.: Данилин А.Г. LSD. Галлюциногены, психоделия и феномен зависимости. — М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. 521 с.) Однако в новейшее время жупелы средневековья — одержимость, оборотничество, вампиризм и т.п. — мало кого по-настоящему пугают и перешли на службу массовой культуре (кстати, есть голливудские ужастики о нашествии растений-мутантов, но, как правило, это суть вещи довольно буффонные, как, напр., монстр из фильма «Годзилла против Розозавра» или Бушрут, персонаж детского мультсериала «Утиные истории»). А в 90-е гг. XX в. благодаря Интернету получили распространение субкультуры, целью которых является отказ от человеческого образа жизни, от человеческой природы как таковой — *териантропы*, или попытки преодоления в себе «слишком человеческого» — *кибер-готы*, «человекороботы». Териантропия — трансформация человека в животное в мифологии или в качестве спиритического понятия; современные териантропы утверждают, что им не нужно «играть роль» зверя и что у каждого териантропа с рождения сформирован териотип (то, с каким видом животного такой человек себя ассоциирует, напр., элурантропия — от греч. *ailouros*, «кот» или популярная разновидность — *furry*, «пушистые»), и поэтому они не могут менять его на протяжении жизни.

кая смена флоры и фауны, цивилизаций и формаций — это не про нас!). Муса напоминает Ахмада из романа Кантора, его сила и хитрость тоже выражают некий примат первобытного. Кроме того, пресловутый русский недуг — пьянство здесь наделено автором положительными коннотациями — оно маркирует принадлежность героев к старому, *дотравяному*, миру: кто жрет траву, тот не пьет, тот пьет воду. Старик вдруг открывается Герцу, исповедует очень простую философию, единственно спасительную для России или даже для человечества как вида — главное, что отличает гомо сапиенс, — это даже не способность мыслить и чувствовать (при «позитиве» от травы все это действует вхолостую, затухает), а потребность *делать дело*, причем *не ради денег*, в данном случае — *не только ради денег*. (Еще раз вспомним протагониста романа «Мертвый язык» и его а-ля донхуановскую партию — отличие между трактовками разными авторами сходных типажей лишь в том, что герои Крусанова, найдя лаз в иной мир, отвергают возможность действия в мире обычном. Вспомним также, что Ставрогин, живой мертвец, гибнет, согласно интерпретации Бердяева и Соловьева, именно от отсутствия реализации творческой потенции.) Пушкин-Рыльцев, на самом деле человек старой закалки, оказывается перевертышем, носителем маски, и здесь как бы в пику его фамилии читателю надо обратить внимание на его имя-отчество — такое же, как у Салтыкова-Щедрина.

Финальная катастрофа переворачивает мир, обнажает скрытые пружины общества, истинные лица энигматичных влиятельных персон. Герцу открывается то, о чем раньше он лишь смутно догадывался: «нет более наивных неосведомленных существ, чем профессиональные журналисты». И когда он, спасаясь, прибывает в нелегальную колонию, где лечатся от расчеловечивания, то с удивлением узнает, что здесь уже собрались все его знакомые, которые «и в той жизни» — было тоже такое смутное подозрение — чего-то стоили. Даже миллионер Глыбов, у которого Герц однажды брал интервью, тоже здесь, мало того, он этот проект финансирует. «В школе меня учили, — говорит Глыбов, выходец с низших этажей, которому «отец рассказывал про старые времена, когда солнце светило бесплатно», — что настоящее всегда лучше прошлого. Прошлое — это дикость и беззаконие. Мне говорили, что прогресс — это хорошо. А я не понимал, что это за прогресс такой, если сегодня я вынужден платить за то, что вчера доставалось даром?» Почти дословно «консервативная революция» Крусанова! — немудрено, что тогда журналист не понял сомнений Глыбова, посчитав их блажью богатея.

И наконец, колонией управляет однозначно положительный персонаж «добрый доктор Айболит» Смирнов — едва ли не ровесник Михаила Евграфовича, тоже его боевой товарищ, всю жизнь посвятивший самоотверженному служению людям — изучению «феномена стеблероста» и борьбы с ним. В прошлом он создал уникальную школу для умственно отсталых детей и, как нам открывается в конце романа, ему все же удалось доказать успешность этого, казалось бы, полностью безнадежного мероприятия: его подопечные стали полноценными талантливыми людьми, один даже стал премьер-министром! Этот же непопулярный у рационального человека принцип гуманности, веры в человека, он сделал и девизом своей работы в колонии: *все должны спастись, даже самые безнадежно больные!*

Финал трагичен и патетичен. Колонистам требуется расширение территории лагеря, они вступают в переговоры с местными дикарями, но те вероломно убивают всех парламентариев. «Мы землю на повидло не меняем!» — в ответе дикарей звучит, как ни странно, отголосок патриотизма в духе «нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою...», их древний могучий инстинкт гордости противопоставляется в тексте продажности цивилизованного московского племени. Героическая смерть не выпадает только почти полностью оставившему надежду на исцеление Савелию Герцу. Именно тут он решает во что бы то ни стало остаться (быть, стать) человеком, вернуться туда, где он больше нужен людям — в ввергнутую в хаос Москву, где остались Гарри Годунов, взявший на себя вину молодого сотрудника в хранении теперь уже запрещенной мякоти стебля, и взявшая в свои хрупкие женские руки бразды управления редакцией журналистка Варвара. Образ ее — один из самых загадочных в романе: молодая, красивая, умная, успешная и притом терпеливая (если в постмодерновом обществе *нельзя* быть кроткой), ни разу не вкушавшая от «райского плода», имеющая какой-то всем завидный и никому не понятный внутренний стержень — может быть, архетип русской женщины, которая «коня на скаку остановит». Чем не пример для подражания?

Здесь уместно не вполне согласиться с замечанием критиков, один из которых упрекнул романиста в том, что в развязке все пережившие катарсис, ставшие на правильный путь герои говорят прописные истины, патетические банальности, и с замечанием другого, что в тексте налицо некая путаница в персонажах второго плана. Первое, на наш взгляд, можно оправдать тем, что пафос по своей природе традиционен, связан с истиной, почти всегда простой, зачастую горькой, а не с поисками оригинальных форм ее изречения; а второе — тем, что вполне возможно, что автор просто подражает самой жизни: ведь в реальной жизни очень часто трудно определить, кто есть кто и кто кем станет в будущем.

Во всех трех рассмотренных произведениях трагизм событий и авторский приговор миру нейтрализуются брезжащей в финале светлой надеждой. Умиравшему герою Кантора настоящее России видится как бесконечное, темное, холодное снежное поле, где «все сидят по своим норам» фатально далеко друг от друга — в концовке романа Татарников воспринимает смерть как Сократ — как «выздоровление», потому что понял, в какую сторону надо двигаться, отчаяние сменяет надежда, вера в то, что до соседа все же можно докричаться и доползти. Творческая потенция Сергея Ильича, так и не написавшего замышленную книгу, будет реализована *в будущем* — его учеником, аспирантом Антоном. Кроме этого, единственный друг героя, редактор-либерал (более родственник не Пушкину-Рыльцеву, а Герцу или отчасти Гоше Дегтю), когда его скинули с поста, тоже начинает прозревать. Оказывается, что его нравственному перерождению (а вернее, возрождению: как персонаж он нейтрален, своего рода *tabula rasa*, что и подчеркнуто данной ему фамилией — Бланк) мешала только служба — его социальные статус и роль.

Персонажи Крусанова начинают как раз с бунта против ролей и статусов (а не только формального отказа от них, ухода в созерцательность, как у не очень внятного персонажа садулаевского романа «АД» молодого человека по имени Мак), и здесь все понятно: четверка главных действующих лиц, те немногие, кто идет против мира, это и есть положительные герои, а образ будущего — возвращение в Эдем, слияние с его (равно как и со своей собственной) первозданной природой. Возможна правда, как замечено критиками, и другая интерпретация финала: свихнувшийся охранник «черной комнаты» просто зарубил всех четверых, а остальное им «только кажется»¹, — но все равно вся их жизнь — это уже подвиг, как на войне или в революции, а рай, хоть и на краткий миг предсмертной грезы, есть. Вполне допустимо также прочтение «Мертвого языка» как отсылки к ницшеанской позиции «до конца последовательного нигилиста» с его «верой в абсурд»: выхода нет, следовательно, выход есть.

У Рубанова в «Хролофилии» то же самое кредо, в виде некой русской негативно-подсознательной идеи², маячит в монологах героев: «Чем хуже, тем лучше!» Но это не только бравирование и ерничанье, которыми сейчас переполнены и многочисленные персонажи, и даже их авторы, но и возврат к идее Достоевского о спасительном свойстве страдания. Текст Рубанова, что весьма неожиданно для современной словесности, выстреливает целой обоймой положительных персонажей, представляя как бы социальный срез, по которому видно, какие люди, *какие типы* (социально очень дифференцированные: тут и маргиналы, и миллионеры, и интеллигенты, и интеллектуалы, и т.д.) могут быть положительными героями *сегодня и завтра*. Поистине кризис как шанс.

¹ Набоков в «Лекциях по русской литературе» упрекал Достоевского как романиста в чрезмерном обилии «попутных причин», оправдывающих необоснованность некоторых сюжетных ходов автора. Например, чисто идейное преступление Раскольникова оправдывается еще и описанием его «унизительной бедности, не только его собственной, но и горячо любимой сестры и матери, готовности сестры к самопожертвованию, низости и убожества назначенной жертвы». В подобном ключе можно расценить и подстраховку Крусанова совершенным его героями убийством и караулящим у выхода в наш мир охранником с топором — подчеркивается, что «обратной дороги нет».

² Сообщали, что недавно в английском языке официально закреплено употребление нового прилагательного «russian» — в значении, близком к «смурной».

Алла Марченко

Post scriptum

«Когда человек умирает, изменяются его портреты...» Действительно: изменяются. Предание стирает с прижизненного изображения не нужные «народной легенде» случайные черты, и это, как говаривали в старину, «в природе вещей». Однако ж в природе вещей и желание читателей в потомстве восстановить (реконструировать) оригинал. Закономерна вроде бы и еретическая мысль, испокон веку смущающая склонных к разномыслию реставраторов: а что ежели «первоначальный образ», таящийся под «мраморной слизью», «гораздо возвышеннее, досточтимее, религиознее, чем то удивительное окаменение, которое возбуждает интерес наклонной к предрассудкам толпы»? (А.А.Потебня, «Слово и миф»). Некогда, продолжает Потебня, за такие отклонения от общего всем «жгли и истязали». «Теперь с разномыслящими поступают несколько иначе», объявляют «оскорблением науки» — «вместо того, чтобы признать несогласным с их мнением».

Прошло сто лет, от России, «которую мы потеряли», ничего не осталось, а с разномыслящими поступаем по-прежнему. Характерный пример — «Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ»¹. Попытка Ивана Толстого выяснить, чьим попечением был издан русский «Живаго» — западных интеллектуалов или вездесущим ЦРУ, — вызвала бурю благородного негодования. Почему? Да потому, что нападки на описанные Толстым необычайные приключения многострадальной рукописи не более чем благовидный предлог. Истинная же причина возмущения ученых мужей к чистой филологии прямого отношения не имеет. Боюсь, что это тот самый случай, когда, ругая кошку, невестке повестки дают. Обвиняют Толстого в оскорблении науки вместо того, чтобы принародно признать: образ живого Пастернака (а он хочешь не хочешь, а возникает у внимательного читателя) не совпадает с парсунной переделкинско-Святого. Подчеркиваю: науки, а не просто инфицированной «предрассудками толпы» и рафинированных ревнителей околелитературных приличий.

Скажем, такой дерзкий пассаж:

«Издательская история рукописи стала еще одним произведением Пастернака — чем-то вроде пьесы, поставленной режиссером, разлученным со своей труппой, которая, в отсутствии руководителя, начинает играть по собственному усмотрению и разумению — но, сбиваясь местами на импровизацию, не смеет отойти от общего замысла».

Не стану утверждать, что и мои собственные соображения на сей счет стопроцентно идентичны соображениям Толстого. К тому же и предмет исследования у меня другой. Не Пастернак как легенда и как проблема, а затаенные противоречия внутри звездного многогранника (Ахматова—Пастернак—Маяковский—Цветаева—Есенин). Да и написана работа задолго до того, как мне наконец-то удалось заполнить и прочесть «Отмытый роман...» К вопросу, невольно возникающему у думающего читателя, — с какой целью и для чего Пастернак передал «Доктора «за границу, мы шли разными тропками, с разных сторон, да и ответили на него по-разному. И тем не менее оказались практически в одном и том же месте. И вряд ли это случайность. Цель-то была одна: пробившись сквозь легенду, восстановить действительность в ее правах. А проблески истины вспыхивают не только «из внутренних противоречий лжи», но и из столкновения (размена!) мнений.

¹ Толстой И.Н. Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ. — М.: Время, 2009.

Ни одной тайны не узнаешь
без послания в смерть.

Сергей Есенин. «Ключи Марии»

Смерть Есенина возродила, казалось бы, отработавший свое жанр — *стихи на смерть поэта*. И месяца не прошло, а еще не осевший могильный холм на Ваганьковском погребли-засыпали словесным мусором. Мусор по весне канул, а то, что уцелело, «стало достоянием доцентов» и доморощенных коллекционеров.

В статусе литературного факта удержались лишь три отклика. Первые два: восьмистишие Анны Ахматовой «Памяти Сергея Есенина» и хрестоматийное послание Маяковского общеизвестны. Третий — эссе Марины Цветаевой «Эпос и лирика современной России» — в данном списке не числится, несмотря на то, что сказанное здесь о Есенине «томов премногих тяжелей». Впрочем, тяжело нагружено, при кажущейся простоватости, и ахматовское «Памяти Сергея Есенина». Оно тоже своего рода «плуг», который, по слову Мандельштама, «взрывает глубинные слои времени», причем так, что «чернозем оказывается сверху».

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безболно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

В современных изданиях, учитывая последнюю авторскую волю, процитированные строки публикуются как посвященные Есенину. В *Примечаниях* конечно же (указание на *Дневник* П.Н.Лукницкого) оговаривается: дескать, А.А. читала их на Вечере современной поэзии еще при жизни С.Е. 25 февраля 1925 года (в концертном зале ленинградской Академической капеллы). Объясняется, разумеется, и причина неожиданного, постфактум, посвящения, правда, туманно — ссылкой «на слишком раннюю гибель» многих его, Есенина, современников.

На самом деле история переадресовки и сложнее, и проще. Завсегда ям тогдашних Вечеров поэзии не нужно было подсказывать, что стихи Ахматовой не только о расстрелянном Николае Гумилеве да об умершем, согласно медицинскому диагнозу, от тяжелой сердечной болезни Александре Блоке. Продвинутая публика давно догадалась, о каком «хриплом ужасе» Блок втайне думал, говоря о Пушкине: «Его убила не пуля Дантеса, его убил недостаток воздуха». В ряду поэтов, погибающих от «недостатка воздуха», в последнем своем феврале Сергей Есенин не чисился. По Питеру курсировали наисвежайшие слухи о привезенной с Кавказа большой поэме, широко печатались и имели невероятный успех «Персидские мотивы». И все это на фоне неутихающих толков о сногшибательном его романе с Айседорой Дункан, об американских, парижских и берлинских костюмах, галстуках и скандалах.

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой...
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.

Ни в «Англетере», ни в питерском Союзе писателей на гражданской панихиде по Есенину Ахматовой, естественно, не было. А если бы и была, новых черт в давно сложившийся образ-портрет *отошедшего* смерть все равно б не добавила. Вот что записал в *Дневнике* Павел Лукницкий 29 декабря 1925 года:

«Есенин... О нем долго говорили. Анну Андреевну волнует его смерть. «Он страшно жил и страшно умер... Как хрупки эти крестьяне, когда их неудачно коснется цивилизация. Каждый год умирает по поэту... Страшно, когда умирает поэт» — вот несколько точно запомнившихся фраз... Из разговора понятно было, что тяжесть жизни, ощущаемая всеми и остро давящая культурных людей, нередко их приводит к мысли о самоубийстве. Но чем культурнее человек, тем крепче его дух, тем он выносливее... Я применяю эти слова, прежде всего, к самой А.А. А вот такие, как Есенин, — слабее духом. Они не выдерживают... А Есенина она не любила, ни как поэта, ни, конечно, как человека. Но он поэт и человек, и это много. И когда он умирает — страшно. А когда умирает такой смертью — еще страшнее. И А.А. вспомнила его строки:

Я в этот мир пришел,
Чтобы скорей его покинуть».

Разведенная вдова «приконченного» чекистами Гумилева хотя и не сомневается, что Есенин покончил с собой, в самом этом факте ни тайны, ни загадки для нее нет. Как-никак, а поколение, к которому они, оба, принадлежат, было «поколением самоубийц». Но она по собственному опыту знает: от мыслей о самоубийстве до «точки пули в своем конце» — *дистанция огромного размера*. Потому и волнуется, пытаясь ответить, не столько Лукницкому, сколько самой себе, на неизбежный вопрос. Почему, по какой такой причине популярный и отнюдь не *гонимый* литератор наложил на себя руки? И когда? Когда в самом главном издательстве страны уже подписан в печать итоговый его трехтомник? Следов подспудного давления внешних обстоятельств, политических, общественных и литературных, как они складывались на декабрь 1925 года, А.А. не находит. С ее точки зрения, корень беды — в нестойкости, хрупкости психики, предопределенной крестьянским происхождением поэта. В *доказательство несравненной своей правоты* и цитирует концовку его раннего (1914) стихотворения «Край любимый! Сердцу снятся...»¹ Цитирует по памяти, не точно, опуская первые две строки, не совпадающие, и по смыслу и эмоционально, с запомнившимся двустушием: ликующее чувство жизни: *рад, счастлив, приемлю все* — и нежелание длить столь радостное и счастливое гостевание на этой — своей, любимой, земле:

Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Чтобы отреагировать на такую тонкость, расслышать и запомнить то, чего в декабре 1915-го не видел никто, нужны либо иные расстояния («лицом к лицу лица не увидать») либо уникальный, ахматовский, «очень зорко видящий глаз». И если бы с тем же вниманием А.А. читала и другие вещи Есенина, опубликованные в пору первой его славы (до октября 1917-го), могла бы в том разговоре с Лукницким привести и более выразительные примеры не мотивированного жизненными трудностями упорства, с каким этот везунчик, этот баловень судьбы «подвигается к уходу». («День ушел, убавилась черта, \ Я опять подвинулся к уходу»):

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

1916

¹ «Биржевые ведомости», где «Край любимый...» впервые опубликован (25 декабря 1915 г.), Есенин преподнес Ахматовой и Гумилеву вместо визитной карточки вечером того же дня. Первые две строки появились в «Биржовке» в иной редакции: «Край родной! Поля как святцы, \ Рощи в венчиках иконных...».

И вновь вернусь я в отчий дом,
Чужою радостью утешусь,
В зеленый вечер под окном
На рукаве своем повешусь.
1916

И если смерть по Божьей воле
Смежит глаза твои рукой,
Клянусь, что тенью в чистом поле
Пойду за смертью и тобой.
1916

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.
1916

Но так глубоко в те годы Ахматова не заглядывала. Она и позднее за творчеством Есенина если и следила, то вскользь глаза. Довольствуясь сведениями из вторых рук да редкими публикациями в толстых журналах, отнюдь не регулярно попадавшими в круг ее чтения. Первым и, видимо, единственным, после «Биржевых ведомостей», печатным изданием, которое она все-таки прочла, от корки до корки, был преподнесенный ей автором с доставкой на дом сборник «Москва кабацкая» (летом 1924-го.) Жизнь (судьба и почва), запечатленная в этой книге, показалась ей страшной. О «Москве кабацкой» в ночном разговоре с Лукницким она, правда, не упоминает, но, судя по контексту, держит в уме, когда называет смерть Есенина страшной, то есть безбожной, осуждаемой христианским законом, а значит, не достойной человека высокой культуры.

Поколебало ли 14 апреля 1930 года убеждение Ахматовой в том, что Есенин наложил на себя руки «по личным мотивам»? Мариэтта Чудакова (см. «Дуэль с властью») утверждает: «Его (Есенина. — А.М.) гибель оставалась событием индивидуальным. Пока не произошло самоубийство Маяковского», которое, по ее мнению, сразу же, чуть ли не в день похорон, было воспринято как явление общественное. Но это явный анахронизм. В том апреле и еще достаточно долго *в расчете* Маяковского с жизнью политический аспект не возникал и не обсуждался. И отнюдь не по политическим причинам.

Завистники злорадствовали: да этот горлан и выскочка просто-напросто исписался, а главное — обиделся на «товарищ-Правительство», не посетившее его Выставку!

Рапповцы были уверены: Маяковский, вступая в РАПП, рассчитывал на пост Главнокомандующего, а, проиграв, поступил как азартный игрок: застрелился.

Сплетники хихикали: да у него же был сифилис! Но сифилис нынче лечится? И зачем было стреляться из-за такого пустяка?

Романтики, как и положено романтикам, «искали женщину»: «Любовная лодка разбилась о быт...»

Реалисты (Брики и В.А.Катанян) ставили иной диагноз: тяжелая депрессия, осложненная гриппом и неудачей «Бани». Ходила, промеж особо наблюдательных, и такая гипотеза: «Володя с юности поставил себе жизненной целью самоубийство...».

Да, год гибели Маяковского был для России годом переломным. Из нашего прозревшего далека, правда, при остром зрении, вполне отчетливо видно: именно с этого, рокового, тридцатого, Республика Советов с ужасающей быстротой стала превращаться в рабовладельческую Империю: «Индустриализация с ее бешеными темпами заставляла все более прибегать к принудительному рабскому труду. Если общество будет говорить об этом открыто, то скажется трагическое противоречие между его гуманными целями и мрачной действительностью. И вот сравнительно быстро происходит «закрывание» общества, что выражалось сначала в оскудении

информации, исчезновении гласности, а затем и в искажении правды. В этом был заинтересован не только Сталин, но и быстро набирающая силу советская бюрократия... Однако полное закрытие информации невозможно... Если газета существует, она должна о чем-то писать. И тогда происходит подмена информации неким ее суррогатом, цель которого создать картину,... в которой нет места умирающим от голода украинским крестьянам, составам с ссыльными кулаками, пыткам на Соловках и ночным арестам, бедности, нехватке товаров и т.д. ...Уже в начале 30-х годов создавалась ситуация, когда человек, раскрывая газету или включая радио, получал информацию не о стране, в которой он жил, а о некоем утопическом государстве... Вот это явление я называю «сталинской утопией»... Страна начала жить в двух плоскостях — плоскости реальной, что была видна любому стоящему в очереди или относящемуся к передаче в тюрьму, и в плоскости утопической. Причем с течением времени восприятие собственной жизни как утопической стало настолько привычным, что люди одинаково верили и в действительность, и в утопию, при этом мера доверия к утопии постоянно росла...» (Кир Булычев. Падчерница эпохи. Хронограф, 1990)¹.

Все так. И все-таки: злокачественная метаморфоза и фиксируется, и осознается на расстоянии — и времени, и исторического опыта. Для рядовых современников год 1930-й практически не отличался от предыдущего. Самые чувствительные конечно же почували что-то неладное, сверхзрячие забеспокоились еще раньше. Юрий Тынянов, к примеру, наверняка не случайно открывает роман о Грибоедове («Смерть Вазир-Мухтара», 1927) такой фразой: «Время вдруг переломилось». И Пастернак не с бухты-барахты уже в 1928-м заговорил о принципе параллельности, спасительном при необходимости выживания в двух плоскостях (одновременно в утопии и в антиутопии). И все-таки даже они, что уж говорить о подавляющем большинстве, глубинной сути нового порядка, с ужасающей быстротой обернувшегося тотальной «социофренией», вот так, сразу, не уразумели. И в необратимость перемен не в раз поверили. А как поверить, ежели совсем недавно, вроде как позавчера, в Советском государстве еще признавалось право на собственное мнение, даже в партийных дискуссиях? Да, инакомыслящие облеплены «зубодробительными ярлыками» — и тем не менее: даже самые *иные* пока живы? И книги, написанные до того, как время переломилось, еще выходят. А тут еще апрель 1932 года преподнес литературной обществу сюрприз, на не очень вникающий глаз и долгожданный и обнадеживающий. В том апреле «Правда» опубликовала Постановление ЦК ВКП (б), объявившее о «ликвидации ассоциации пролетарских писателей».

Ликование (в стане не пролетарской интеллигенции) было столь бурным, что даже самые здравомыслящие не сразу обратили внимание на объявленное в том же Постановлении намерение ЦК образовать единый союз писателей. Этакий большой Колхоз, в котором все-все как в типичном коллективном хозяйстве: председатель, правление, годовые планы и отчеты, список рекомендованных мероприятий и т.д. и т.п.

Анна Ахматова на соблазнительную наживку не клюнула. Приехав в начале июня в Москву, вручила Николаю Харджиеву, которого считала убежденным «хронистом», знаменитое ныне трехстишие, в котором три разнохарактерные жизни и разнопричинные гибели: Гумилева, Есенина и Маяковского — впервые — повязаны мертвым узлом:

Оттого-то мы все пойдем
По Таганцевке, по Есенинке
Иль Большим Маяковским путем.

(1932)

¹ На заре перестройки один из умнейших публицистов конца 80-х годов, к сожалению рано умерший, назовет это двойное бытие — между утопией и антиутопией — социофренией, от которой страна, мол, потихоньку излечивается. Боюсь, что и Кир Булычев, анализируя в 1990-м ситуацию начала 30-х, не предполагал, с какой шизофренической быстротой (и пятнадцати лет не пройдет) якобы *свободная*, якобы *новая* Россия уверует в «путинскую утопию». По этой самой причине я и процитировала, а не пересказала его соображения, хотя и понимаю, что элегантности текста столь пространные цитаты не добавляют.

В том же июне она подарила Льву Горнунгу, собиравшему материалы к творческой биографии Гумилева, автограф еще одного расстрельного стихотворения — того самого, что ныне публикуется под названием «Памяти Есенина».

Была ли А.А. уверена, что и Харджиев, и Горнунг опасные подарки сохраняют? Похоже, что не совсем. Во всяком случае, в альбом Софьи Андреевны Есениной-Толстой в тот же приезд и в те же самые дни эти же стихи вписаны как имеющие отношение к ее покойному мужу. Страховка была двойной и потому относительно надежной.

Книги Есенина уже несколько лет как удалены с полок выдачи массовых библиотек, однако имени его в черном реестре государственных преступников все-таки нет. К тому же место, где А.А. устроила перекрестины, уникально. В пятилетку подготовки пушкинского «юбилея» отечественную большую (избранную) классику начали полегоньку восстанавливать в правах. Имя внучки Толстого сделалось охранной, не пробиваемой *свинцовыми горошинами* грамотой. В ее доме, увешанном, как когда-то язви́л Есенин, портретами великого старца, даже посвященные Гумилеву строки: «Всего верней свинец душе крылатой небесные откроет рубежи» приклеивались к другому, мнимому адресату. В случае прихода ночных «гостей» их запросто можно было выдать (истолковать) как отклик на кощунственную¹ годовщину «дивного Гения». Вещие слова Блока: «Пушкина убила не пуля Дантеса...» — давно уже никто не вспоминал. *Чтобы жить, не надо вспоминать.*

Как ни парадоксально, но и Цветаева, создавая упомянутое выше эссе, о мертвом Есенине уже не размышляла. Сведения, которые в 1926 году для нее, по ее настойчивой просьбе, собирал Пастернак, негодились. В 1929-м, судя по переписке с Пастернаком, в центре ее интересов — поэты живые, лично знакомые и перспективные. Маяковский — носитель и выразитель эпического безличностного начала, Пастернак — лирического².

В статике это двуединство, сдвоенный этот портрет выглядит убедительно. Но как только Цветаева позволяет персонам своего выбора задвигаться, сразу же замечаешь: Б.Л. худо-бедно справляется с назначенной ему ролью, а вот В.В. она сильно «жмет» (если вспомнить его же собственный троп: «Мне жмет. Парижская жизнь не про нас...») Кстати, на этот момент впервые обратила внимание Анна Ахматова. Дескать, *Марина*, утверждая, что Маяковский — «явнопись» и «прямосказание», в угоду своей концепции, обкорнала его.

А.А., как известно, считала раннюю лирику Маяковского, включая «Флейту» и «Облако», конгениальной Лермонтову, а к *ревэлосу* Бориса Леонидовича относилась скептически и в этом отношении, как выяснилось в дальнейшем, совпадала с Троц-

¹ Где это видано, где это слышано, чтобы с такой помпой, на всю империю, отмечалось столь горестное событие, как столетие гибели Пушкина?

² Считается, что эссе «Эпос и лирика...» (по авторской датировке, фиксирующей окончание работы 1932 годом) создавалось после смерти Маяковского, как бы в дополнение к пастернаковской «Охранной грамоте» (1931). На самом деле оно и продумано, и набросано вчерне еще в 1929-м, а может, и раньше. Вот что писал Цветаевой Пастернак 3 января 1929-го: «Твоя фантазия о Маяковском, обо мне, о его роли в Москве... все твои представления на этот счет (кроме разве одного: о прирожденном обаянии М. и его загроможденной противоречьями гениальности) — превратны. Мне отсюда видней».

Четырнадцатое апреля, видимо, поставило М.И.Ц. в затруднительное положение. Смерть героя не только отменяла мажорный тон и победительный ракурс: «Маяковский тот поэт, которому все удастся». Она делала его циничным. Выждав некоторое время, Цветаева, предполагая, чуток подредактировала рукопись, сделала несколько вставок, сугубо формальных, и, перебелив, переправила в Москву. Пастернак, завершивший в январе 1931-го «Охранную грамоту» и со дня на день ожидавший корректурных листов, нервничал, видимо, опасаясь и совпасть с *Мариной* в частностях и слишком уж разойтись в общей оценке творчества Маяковского: «Пришли мне свое о Маяковском. Ася дала третью или четвертую подкладную копию (от руки), абсолютно слепую, читать, как музыкальную пьесу собирать из лоскутков по полтакта». (Пастернак Цветаевой 10 июня 1931 г.)

Письма Цветаевой и Пастернака цитирую по: «Марина Цветаева, Борис Пастернак: Души начинают видеть. — Письма 1922—1936 годов». — М.: Вагриус, 2004.

ким. Современники запомнили, что Лев Давидович однажды сильно смутил Пастернака, задав неудобный вопрос: был ли тот вполне искренним, сочиняя свои революционные поэмы. Борис Леонидович вспыхнул и пробормотал нечто вроде того, что подобные проблемы не обсуждает даже с близкими людьми.

Увы, обсуждал! В полном своде его переписки сохранился текст, где он со свойственным ему в быту простодушием сообщает, что, пробив в массовую печать мнимый эпос, сильно поправил домашние, денежные, обстоятельства.

Словом, в границах заданного материала сюжета (противостояние равноростных и равно представительных антиподов, в переводе на язык девятнадцатого века — совместников) плохо различимы и «поле сражения», и экипировка «двух великанов», и род выбранного ими оружия, включая приемы ближнего боя, начатого, как известно, не Маяковским, а «эпиграммой» Пастернака:

Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

И четырех лет не пройдет, как заостренное Б.П. литкопье, преобразившись на лету в бумеранг, вернется к копьеметателю. (Я имею в виду не одни только его приснопамятные «Стансы» («Столетье с лишним, не вчера...»), но и опубликованный в первом за 1936 год новогоднем номере «Известий» диптих, обращенный к отцу народов.)

Больше того, вскоре после публикации «Стансов» в России произойдут события, в свете которых цветаевское эссе, во всяком случае, из нашего широко осведомленного и посему недоверчиво-подозрительного сегодня, воспринимается чуть ли не как «социальный заказ» (или наказ), сделанный «высшей властью».

В 1934-м, на Первом Съезде советских писателей, по докладу Бухарина Пастернак объявлен Поэтом номер один.

В 1935-м Сталин, пересмотрев «решение Съезда», утверждает на роль лучшего и талантливейшего Маяковского.

Разумеется, Цветаева не была бы Цветаевой, если бы, словно предвидя (предугадав) эту коллизию, интуитивно, по ходу дела, не отклонялась от ею же проложенной, безупречно прямолинейной сюжетной прямой. Но сначала несколько выписок.

Пастернак — это:

Тайнопись

Чара

Иносказание

Непереводимость на язык прозы

Невозможность определить тему: «точноловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга...»

При первом, читательском, прочтении лаконизм цветаевских «Формул» восхищает до восторга. При втором, профессиональном, приводит в некоторое смущение, поскольку все то («положительно-восхитительное»), что М.И. говорит о Пастернаке, без всякой натяжки можно и надо отнести и к Лермонтову, и к Фету, и вообще к поэзии суггестивного типа. А ежели сузить «горизонт огляда» до «лирики современной России», то и к Есенину, и прежде всего к нему. Вряд ли Цветаевой, к примеру, была известна опубликованная в 1918 году рецензия Есенина на роман Андрея Белого «Котик Летаев», однако свою излюбленную мысль — о невозможности определить тему лирического произведения — она выражает почти теми же словами, что и Есенин.

Сравните.

Цветаева, 1929 г.:

«...Точноловишь какой-то хвост, уходящий за левый край мозга...»

Есенин, 1918 г.:

«...Он (Андрей Белый. — А.М.) зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслим только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося во сне голубя...»

Имя, скомпрометированное борьбой против «есенинщины» рядом с именем Пастернака, особенно после «Злых заметок» Бухарина, тактичнее и дипломатичнее не упоминать, тем более что Цветаева все чаще и чаще подумывает о возвращении в Россию и не скрывает этого¹.

Однако Цветаева, отдадим должное ее профессиональной изобретательности («изобретательности до остервенения!»), находит все-таки способ С.Е. упомянуть и даже ввести в сюжет. Как же она это делает? А вот как. Сначала вроде бы мимоходом замечает: «Без Маяковского русская Революция сильно бы потеряла, как и сам Маяковский без Революции. А Пастернак рос бы себе и рос...»².

Затем, вроде бы и без нажима, но по-цветаевски неотменно, произносит следующий приговор: «Оба (и Маяковский, и Пастернак. — А.М.) на песню неспособны. Маяковский потому, что сплошь «мажорен, ударен и громогласен. Так шутки шутят и войсками командуют. Так песен не поют». Не способен на песню, по мнению Цветаевой, и его якобы антипод, ибо «перегружен и перенасыщен»: «В Пастернаке песне нет места. Маяковскому самому не место в песне».

Казалось бы: ну и что? В «певкости», как известно, Жуковский даже Пушкину отказывал. Дело, однако, в том, что в понимании Цветаевой не-певкость — категория не эстетическая: «Для того чтобы быть народным поэтом, нужно дать целому народу через себя петь».

А теперь умножьте итоговую эту максиму на еле заметную, «легкокасательную» проговоруку, как бы апропо, по ходу дела вставленную между строк: «блоково-есенинское место до сих пор в России вакантно».

И что же в итоге выходит? Не по замыслу-сценарию, а по внутреннему *чувствованию*? А вот что в итоге выходит, если, конечно, следовать за М.Ц., придерживаясь не главной сюжетной прямой, а еле заметной, словно бы симпатическими чернилами обозначенной боковой линии.

Пастернак представляет лирику современной России всего лишь в качестве временно исполняющего обязанности, то есть только потому, что вакансия *народно-го лирического поэта*, за безвременной гибелью сначала Блока, а спустя четыре года Есенина, оказалась «пустой» и в силу этого «опасной».

В 1936-м Марина Ивановна, в письме к Пастернаку (к 1936-му их отношения уже перешли из стадии «старой распри» в «новую вражду», разумеется, не открытую, а прикрытую легким флером крайней заинтересованности), скажет об этом с беспощадной, злой и ядовитой откровенностью:

«Тебя сейчас любят все, п.ч. нет Маяковского и Есенина, ты чужое место замещаешь».

Но это, напоминаю, будет сказано позднее. И в другой литературной и житейской ситуации. А пока Маяковский был жив и, на взгляд из Парижа, дееспособен («лет до ста расти нам без старости»), предложенная в черновом варианте «Эпоса и лирики...» диспозиция, хотя и с оговорками, вполне соответствовала парадно-представительной расстановке сил на «Строчечном фронте» («Парадом развернув своих страниц войска, я прохожу по строчечному фронту»).

После самоустранения Маяковского, осложненного слухами о сифилисе как об истинной причине самоубийственного *выстрела*, для опровержения которых при-

¹ Об этом обстоятельстве упоминает Пастернак в уже названном, от 3 января 1929 года, письме в Париж: «Все упорнее, с самой весны, ходят у нас слухи о твоём предполагающемся возвращении».

² Утверждать не утверждаю, но предполагаю: бестактность именно этого противопоставления спровоцировала Пастернака на ответную бестактность в «Охранной грамоте»: «Его (Маяковского. — А.М.) место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой».

В тексте «Охранной грамоты» этот чреватый опасными выводами и явно несправедливый *выпад* малозаметен. Однако Бухарин, готовясь к выступлению на Съезде СП, не мог не принять во внимание мнение Пастернака и вряд ли сам Пастернак этого не понимал. Ахматова, к примеру, так и не простила К.И. Чуковскому его сенсационную статью «Ахматова и Маяковский», расценив ее как хорошо завуалированный донос в соответствующие инстанции.

шлось делать второе вскрытие, Пастернак в течение полутора лет (!) пребывал в статусе Первого Поэта республики Советов, эпика и лирика в одном лице. Ни один из его биографов не обходится без цитирования письма Б.Л. Сталину, в котором поэт, как мы помним, низжайше благодарит вождя за то, что тот снял с него шапку Мономаха, дабы водрузить великую сию тяжесть на голову более достойного. Причем большинство принимает трагикомическую ситуацию всерьез. Лишь самые проницательные и отважные позволяют себе предположить и затаенную обиду, и граничащее с юродством самоуничижение, то самое, что паче гордости. И, на мой взгляд, не ошибаются. Иначе не появились бы в «Лицах и положениях» раздраженные слова о том, что после 1935 года Маяковского стали внедрять в общественное сознание насильственно — словно картофель при Екатерине Второй.

И все-таки... Чтобы представить себе глубину и невыносимость обиды, нанесенной Пастернаку несправедливым (см. «Охранную грамоту») возвышением Маяковского в качестве лучшего поэта революционной эпохи, реконструируем — в лицах и положениях — этот злосчастный, в проекции пастернаковской биографии 1935-й.

Николай Бухарин оказался злым гением не только Есенина, но и Маяковского. После его доклада на Первом Съезде писателей, в котором В.М. охарактеризован как автор утративших актуальность агиток и шершавых плакатов, его потихоньку-полегоньку начали спихивать с «корабля современности». Подготовленное, стараниями Бриков, собрание сочинений приостановлено, прошедшее все инстанции решение об открытии мемориального музея в Гендриковом переулке положено под сукно, из школьных программ исключены «Хорошо!» и «Владимир Ильич Ленин». Мандельштам пропадает и голодает в Воронежской ссылке. Умирает Андрей Белый... Даже Лиле Брик не до Маяковского. У нее новая жизнь и новый роман, фактически брак с человеком из самых-самых «верхов».

А Пастернак... А Пастернак, облеченный доверием «высшей власти», экипированный и обутый в кремлевских спецателье, представляет советскую поэзию на антифашистском конгрессе в Париже. По возвращении ему вручают трехмесячную путевку в элитный санаторий. Чудесным образом разрешается и квартирный вопрос. В самом скором времени Б.Л. «получит» и дачный особняк в Переделкине, и отдельную квартиру в престижном доме в Лаврушинском переулке. Да что там дача... Сам Сталин спрашивает у него, мастер ли Осип Мандельштам! Лично! Сталин! По телефону!

И вдруг... В декабре 1935-го Лиля Юрьевна опомнилась и, собравшись с духом, пан или пропал, написала письмо товарищу Сталину. Не длинное, не короткое, как раз такое, какое и следовало написать, чтобы не только музейно сохранить, но и «реализовать» «огромное революционное наследие Маяковского».

Первая жена В.А.Катаняна Галина Дмитриевна вспоминает: «Написать письмо было нетрудно — трудно было доставить его адресату. Надеялись на помощь Виталия Марковича Примакова, мужа Л.Брик. Примаков был крупной фигурой. С ним считались. Усилия его увенчались успехом — Сталин прочел письмо и написал свою резолюцию прямо на письме. В тот же день письмо было доставлено Ежову».

Л.Ю., жившую в Ленинграде (по месту службы *настоящего мужа*), срочно вызвали в Москву. Друзья, предупрежденные ночным звонком, «волновались ужасно». Волнения оказались напрасными:

«Лилия приехала на машине ЦК. Взволнованная, розовая, запыхавшаяся, она влетела в переднюю... Тут же, в передней, не раздеваясь, она прочитала резолюцию Сталина, которую ей дали списать...» Тов. Ежов, очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление».

К Новому, 1936 году переписанный Лилией Юрьевной текст выучила вся Москва.

Ну, теперь попробуем поставить себя в незавидное положение того, кто почти полтора года до декабря 1935-го существовал в головокружительно высоком статусе. Легендарная резолюция не просто «отставила» Пастернака от вечной славы Перводержавного поэта. Согласно этой резолюции мнение Пастернака о Маяковском, зафиксированное в «Охранной грамоте»: «Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня

загадкой», решительно не совпадало с мнением отца народов и, значит, попадало под графу: преступление. К счастью, об этой «путаной» повести никто из референтов Председателя литературного колхоза почему-то не вспомнил. Почетного отставника всего лишь задвинули в книжный угол, где он, как и предполагала «болярыня Марина», *рос себе и рос*. Угол был комфортабельным, почти богатым, особенно по сравнению, скажем, с бездольем, бездомьем и нищетой Ахматовой — «мир не видел такой нищеты...» И тем не менее: угол это всего лишь угол, из которого переделкинский сиделец вырвется в «мировой резонанс» только через двадцать с лишним лет. Не будем забывать и вот о какой тонкости. Хотя Пастернак (в «Людах и положениях») и оговаривается, что лично Маяковский не виновен в том, что его поэзию, с подачи Сталина, внедряли насильственно, это положение аннигилируется историей его, Пастернака, разрыва с Лефом, в том же тексте изложенной. Дескать, ему претила деятельность членов этой группы, слишком уж активно *внедрявшей* свою бессовестную продукцию в общественное сознание.

Ну, а кроме того «Люди и положения» это весна—лето 1956 года. Момент наиважнейший. В творческой судьбе Пастернака сильный положительный сдвиг: его большой итоговый сборник, для которого и пишутся «Люди и положения», наконец-то внесен в Гослитовский план выпуска. Успех и заслуженный и почетный, но он не идет ни в какое сравнение с тем триумфом, с тем всенародным признанием, которое принесла хрущевская весна Маяковскому и Есенину. Культ личности разоблачен, но на популярности Маяковского это не сказалось. Маяковский, как и Есенин ушли раньше, как только почуяли, что идет не тот социализм.

Каяться пришлось даже Ахматовой: «Не за то, что чистой я осталась, словно перед Господом свеча...»

Да, не устояла, да, валялась в ногах «у кровавой куклы палача» (см. появившийся в «Огоньке» цикл «Слава миру»), но валялась вместе со всеми, вымаливая жизнь единственному сыну. Отношения Пастернака с «падишахом» совсем иного сорта. Они что называется из ряда вон. Пастернак претендует на диалог с Вождем, причем чуть ли не на равных. В советских изданиях опубликованные в «Известиях» (1936) его стихи Сталину, согласно авторскому велению и хотению, ополовинены. Однако люди 50-х годов еще помнили, что же в отрезанной половине было сказано. А сказано было следующее:

И в те же дни на расстояние
За древней каменной стеной
Живет не человек, — деянье:
Поступок ростом с шар земной.

Судьба дала ему уделом
Предшествующего пробел.
Он — то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел.

.....
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет...

Маяковский прожил «под Сталиным» почти пять лет, но даже в поэме «Хорошо!», которая создавалась к десятилетию Октября, умудрился не «вставить» Вождя всех времен и народов в ряд тех, кто в реальности «делал» Революцию. В поэме «Владимир Ильич Ленин» (1924) Сталин вскользь все-таки упомянут. В первой публикации этот фрагмент выглядел так:

«Вас вызывает товарищ Сталин,
направо третья, он там...»
«Товарищи, не останавливайтесь, чего встали?»
В броневики и на Почтамт
по приказу товарища Троцкого!»
«Есть!» — повернулся и скрылся скоро.

И только на ленте у флотского
под лампой блеснуло: «Аврора».

Очень скоро строку «*по приказу товарища Троцкого!*» вычеркнут, потом исчезнет и вся строфа. Ее нет, например, в малой серии «Библиотеки поэта», изданной в 1955 году.

Правда, в «Домой!» (1925) Сталин — реально действующее лицо, но и здесь он всего лишь как один из докладчиков на Пленуме ЦК: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, с чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов, от Политбюро, чтобы делал доклад Сталин».

Словом, свержение падишаха (в феврале 1956-го) ни Есенина, ни Маяковского не замарало, хотя Лиля Брик, судя по некоторым нюансам, опасалась, что и ей, а значит, и *Володе* припомнят приснопамятную резолюцию и что Вождя всех времен и народов увлечем за собой. Не припомнили. Не до того было.

15 мая 1956 года. Лиля Брик. Из Москвы в Нальчик. В.В.Катаняну:

«На пл. Маяковского стоят три! фанерных макета памятника, разных размеров. Мне нравится самый большой, а те, что поменьше, совсем не нравятся. Из этого заключаю, что поставят самый маленький».

Л.Ю. ошиблась: выбрали и отлили в бронзе самый большой.

Есенин вырвался из полуподполья на год раньше.

Еще осенью 1955-го был издан невероятным тиражом его двухтомник. Мой будущий муж, художник Владимир Муравьев, тогда костромич, внес в свой дневник такое свидетельство:

«Несколько дней тому, с треском и скандалом достал Есенина (двухтомник). Любителей была масса. Книг мало. Публика остервенела от махинаций дирекции магазина. (Больше половины спрятали.) Было омерзительно видеть и стыдно присутствовать при этом дележе» (запись от 15 октября 1955 года).

Но какое касательство имеют все эти факты к нашему сюжету, то есть к отношениям внутри многогранника: Есенин—Маяковский—Цветаева—Пастернак—Ахматова? Концептуально прямого, естественно, не имеют. Зато исходящий от них пучок легкокастных смыслов, как мне представляется, предполагает пусть и гадательное, однако ж отнюдь не беспочвенное истолкование загадочной ситуации, до сих пор вразумительного объяснения не получившей. В самой последней редакции (в отклике Константина Кудряшова на книгу Дмитрия Быкова о Пастернаке в серии «Жизнь замечательных людей») фабула сей загадки изложена так:

«Отчего же Пастернак, отлично понимающий, чего ему может стоить передача романа за границу, все-таки пошел на этот рискованный шаг? Тщеславие? Или какое-то запредельное бесстрашие? На первый взгляд кажется, что именно бесстрашие. И подтверждений тому довольно много. Однако существует еще один мотив...» (АиФ, 22 октября 2008).

Суть «еще одного мотива» в реплике Константина Кудряшова вкратце сводится к следующему. Сославшись на мемуары Ольги Ивинской, на тот фрагмент, где О.И. пишет, что Б.Л. «был всегда наивный и смешной как избалованный ребенок», Кудряшов восклицает: «...Вот это стопроцентное попадание! Именно ребенок и именно избалованный. Такие обычно валяются на пол магазина игрушек и истерично колотят ногами по полу: «Хочу! Хочу! Хочу!» многим

Еле слышный отзвук «момента истины» в этом предположении, может, и есть. Недаром Анна Ахматова, узнав (вычитав из «Правды», в номере от 25 октября 1958 года), что Пастернаку за публикацию переданного два года назад за границу романа грозит исключение из Союза писателей, именно этим числом — годом датирует старое, начатое еще в 1947-м, обращенное к нему стихотворение, которое замыкает такое двустушие:

Отдай другим игрушку мира — славу,
Иди домой и ничего не жди.

И все-таки, на мой взгляд, и Ольга Ивинская, и Анна Ахматова сильно преувели-

чили и детскость, и наивность, и капризность «Борисика». Куда реалистичней предположить в качестве повода или импульса припадок внезапной ревности. Не тщеславия (желания быть «знаменитым»), не зависти к счастливым, схватившим жар-птицу по имени Слава, а именно ревности. Впадая в этот грех, Пастернак, и это общеизвестно, совершал поступки, настолько несовместимые со здравым смыслом, что близкие боялись за его рассудок. В случае с Маяковским, в чем, надеюсь, я вас почти убедила, основания для ревности были. Но чем могла подпитываться граничащая с патологией ревность к Есенину? Неужели всего лишь застарелым чувством унижения, своей якобы полупризнанностью? Такое предположение вроде бы, на беглый взгляд, вытекает из письма Пастернака Марине Цветаевой от 4 января 1926 года:

«Из нас сделали соперников в том смысле, что ему (Есенину. — А.М.) тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несуразицы. Я доходил до самоуничужения в старании разрушить это сопоставление, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горящей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и пр., здесь — мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг...».

Но если вчитаться в процитированный текст внимательнее, понимаешь: тут что ни суждение — то возведенный в превосходную степень кривотолк. Ни Библейские есенинские поэмы, ни «Пугачев», ни «Анна Снегина» даже элементарного читательского успеха не имели. От «Москвы кабацкой» госиздательства, не сговариваясь, отказались и т.д. и т.п. Да и Пастернаком Есенину никто не *тыкал*, тыкали Блоком, Клюевым. И соперником Б.Л. он никогда не считал. Наоборот! Ежели, мол, не научусь писать так, чтобы и себя не терять, и быть понятным, придется доживать Пастернаком. Словом, все в этом письме, вроде бы искреннем, на самом деле полуправда. Кроме одной-единственной фразы: «кусок горящей жизни». И как страшно срифмуется эта вроде бы случайная проговорка с гениальной строкой из его стихов на смерть Маяковского: «Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих»... Вот к чему ревновал своих мнимых соперников Борис Пастернак — к поступку. Он ведь и в Сталине видел «гения поступков»! Вот в чем хотел сравняться, передавая рукопись за границу! Не убедительно? Ну что ж... Обратимся к датам и фактам, допрашивая умные эти числа в хронологической последовательности.

Рукопись «Живаго» передана в «Новый мир» в январе 1956-го — до, а не после двадцатого съезда партии, состоявшегося в феврале. Следовательно, Пастернак был уверен, что роман пройдет, как прошли два года назад стихи из романа в «Знамени». Правда, обнадеживающих вестей из редакции пока не слышно, но это и понятно. Страну лихорадит: уцелеет ли Хрущев или его кокнут, как Берию? Втихую. В такой обстановке ждать, что огромный роман немедленно прочтут и в отделе прозы, и начальство, и члены редколлегии, — глупо и непрофессионально. Но Пастернак нервничает, и его можно понять. В феврале 1956-го быть автором процитированных выше стихов Сталину просто некрасиво — позорно! Особенно после 13 мая все того же 1956-го. В этот день, напоминая, «в предгорье трусов и трусих» раздался еще один выстрел. Ушел от позора один из соседей Пастернака по Переделкину — Александр Фадеев. В том же мае Б.Л. Пастернак вдруг, не поставив в известность ближайших друзей, даже Ольгу Ивинскую, передает «Доктора Живаго» за границу и уже в июне (30) подписывает договор на издание его перевода на итальянский язык. Между тем, напоминая, машинопись «Доктора», отправленная в редакцию «Нового мира», еще не отрецензирована, а новые замечательные стихи приняты к публикации в «Знамени» (не самом либеральном из столичных толстяков). Полным ходом идет и работа над его однотомником в издательстве «Художественная литература». Знаменитый альманах «Литературная Москва» буквально выпрашивает у Б.Л. стихи... Словом, широко бытующая версия, будто Пастернак передал свой роман за границу потому, что его не печатали, а он, дескать, мечтал о славе, реалиям весны—лета 1956 года не отвечает. Не забудем и о том, что отказ «Нового мира» от «Доктора Живаго» будет получен только в сентябре, и вряд ли Симонов, а затем Твардовский не были уведомлены о том, что рукопись тайно передана за границу. Не знаю, можно ли назвать то, что он сделал, подвигом, но это был поступок. И даже Поступок. И в стихах

и в прозе Пастернака решительные поступки не редкость. («И для первой же юбки он порвет повода, и какие поступки совершит он тогда».) Но это — в стихах. В жизни он запутывался в очаровательных юбках, не решаясь по своей воле отцепить себя то от одной, то от другой. Но на сей раз речь шла не о свойствах страсти и причудах характера. Речь шла о чести. Точнее, бесчестье. «И с отвращением читая жизнь мою,/ Я трепещу и проклиная,/ И горько жалуюсь, и горько слезы лью,/ Но строк печальных не смываю»... Пушкин мог себе такое позволить. Пастернак не мог. Для смывки позорных строк в мае 1956-го, после самоубийства *Сашки Фадеева*, в его руках было одно только отмыточное средство: безумный смертоубийственный поступок. И не отложенный в долгий ящик. А здесь, сейчас... немедленно...

Но был ли этот Поступок и впрямь таким уж безумным? Чтобы ответить на этот вопрос, представим, каким «мирным прозвонанием» (см. процитированное выше письмо к Цветаевой от 4 января 1926 г.) оказалась бы его красивая и плодоносная «евангельская старость», если бы, впад в неслыханную, неуправляемую ревность к людям поступка, он не переправил «Живого» за границу.

В сентябре 1956-го роман, полностью, а не отдельными главами, скорее всего, напечатать бы не решились. Но года через три-четыре, раньше, чем «Ивана Денисовича», «Доктора Живаго» наверняка бы опубликовали. Чутьочку «почистив» и слегка «сократив». Недаром отставленный от власти Хрущев, прочтя, наконец, злополучное сочинение, пришел в самое искреннее недоумение. Из-за чего, мол, сыр-бор? Где тут, товарищи, ярая антисоветчина? Обыкновенная интеллигентская мерехляндия...

Наполеон, умирая, говорил, что рак залез к нему в печень в день Ватерлоо.

В какой из гибельных дней это случилось с Пастернаком?

29 октября 1958 года, когда он, потеряв лицо, отправил в Стокгольм телеграмму с отказом от Нобелевской премии? Или чуть позже, в марте 1959-го, когда ему, вызвав в Прокуратуру, предъявили обвинение в государственной измене? А он, потерявшись, стал оправдываться?

Современная медицина ответить на наши вопросы не в состоянии.

Однако оставим пока переделкинського сидельца и вернемся к его якобы счастливым соперникам.

В роли единственно лучшего и талантливейшего, несмотря спровоцированный Сталиным «пиар», Маяковский надолго не задержался. По крайней мере — де-факто. Людская молвь безошибочно подобрала ему «четы».

Надежда Яковлевна Мандельштам, описывая страшные месяцы, когда, после последнего ареста мужа, скрываясь от ГПУ в дальнем Подмосковье, работала на текстильной фабрике, вспоминает не без удивления:

«Чтобы отдохнуть, бабы убегали от машин в уборную. Там собирался настоящий клуб... Здесь я убедилась, как громадна популярность Есенина, потому что при мне постоянно упоминали его имя. У этого поэта была настоящая народная легенда».

Запись, уточняя, относится к 1938 году, а это апогей Большого террора, когда можно было заработать «вышку» за самый невинный «политический» анекдот. Товарики Н.Я. об этом знают. Ежели в уборную врывается «карьерная комсомолка», предупреждают: «Этой берегись!». Догадываются члены фабричного бабьего клуба и о том, что Есенин поэт, хотя и не запрещенный напрочь, но опальный и *за его песни* по головке не гладят. С работы, конечно, не выгонят: план делать надобно, а строгаща влепят и по партактивам затаскают. Знают, а все равно «постоянно упоминают его имя».

Имя того, с кем ему, после смерти, стоять «почти что рядом», сам Маяковский назвал в первом Вступлении к так и написанной *поэме ухода*:

Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь...

Язвительный этот выпад исследователи и толкователи истерли до дыр, но почему-то никто не обратил внимания на то, как много здесь, в «прощальном», во весь голос, «концерте», переключек с Есениным. Маяковский, уже вплотную придвинувшийся к уходу, продолжает прерванный смертью главного соперника диспут, обращаясь к нему «через головы поэтов», причем именно так, как это когда-то сделал и Есенин, поделив (в «Поэтам Грузии») русскую поэзию на две части: Маяковский — и все остальные: «Мне мил стихов российских жар. Есть Маяковский, есть и кроме...»

Вот несколько примеров.

Есенин, «Мой путь», 1925 г.:

Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Маяковский, Первое вступление к поэме «Во весь голос»:

Я сам расскажу
о времени
и о себе.

Есенин:

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пушай я сдохну,
Только...
Нет!
Не ставьте памятник в Рязани!

Маяковский:

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
мне наплевать
на мраморную слизь.

В той же поэме, издеваясь над романсовой «дрянью», В.М. фактически перекладывает своими словами то, что *автору* «томной» и «дохлой лирики» с издевкой выкладывает ночной, черный, «прескверный гость» в есенинском «Черном человеке»!

Есенин, «Черный человек», 1924—1925 гг.:

Ах, люблю я поэтов!
Забавный народ.
В них всегда нахожу я
Историю, сердцу знакомую, —
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою.

Маяковский, «Во весь голос»:

Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках-волосках
с полупохабщины
не разалеться, тронуту.

Пока Маяковский общался с современниками и соратниками, как живой с живыми, он был и снисходителен, и великодушен: «Есть у нас еще Асеев Колька, этот может, хватка у него моя». Накануне ВЫСТРЕЛА, отодвинув всех, *кроме..*, прокручивает, словно немую киноленту, есенинский вариант «расчета с жизнью». С ним одним беседует, ему доказывает, перед ним оправдывается.

Есенин:

Не каждому дано петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

Маяковский:

И мне бы
 строчить
 романсы на вас,—
доходней оно
 и прелестней.
Но я
 себя
 смирял
 становясь
на горло
 собственной песне.

Все знаковые есенинские слова у В.М. на памяти. Ласкающие, нежные он с вызовом профанирует, загоняет в лузу, словно бильярдные шары, «корявыми» пользуется, как своими.

Есенин:

Дар поэта ласкать и карябать.

Маяковский:

...не привык ласкать...

Есенин:

И душа моя, поле безбрежное,
Дышит запахом меда и роз.

Маяковский:

Неважная честь,
 чтоб из этих роз
мои изваяния высились...

Есенин:

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Маяковский:

...где блядь с хулиганом
да сифилис...

Вступление к поэме «Во весь голос» создавалось зимой и ранней весной 1930-го. Про то, что «песенный провитязь» его главный и успешный «соперник в сердцах людей» и что это не происки «стаи» «мужиковствующих», Маяковский стал догадываться гораздо раньше. Благодаря феноменальной памяти Василия Абгаровича Катаняна можно, с достаточной точностью, описать обстоятельства, в силу которых эта наверняка не очень-то приятная догадка «осенила» его самоуверенную «голову». Он-то плакался: «ни души не шагает рядом», а оказалось...

В феврале 1926-го, два месяца спустя после смерти Есенина, Маяковский снова, как и год назад, по приезде из Америки, появился в Тифлисе, естественно, с

расчетом на реванш — в прошлый заезд столица Грузии встретила его полупустыми залами. Но и на этот раз ожидаемого аншлага не было. Театр Руставели опять был всего лишь «почти полон», несмотря на рекламные усилия Катаняна и его команды. И это понятно: литературный Тифлис был занят Есениным — его здесь знали и любили, и горевали как по своему. Маяковского это рассердило, и на вопрос из публики: *Как вы относитесь к Есенину*, рявкнул: «К покойникам отношусь с предубеждением».

Не прошло, однако, и месяца, в Москве еще снежно и холодно, а нагрянувший из Тифлиса Василий Катанян-старший уже шагает по «населенной трамваями и лошадами простого звания» Мясницкой, дабы самолично заказать Родченко оформление к первому отдельному изданию самого знаменитого из произведений «советского» Маяковского: «Через несколько дней обложка и иллюстрации были готовы. На первой странице — железнодорожный мост, снятый изнутри, в лоб, но на месте идущего на нас трехглазого чудовища — врезан круг с колосьями ржи. Так противопоставлены два имени» — Маяковский — Сергею Есенину.

Того, что стихи про Есенина угодили, если употребить есенинское же выражение, «в прицел», не отрицал и их автор:

«Наиболее действенным из последних моих стихов я считаю — «Сергею Есенину». Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя, — его переписывали до печати, его тайком вытаскивали из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения жмут лапы, в кулуарах бесятся и восхваляют, в день выхода появилась рецензия, состоящая из ругани и комплиментов».

Маяковский не преувеличивает. Вот только почему-то не вспоминает то, что невольно приходит на память. А на память приходит не что иное, как стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Впрочем, мое «почему-то» не более чем фигура речи. Несмотря на четыре класса гимназии, не может же он не знать: ничего подобного за миновавшие (с февраля 1837-го) девять десятилетий в России не случалось. Наверняка помнит и хрестоматийное, тютчевское, о Пушкине: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» Память на стихи у Маяковского феноменальная. Но вспомнить об этом публично — значит согласиться с тем, с чем соглашаться не хочется: если Пушкин первая любовь читающей России, то Есенин последняя ее любовь, а только первая и последняя любви не повторяются.

И все-таки, и все-таки... Самый трогательный, самый пронзительный отклик на смерть Есенина принадлежит Пастернаку, а в чин литературного факта он не возведен только потому, что Б.Л. *случайно* вставил его в «Охранную грамоту», в последнюю главку, где речь идет о смерти Маяковского, никак не обозначив ассоциативного, внезапного перескока из апрельской Москвы 1930 года в зимний Питер 1925-го. *Но чем случайней, тем вернее...*

«Большой реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день в нем проходит при вечернем свете. Давным-давно, когда-то, он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломать его непризнание. С тех пор утекло много воды... Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение... Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая дикая впечатлительность... Страшный мир. Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится по рельсам... Он перекачивается и мельчает, мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток внимания. Эти неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнение с обидами, по которым торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни...

«Этот? Повесится? Будьте покойны... Этот? Он любит только себя!»

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный мороз. Воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги...

Так это смерть?»

Суть трагедии

Рубрику ведет Лев Аннинский

Не похоже, чтобы на трагический ход событий влияли какие-то «падшие Ангелы», спустившиеся с небес для соращения землян. Скорее всего, суть трагедии в самой природе человека.

Леонид Гомберг. Дорога на Ханаан

По дорогам и тропам

Свой жанр Леонид Гомберг определяет так: *«Прогулка литератора по тропам мифологической истории иудейской цивилизации»*.

Что он хороший литератор, видно невооруженным глазом (тем более вооруженным: эксперты Дина Рубина и Ефрем Баух отмечают у него сочетание решительности и осторожности). Но это не единственное достоинство его текстов. Гомберг не только литератор, он — историк, религиовед, специалист по мифологии. Он в высшей степени вооружен в своем путешествии по темным тропам иудейской и мировой истории, занесенной песком вечности или заросшей чащобами той же вечности. Тут не вооруженному специальными знаниями путнику делать нечего. И читатель книг Гомберга тоже должен быть вооружен, чтобы вполне оценить предложенный им путь.

Я не чувствую себя достаточно экипированным для такой задачи. Я литератор и только. Я могу попробовать извлечь из трагедии бытия эмоциональный эффект. «Суть трагедии», а не причины и сам ход ее, сокрытые от нас... даже не завесой времени, а такой завесой, которая скрывает само понятие времени.

«Библейское время не соответствует нашему: оно не линейно».

Это значит, что наши нынешние мерки — год, век, тысячелетие, эра — не работают там, где оживают тени Каина, Ноя и Авраама. Там время спрессовано. Чем глубже в прошлое, тем больше оно там спрессовано. Чтобы вернуть ему вменяемость, мы должны его мысленно растягивать. Мы говорим: «день», а там в этот «день», может быть, уложился век. Или тысячелетие. Блаженный Августин, например, растягивал каждый «день творения» на тысячу лет (в нашем, а точнее, его, Августина, понимании), а ребе Штайнзальц всю протяженность событий первой главы Книги Бытия укладывает в два тысячелетия (в нашем нынешнем понимании, ибо ребе наш современник).

Так что же, мне теперь искать «компромиссную дату» между шестью и двумя? Вовсе нет. Чувства мои устремляются в прямо противоположном направлении. Если время так беспощадно прессуется за пределами всякого исторического мига, то и нынешняя наша история, с ее мировыми войнами и лопнувшими надеждами, с сотнями миллионов жертв, с самоубийственным опьянением народов, с безумием вождей, готовых спалить планету или заморозить ее в ядерной зиме, — все это по прошествии времен спрессуется в какой-нибудь мгновенный эпизод, вроде того, что тевтоны пошли на восток и дошли до Волги, а славяне и турки проводили их обратно до тевтонских лесов...

И вся наша трагедия уложится в какую-нибудь «суть» о пяти фразах. Про то, что у Гитлера тоже было «доброе влечение», но превратилось в «злое». Применительно к

Сталину можно проделать такую же операцию. Как мы проделываем ее сегодня применительно к Каину.

Ребра Адама

Из трех узловых фигур иудейской истории (Каин, Ной, Авраам — я беру привычные для русского уха имена, иначе Ной станет Ноахом, Ева окажется Хавой, Авель Эвелем, Эдем — Эденом) так вот: из череды участников трагедии мировой истории (истории человеческой цивилизации, — уточняет Гомберг) я возьму Каина. Похоже, что и на Гомберга именно эта фигура произвела в свое время завораживающее впечатление.

Во-первых, Каина и переименовывать не надо; настолько имя его вьелось в память человечества, выжглось в ней нескрываемым клеймом, слилось с понятиями цены: кары и покаяния. Во-вторых, его эпизод ранний, можно сказать, первый (если не считать змея и грехопадения с изгнанием, а это предыстория того, что сделал Каин), кровавая трагедия истории начинается с него. И, в-третьих, это действительно жуть изначальная, ибо, кроме двух братьев и их родителей, на земле — никого. Вообще никого!

— А жена Каина? — следует обычный ехидный вопрос скептиков, вдумывающихся в этот сюжет.

— А что это меняет? — отвечает Леонид Гомберг встречным вопросом. — У нас нет никаких оснований утверждать, что Эдем был единственной лабораторией Все-вышнего, когда он заваривал эту кашу с человечеством. В других концах земли могли происходить параллельные события. Так что Каину было где искать себе жену после трагической развязки.

Суть *его* трагедии от этого не меняется. Он — *первый* убийца, и Эдемская лаборатория — *первое* место, где опыт был поставлен.

«Если к этому повествованию, — пишет Л.Гомберг, — относиться исключительно как к эпической саге, забыв о ее Боговдохновенном происхождении, тогда мы естественным образом обречем себя на погружение в пучину неразрешимых вопросов... Почему Господь принял дар Авеля и не принял дар Каина? Каким образом Каин узнал об этом прискорбном для него факте? Почему ревнивец избрал для своего брата такую непомерную кару: ведь до этого времени на земле никто еще не умирал? Как он вообще додумался до убийства и откуда узнал, как его осуществить? Кого боялся Каин, когда на земле, кроме его родителей, никого больше не было?»

Эти вопросы способны поставить нынешнего вопрошателя в тупик.

Однако проследим проделанную Гомбергом реконструкцию событий «эпической саги».

Итак, два брата. Пахарь и пастух. Оба приносят жертвы Богу, обычные традиционные жертвы от трудов своих. Как в конце каждого хозяйственного цикла. Каин — обычную долю от урожая. Авель — «из овец своих, из тучных».

Но в том-то и дело, что жертва Каина — обычная, традиционная, а жертва Авеля — с претензией. Это не всегдашний возврат долга Господу (как у Каина), это — намек на особые отношения. Это Авель и получает — в обход Каина, старшего брата, имеющего, между прочим, право на первородство.

Понятно? У Каина есть основания прийти в бешенство: Авель пытается его обойти! Каин убивает брата в состоянии ярости и, надо сказать, дилетантски. Да и откуда Каину знать, как убивают людей? Он видел, как убивают животных: в этом смысле Авель сам подсказал своему убийце, как это сделать: Каин режет брату горло каменным ножом — «как в эпоху неолита резали жертвенный скот».

Далее у Господа разбирательство.

— Где брат твой Авель?

Следуют варианты Каинова объяснения.

— Не знаю. Разве я сторож брату моему?

Комментарии Л.Гомберга к этому общеизвестному ответу. Каин, разумеется,

знает, что Всевышний все знает. На то он и Всевышний. Тогда зачем спрашивает? Испытывает?

Кроме общеизвестного ответа есть еще вариант в Устной традиции, и Гомберг его тоже приводит — в переводе С.Фруга:

— Да, я убил брата моего, но не тобою ли внушено мне это злое дело? Ведь Ты — страж всего сущего на земле...

Я не думаю, что разница между записью Устной традиции и каноническим текстом так уж важна: прежде чем канон был записан, он бесконечное количество раз передавался устно: можно себе представить, как сидят древние мужики вокруг очага и обмениваются версиями, в этих версиях проясняется вовсе не то, что было в реальности, а то, что эти мужики хотят услышать от Всевышнего, то есть приписать Всевышнему. Это и есть реальность, и именно ее комментирует Гомберг, когда Всевышний говорит Каину: «И ныне проклят ты от земли»:

«Эти слова Господа, вероятно, можно понять так: «Дело не в том, чего ты не знал, а в том, что ты сделал. Суть твоего знания заложена в самом устройстве мироздания и в самой природе человека... Поэтому и проклят ты от земли (а не от Господа), от реального естества мира...»

Кто виноват?

Так все-таки: Божий замысел или Естество мира в основе трагедии? Кто должен отвечать за произошедшее: человек, совершивший злодеяние, или Всевышний, это попустивший? Разумеется, если вслед за Гомбергом понимать эту «сагу» не как эпический сюжет вообще, а как текст «Боговдохновенного происхождения», тогда все подобные вопросы растворяются в Божьем сиянии. Но я как нераскаянный атеист склонен думать, что теми или иными качествами (намерениями и реакциями) награждали Господа те самые древние мужики, которые, сидя вокруг очага, обсуждали вышеописанный сюжет. И мы, обсуждающие его сегодня, делаем то же самое, хотя и более глубокомысленно. Эти качества говорят не о Нем, а о нас. А мы, если угодно, коренимся со всеми своими трагедиями в «естестве мира». Каковое я исчерпать не берусь — ни здесь, ни вообще. Есть вещи, которые лучше не знать. Иначе надо повеситься.

Если же говорить о чисто человеческой сути трагедии, то надо выбирать путь или самооправдания, или покаяния, говоря Господу: либо «это не мы, а ты сторож, то есть хранитель, ответственный на бытие», либо: «Да, это зло — от нас».

Так где же зло становится злом, пробегая путь от изначальной предопределенности до личного деяния?

Мартин Бубер, обремененный опытом гитлеровской эпохи, пытается разъять две стороны медали.

«Так называемое злое влечение, оказывается, не есть злое изначально. Оно становится злым лишь в той мере, в какой его делает таковым человек. Напрасно Каин ссылается на то, что Бог сам вложил в него злое влечение. Только отделив от сопутствующего безусловно доброго влечения, человек превращает его в безусловно злое».

Таким образом, следует не отделять одно от другого, а, наоборот, «соединить вместе».

Ох, легко соединить это вместе в высоком умозрении. А в исторической реальности? Как соединить вместе мечту о светлом будущем всего человечества и тьму Гулага?

Не буду множить примеры.

Могу только выразить читательскую признательность Леониду Гомбергу, вышеизложенные вопросы во мне пробуждающему и готовность идти и дальше с ним тропами Библейской истории-мифологии, находя на этих тропах если не ответы, но новые вопросы.

«Если будет на то воля Всевышнего», — мягко напоминает нам литератор.

Ну, разумеется.

И если не собьемся со счета. Железно!

С начала бронзового века... на караванном пути из Северной Месопотамии в Восточную Анатолию... в качестве валюты, кроме серебра, использовалось и золото в соотношении 1:8... Однако бытовал и очень редкий металл под названием «амутум», который ценился в 40 раз выше, чем серебро, и соответственно в 5 раз выше, чем золото. Есть все основания полагать, что это было железо. Вообще металлургия железа, скорее всего, началась в Малой Азии. До того времени, пока железо войдет в обиход человечества, оставалась еще тысяча лет.

Неисповедимы пути господни, приведшие меня к следующей книге Леонида Гомберга — «Израиль и Фараон», и я повинуюсь. Хотя опять-таки ни в малой степени не чувствую себя годным на роль критика и толкователя этих проблем. Ибо к Израилю в обычном смысле слова имею довольно отдаленное отношение, а к фараонам в обычном смысле слова — вообще никакого. Разве что чисто метафорически, по аналогии — как гражданин недавно «рухнувшей» сверхдержавы, которая старается сохранить память о былой роли. (Первую сверхдержаву в истории, как я узнал из книги Гомберга, создали гиксосы на территории нынешнего Египта.)

Что же до специальных исторических сведений, вроде того, когда именно и какой именно Фараон беседовал с праотцом Авраамом, то одно у меня утешение: никто таких вещей никогда достоверно не установит.

«Беда лишь в том, что в Египте, как и на всем Древнем Востоке, не существовало привычной для нас хронологической системы, то есть летосчисления по эрам. Время отмечали по выдающимся событиям (год воцарения такого-то, год битвы такой-то) а также по годам царствования монархов».

Беда ли это? А может, наоборот, спасение от бесплодных поисков? Может, в той ли, в другой ли «хронологической системе» нам лучше положиться не на тягло веков, а на рифмовку смыслов и даже на магию цифр?

«На основании данных Пятикнижия Моисея и источников Устной традиции евреев временем рождения Авраама считается 1948 год от Сотворения мира, или 1812 год до новой эры».

Красота! Для правоверного еврея цифра 1948 должна звучать таким же фанфарным эхом, как для меня, российского православного христианина, — цифра 1812. С тем и оставляю обе даты в списке выдающихся событий общечеловеческой истории независимо от того, на каком берегу Иордана оказались те или иные жители Палестины в год провозглашения государства Израиль или на каком краю бородинского «большого поля» оказались прапрадеды два века назад, когда наше фараонство оспаривал парень с Корсики.

Кстати, об этих выдающихся событиях. В Москве есть ресторан «Наполеон», и это никого не шокирует. Но я и теперь не могу представить себе что-нибудь подобное под вывеской «Батый» или «Чингисхан». Хотя от Калки протекло вчетверо больше лет забвения, чем от пожара Москвы. Каким таинственным законам ненависти и прощения подчинены наши эмоции? Какому железному счету подчиняются? И вопрос на ту же тему: почему Синайское откровение должно так остро касаться нас сегодня? И не нас только, а все человечество?

Об этом-то и написана новая книга Леонида Гомберга. В сущности это продолжение его «Дороги на Ханаан», которая в свое время заставила меня заново пройти мысленный путь от одного Адамова сына к другому и взвесить загадочную вину Каина в убийстве Авеля. Что меня еще тогда подкупило в Гомберге, писателе и историке, — корректность в фактах и отвага в мотивировках.

Эти же качества отличают и новую его работу, в которой заново взвешены драмы жизни Авраама и Моисея. Гомберг и теперь осторожно предупреждает нас, что он «просто информирует заинтересованную читающую публику о некоторых из этих проблем».

Некоторые из этих проблем прямо касаются сакраментального вопроса: подошел ли род человеческий к финалу или ему предстоит «просто» переход в новое, никому не ведомое качество (и чего это будет стоить, тоже неведомо).

Я, как исчезающе малая и вполне бессильная частица, которой предстоит раз-

делить судьбу этой массы, рискну все же поделиться некоторыми чувствами и мыслями, возникшими у меня при чтении книги Гомберга, — разрозненными и субъективными по причине невозможности остановить железную поступь рока.

Ребра неандертальца

Вот один только шаг этой поступи. Среди исчезающе малых частиц всечеловеческой популяции, неведомо как и неведомо зачем заселившей Землю (теперь вроде бы нашли следы нескольких параллельных родов *Homo sapiens*, что делает розыск особенно увлекательным), — среди этих скелетных куч обнаружился остов неандертальца, который «поставил перед учеными новые загадки».

Не относясь к клану ученых, всецело полагаюсь далее на Леонида Гомберга.

«Дело в том, что при жизни эта удивительная особь сломала себе несколько ребер...»

Отвлекусь на миг, чтобы оценить пикантность стиля, в котором Л.Гомберг излагает космически масштабные проблемы: его улыбка сошла бы за косметический прикид, если бы этот юмор можно было отделить от чувства глобальной тревоги, которую лучше уж терпеть с улыбкой.

Но к делу!

«...особь сломала себе несколько ребер... В этом нет ничего необычного, кроме того, что травма эта была кем-то излечена. Кем же? Да кем же еще, кроме соплеменников?»

Это неандертальцы! Которые вроде бы стоят на полпути от животного к человеку! Но «животные ведь своих сородичей не едят» (опять Гомберговская улыбка). Значит, неандертальцы наделены чем-то, не лезущим ни в те животные рамки, в которых их описывают зоологи, ни в те человеческие рамки, в которых история видится цепью кровавых событий.

Кем наделены? Тою же историей? Или чем-то, что раньше, глубже, выше истории с ее ужасами?

Относительно ужасов — у Гомберга есть замечательное рассуждение, которое не меньше, чем ребра особи неандертальца, действует на мое воображение, заставляя откорректировать само представление о ходе человеческой истории как цепи драм и театре ужасов.

Это верно, что в памяти тысячелетий отцеживаются не будни, стынущие в тягучей сетке времени, а битвы, перевороты, убийства, триумфальные разгромы и победоносные разбои. Применительно к родным осинам: мы помним горький пир после битвы на Калке, помним разгром Рязани, помним взятие Казани, гибель Ермака... меж каковыми вехами как-то тихо прячется жизнь десятков и сотен перемешивающихся поколений, то ли завоеванных соседями, то ли завоевавших землю соседей.

Меж тем, как пишет Л.Гомберг, осмысляя кровавую историю народов Востока, — переселения вряд ли носили характер военного вторжения. *«Скорее всего, это было обычное на Востоке проникновение племен на неплотно заселенную территорию с последующим смешением пришлого и исконного местного населения и, возможно, с последующим насильственным захватом власти».*

То есть и захваты, и перевороты, и насилие — реальность. Но в основе процесса все-таки не безумие грабителей, а разум поселенцев.

«Конечно же завоевание Египта гиксосами не было единовременной военной акцией, обеспечившей тотальный захват страны. В течение многих лет, предшествовавших сокрушительной атаке главных сил, происходило медленное проникновение в Нильскую долину отдельных отрядов и семейных кланов «жителей песков»... Постепенное «мирное заселение» продолжалось до тех пор, пока масса эмигрантов не становилась критической и ситуация не выходила из-под контроля местных властей. Далее следовали внутренний взрыв и одновременно внешний военный натиск, по всей видимости, хорошо скоординированные».

Не могу отделаться от впечатления, что речь идет о завоевании... или об освоении нашей общей кладовой — Сибири. Если Кучум неважно скоординировал свои

действия с Грозным, а Ермак скоординировал их несколько лучше (что не спасло его лично), то это не мешает нам осознать тот геополитический факт, что Сибирь так или иначе надо было заселять... Кем заселять? А теми, кто лучше подходил для этой задачи, будь то славяне, турки, персы, китайцы... обрываю список, дабы не будить демонов, которые таятся в душах народов и препятствуют их расточению, разбреданию и рассеянию.

Смысл рассеяния?

Тут я подхожу к одной из главных «болевых точек» Гомберговского повествования о тяжбе Израиля и Фараонов — к теме рассеяния.

Тема эта, как все помнят, изначально (если изначальноность вообще мыслима в подобных сюжетах) неотделима от еврейской темы. Галут или диаспора, холокост или бегство — проклятье изгнанности, отверженности, обреченности висит над евреями, а оборачивается... «несравненной способностью к историческому выживанию» и — как следствие — «инновационной активностью, далеко выходящей за этнические рамки» (определения А.Милитарева, цитируемые Л.Гомбергом).

Хорошо это или плохо — и для евреев, и для остального человечества?

С ходу не ответишь. Может, и плохо (если учесть ненависть к евреям тех соседей, в миру которых они выживают, и у тех же соседей — зависть к ним за их «инновационную активность»). Но, с другой стороны, образование в 1948 году Израиля вызвало (в том числе и у евреев) опасение, что в рамках национального государства они превратятся в нормальный средний этнос и утратят ту самую роль рассеянного семени, которая их вроде бы тяготит.

Не знаю, осуществилась ли вполне тысячелетняя еврейская мечта о родине, обретенной в Израиле, но знаю другое: сама категория «рассеяния» к концу второго тысячелетия нашей эры обновилась на глазах.

Во-первых, «рассеяние» как черта судьбы относится уже не к одним евреям; осознан армянский «спюрк»; в ходе катастроф XX века рассеянными оказались и русские... Это не еврейская черта, хотя уж евреи-то ее выстрадали.

Во-вторых, рассеяние как черта еврейской судьбы отнюдь не начинается с какой-то точки (Веспасиан там или Тит натворили делов), нет, «чуждость» сопровождает евреев с того момента, когда они вообще появляются в истории. Не важно, Агасферу ли поднесена чаша сия или раньше — клану авраамитов, перешедших реку, или к тем, кто перешел реку еще раньше, — важно, что они — «заречные», что они — «с того берега», чужаки, скитальцы, беспочвенники. Изначально, по Божьей заповеди. И бесконечно, то есть до скончания времен. Если, конечно, скончанье грядет.

И, в-третьих, само понятие «рассеяния», понемногу теряя конкретно-еврейскую привязку, наполняется сейчас новым глобальным смыслом.

«Глобальным» — это теперешняя огласовка. Были и другие. В эпоху революций и войн XX века говорили: «всемирное», «планетарное», «мировое» (коммунизм как будущее всего человечества). Еще раньше — пресловутая русская «всеотзывчивость», ветка того же древа. Еще раньше — «вселенскость», уже на чисто христианской религиозной почве.

Может, сегодня еврейство тут уже вообще ни при чем? И мы «имеем дело уже не с евреями, а с какой-то иной общностью, скорее всего даже не с этнической, а социальной»? Среди носителей той «инновационной активности», которую А.Милитарев первоначально обнаружил у евреев, — теперь, по его же подсчетам, далеко не все там — евреи «по Галахе» (то есть по крови), далеко не все — евреи по языку, далеко не все — евреи по вере, а главное — далеко не все они согласны считать себя евреями.

«Но это, как говорится, полбеда», — замечает Гомберг.

А где же сама беда?

А вот где. Если «рассеяние» обнаруживается в современной истории уже не как драма отдельного народа, терпимая и изживаемая им на бесконечных кольцах исто-

рии, а как пучок разброса путей в разные стороны, — то должно быть и начало разброса, некая первая точка, в которой это рассеяние заложено как роковая программа, а значит, в этой точке начала заложен и конец.

Конец всего.

Это евреи и почувствовали раньше других. Им это и было сообщено раньше всех. Кем сообщено? Кому конкретно. Где?

Всевышним, естественно. Моисею. На горе Синай.

Может, это главная беда и есть. А может, наоборот, избавление от беды существования. Во всяком случае, это тот стержень, вокруг которого крутится повествование Леонида Гомберга, историческое и философское разом. Или так: научное и художественное разом.

Дело в том, что ученые (физики, фигурально говоря, а конкретнее — астрономы) за последние полвека подбросили писателям (лирикам, фигурально говоря, а конкретнее — фантастам), такие новые концепции миротворения, над которыми ломают теперь головы лирики, помешавшиеся на физике, и физики, свихнувшиеся на лирике (а конкретно — философы).

Выяснилось, что прежняя картина мира отменяется.

«Людям моего поколения, родившимся в середине прошлого века, рассказывали в школе, в вузе, на публичных лекциях в Планетарии, — вспоминает Гомберг, — что вселенная бесконечна во времени, существовала всегда, а значит, никогда не была создана. А если никогда, то, стало быть, и никем. Считалось также, что вселенная бесконечна в пространстве, а значит, разговор о ее пределах, а тем более о том, что за ее пределами, — просто бессмыслен. И все это, черт побери, называлось материализмом!»

Черт, здесь помянутый, свидетельствует о том, в чьих руках Гомберг оставляет описанную им безначально-бесконечную, безбожно-беспредельную картину мира, которую и я, родившийся не в середине, а в первой трети окаянного XX века (точнее, в год злодейского убийства тов. Кирова), по неодолимой инерции продолжаю считать неопровергнутой.

Меж тем ее опровергли. Вселенная, как выяснилось, разлетается. Был перво-толчок, взрыв, начало. Из чего? Из ничего. «Вдруг». Ничего не было, потом появилось, взорвалось и стало разлетаться. Из центра. Из шара.

«Получается, что галактики как бы вложены внутрь емкостей, возможно, шаровидной формы, из неведомого и неуловимого вещества. Очевидно, что эти емкости по своим размерам больше самих галактик. Некогда наша вселенная была частью чего-то большего; это «нечто» существовало невероятно долго, скорее всего в бесструктурном состоянии — не было ни материи, ни даже частиц. Вдруг фрагмент этого «нечто» стал стремительно раздуваться и за считанные доли секунды из микроскопического стал гигантским, потом — все больше и больше...»

Черт побери! А эти «емкости» в свою очередь в чем находятся? А то, в чем они, допустим, находятся, — само находится в чем-нибудь или только в нашем умозрении?

Молчу. Не моего умозрения дело. Что до моего умозрения как читателя книги Гомберга, — то важнее практические следствия из этого «чего-то», которого не было, а потом оно вдруг взорвалось. Как сказано в теореме Томаса: если люди определяют ситуацию как действительную, то она действительна по последствиям.

Последствия таковы. Создатель «пытается договориться с людьми о правилах игры со своими созданиями...» (Ничего себе! А Эйнштейн полагал, что Создатель — не игрок. — Л.А.). «Господь сказал Моше: смотри, я поставил тебя вместо бога пред Паро...» (То есть выше фараона. — Л.А.). «И, значит, перед нами поединок двух сил — истинного бога и языческого идола... Идол обречен. Жизнь так устроена: или Израиль, или Фараон» (Вот как! — И Василий Иванович Чапаев когда-то спасовал перед вопросом: «Ты за большевиков али за коммунистов?» — спрятался за тогдашнего вожда, то есть за бога, то есть за идола. — Л.А.).

Моисей, стало быть, угадал, понял, что хотел внушить ему Создатель. *«Моисей был гением, может быть, самым великим гением всех времен... Представления, высказанные Моисеем, живее и объемнее не только всего того, что находим мы у его*

египетских и месопотамских современников, но и великих мыслителей античности и даже большинства ученых совсем еще недавнего времени».

А что воображали себе египетские и месопотамские мыслители? Леонид Гомберг отвечает: «страсти-мордасти в космогонических сказках». Они верили, будто есть что-то общее, что действует на разных уровнях вселенной. А на самом-то деле: что общего может быть у Всевышнего и у нас, людей? Тут расстояние, несоизмеримое с тем, допустим, какое между человеком и колонией муравьев. «И люди, и муравьи — земляне». А Всевышний просто запустил этот эксперимент с землянами, о чем и поведал Моисею...

Ну? И как после этого жить?

Что делать?

А вот что: в дополнение к фигуре Бога-Вседержителя, Бога-Карателя, Бога-Ярое Око, — досочинить вариант, что он же Бог-Благое Молчание, Бог Милосердный, Бог Отцовства-Сыновства...

Понятно, что тот первый Бог, который говорил с Каином, Ноем, Авраамом и Моисеем, совсем не похож на того нового Бога, который воплотил «интеллигентские чаяния» и был «выпестован в христианском сознании русской интеллигенции» — «эдакий Санта-Клаус, топчущий вокруг новогодней елки».

Интересный психологический парадокс: никогда я не знал никакого такого Санта-Клауса и не ждал от него никаких таких подарков, — но отречься от идеалов, выпестованных русской интеллигенцией, не хочу. Мне, атеисту русской традиции, дорог главный принцип «гнилой интеллигенции»: никогда не становиться на сторону победителей, не толкать падающего и не поносить того Бога, который (даже при его отсутствии) помогал моим предкам выдерживать ту жуть, которая называется «историей». Я и не отрекаюсь. Но с интересом смотрю, что же нам предлагается теперь, когда идея вселенского взрыва наложилась на идею Договора иудеев со Всевышним.

«Бог иудеев — метафизическая сущность по ту сторону добра и зла, вмещающая природу, время, пространство, вселенную и вступающая в диалог с тварным миром, может быть, один раз в несколько тысяч лет...»

Сколько тысяч? Несколько... И сколько же раз за это время золотой век сменится веком железным? А может, и не сменится? Не успеет...

«Говоря схематично, если бы до сегодняшнего дня миновало бесконечное число дней, то сегодняшний день никогда бы не наступил».

Ничего тут схематичного, все весомо, грубо, зримо: раз день наступил, значит, и ночь наступит.

Конкретно:

«Мы наблюдаем сегодня: рост антисемитизма по всему миру, усиление исламского фундаментализма и экстремизма, ослепление так называемого цивилизованного человечества, особенно в развитых европейских странах, готовность капитулировать перед слепой силой убийства под предлогом защиты общечеловеческих ценностей... Все эти факторы говорят о системном планетарном кризисе... Прошло немногим более 60 лет после окончания Мировой войны, а ничему не научившееся человечество вновь готово к самоуничтожению».

У меня такое же ощущение возникает даже и безотносительно к перечисленным планетарно-системным факторам. Достаточно увидеть на экранах ТВ лица фанатов во время футбольной игры. Игра подменяет бытие, не поймешь, где что. Реальности нет, есть отражение ее отсутствия. Юные убийцы в зале суда прикрывают лица. И они же снимают убийство на видео, чтобы потом хвастаться. То ли это стыд, то ли отсутствие стыда, а скорее — отсутствие того органа в сознании, где может быть стыд или не быть стыда. «Конец человечества» — не в карающем оке Всевышнего, а в физиономиях людей.

Рай, где твоя победа?

В финале своего повествования Леонид Гомберг прощальным взглядом окидывает историю в ее поворотных точках (физики сказали бы: в точках бифуркации). Такая точка — казнь Христа. Его убили не потому, что он был виновен перед иудейским Синедрионом, а потому, что на Синедриона надавили римляне. Перед иудеями он не был виновен, не был судим, не был приговорен. Приговорен он был — по закону римского права.

«Если бы Иешуа ушел в мир иной, оставив нам свое учение таким, каким он сам видел его и каким видело большинство современников, он, по всей видимости, остался бы в еврейской истории как один из самых замечательных ученых своего времени, как реформатор иудейской традиции и последователь великих Пророков прошлого. Возможно, он стал бы основателем нового направления в иудаизме, развив учение ессеев, из среды которых, по-видимому, он вышел...»

Но тогда не случилось бы Распятия, человечество не получило бы христианства, любовь не отважилась бы бросить вызов ненависти.

Не вышло «замечательного ученого своего времени», вышел уголовный преступник. Всегда, знаете ли, найдется какой-нибудь прокуратор и железным шворнем зацепит ход событий, сдернет туда, куда сам не предполагал (потому и руки умыл... или омыл... или отмыл?).

И не знаешь, лучше ли или хуже было бы, минуй Сына Человеческого чаша сия.

Попробуйте вообще понять, что «лучше» и что «хуже»: ад, оборачивающийся раем, или рай, оборачивающийся адом. Само Распятие — чья победа? Две тысячи лет с тех пор — рай? Или ад истории? Две мировые войны и холодный озноб ожидания третьей — ад? Шестьдесят лет без мировых войн — рай?

Рай, где твоя победа?

Страшной ценой оплатило человечество ад Двадцатого века. Выживет ли в раю?

Summary

One of the priorities of any literary edition is searching of new literary names. In this issue we are publishing latter-day prosaists from Belorussia (SERGEJ KALENDA), Kazakhstan (YOURIJ SEREBRYANSKIJ), Lithuania (IEVA TOLEYKITE), Ukraine (TANYA MALARCHUK) and Russia (ELENA ODINOKOVA and MOSHE SHANIN). None of them has ever been published at the pages of «DN».

In this issue are also making their debuts poets AKSANA SPRINCHAN (Minsk, Belorussia), OLGA DOBRITZINA (Moscow) and GERMAN VLASOV (also from Moscow), who is presented both with original verses and with translations from young Uzbek poet FAHRIER (Tashkent). Leading this gathering of new and young is our regular author, the well-known poet GENNADIJ RUSAKOV with his new poems.

MIKHAIL RUMER-ZARAEV. Nine Russian Days of Teodor Herzl.

This man had a tragic and glorious fate. He is considered to be the prophet of the Jewish State, but on the threshold of death felt losing his hope for realization of the plans which he had proclaimed.

OLGA LEBEDUSHKINA. The Petrosyan Whom We «Haven't Been Waiting».

The author of this article considers the novel by Armenian prosaist Mariam Petrosyan «The House In Which» the «concluding novel of the decade». She is sure: this novel about a children home's teenagers has won unanimous recognition of professional critics and readers because its author has something to say about the world we are living in.

ALLA MARCHENKO. Post Scriptum.

«Not a single mystery can you learn without the message to the death» — this Esenin's maxima is taken by the author as epigraph to her investigation of secret contradictions inside the starry polyhedron: Akhmatova-Pasternak-Mayakovskij-Tzvetayeva-Esenin. The aim of this polemic text is very ambitious: having struggled through the legend to restore the reality in its rights.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2010 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Нашиндекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 21.06.10. Подписано в печать 20.07.10. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2000 экз. Заказ 2355. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>